

*Новый
Журнал*

102

*THE NEW
REVIEW*

THE
NEW REVIEW
Новый Журнал



Основатели — М. Алданов и М. Цетлин — 1942

С 1946 по 1959 редактор М. Карпович

С 1959 по 1966 редакция: Р. Гуль, Ю. Денике, Н. Тимашев

Тридцатый год издания

Кн. 102

НЬЮ ИОРК

1971

Редактор: РОМАН ГУЛЬ
Секретарь Редакции: ЗОЯ ЮРЬЕВА

NEW REVIEW, March 1971
Quarterly, No. 102
2700 Broadway, New York, N.Y. 10025
Subscription Price \$15. — for one year
Publisher: New Review Inc.
Second Class Mail postage paid
at New York N.Y.

О Г Л А В Л Е Н И Е

| | |
|--|-----|
| <i>Девяностолетие Б. К. Зайцева</i> | 5 |
| <i>Г. Адамович — Два стихотворения</i> | 6 |
| <i>Н. Ильинская — Птица голубая</i> | 7 |
| <i>И. Елагин — Переезд</i> | 34 |
| <i>В. Шаламов — Рассказы</i> | 37 |
| <i>И. Чиннов — Стихи</i> | 51 |
| <i>П. Муравьев — Время и день</i> | 54 |
| <i>Г. Глинка — Стихи</i> | 68 |
| <i>Г. Газданов — Эвелина и ее друзья</i> | 70 |
| <i>Ю. Одарченко — Стихи</i> | 89 |
| <i>А. Белый — Зовы времен</i> | 90 |
| <i>Н. Моршен — Стихи</i> | 100 |
| <i>К. Бугаева — Об Андрее Белом</i> | 103 |
| <i>А. Раннит — Стихи</i> | 110 |
| <i>С. Левицкий — Этика Солженицына</i> | 111 |
| <i>Я. Бергер — Стихи</i> | 124 |
| ВОСПОМИНАНИЯ И ДОКУМЕНТЫ: | |
| <i>Н. Туров — Чекисты за решеткой</i> | 126 |
| <i>Кн. И. Васильчиков — Поместный Церковный Собор 1917-18 г.г.</i> | 138 |
| <i>И. Ильин — На службе в сов. разведке в тылу у японцев . . .</i> | 153 |
| <i>Н. Градобоев — Берлин 1942 года</i> | 176 |
| <i>Д. Шуб — Из давних лет</i> | 191 |
| ПОЛИТИКА И КУЛЬТУРА: | |
| <i>Б. Ижболдин — о. С. Булгаков как экономист</i> | 208 |
| <i>А. Авторханов — Ленин и ЦК после июльского восстания .</i> | 217 |
| <i>Г. Глинка — Русское старообрядчество</i> | 235 |
| <i>А. Иванов — Внешняя торговля СССР</i> | 242 |
| ПАМЯТИ УШЕДШИХ: | |
| <i>Р. Гуль — Юлий Марголин</i> | 256 |
| <i>Ю. Иваск — Е. Э. Малер</i> | 266 |
| СООБЩЕНИЯ И ЗАМЕТКИ: | |
| <i>Дж. Глэд — Экстраполяция, прогнозирование, моделирование</i> | 268 |
| <i>Э. Харден — Новые материалы о Грибоедове</i> | 270 |
| <i>М. Чехов о смерти С. В. Рахманинова</i> | 273 |
| <i>Письмо С. Г. Пушкирева</i> | 274 |
| <i>Письмо президента США Ричарда Никсона</i> | 275 |

БИБЛИОГРАФИЯ:

- Игум. Геннадий* — Христианство, атеизм и современность. А. Гольденвейзер — Б. Эйхенбаум. О прозе. Г. Адамович — И. Чиннов. Партитура. Ю. Иваск. Золушка. П. Модесто — В. Пирожкова. Свобода и необходимость в истории. О. Ильинский — Л. Келлер. А. Дельвиг. Н. Ульянов — М. Павликовский. Детство и молодость Т. Иртенского. Война и сезон. Р. Плетнев — А. Григорьев. Сочинения. Ю. Иваск — И. Бродский. Остановка в пустыне. В. Завалишин — «Дело» Солженицына. Ю. Иваск — о. Алексей Мечев. *Игум. Геннадий* — А. Позов. Основы христианской философии. Е. Климов — Сокровища русского искусства. Книги для отзыва : 276

PRINTED BY WALDON PRESS, INC.
216 West 18 Street, New York, N.Y. 10011

ДЕВЯНОСТОЛЕТИЕ Б. К. ЗАЙЦЕВА

Дорогой Борис Константинович!

«Новый Журнал» от всей души поздравляет Вас с днем Вашего девяностолетия и желает Вам бодрости и сил. Вы — наша последняя связь с великой русской классической литературой — воистину «последняя сосна сведенного бора».

Искренне Ваш

Роман Гуль

ДВА СТИХОТВОРЕНИЯ

1

На чужую тему

Так бывает: ни сна, ни забвения,
Тени близкие бродят во мгле,
Спорь, не спорь, никакого сомнения,
«Смерть и время царят на земле».

Смерть и время. Добавим: страдание.
...Ну, а к утру, без повода, вдруг,
Счастьем горестным существования
Тихо светится что-то вокруг.

2

Памяти М. Ц.

Поговорить бы хоть теперь, Марина!
При жизни не пришлось. Теперь вас нет.
Но слышится мне голос лебединый,
Как вестник торжества и вестник бед.

При жизни не пришлось. Не я виною.
Литература — приглашенье в ад,
Куда я радостно входил, не скрою,
Откуда никому — путей назад.

Не я виной. Как много в мире боли.
Но ведь и вас я не виню ни в чем.
Всё — по случайности, всё — по неволе.
Как чудно жить. Как плохо мы живем.

Георгий Адамович

ПТИЦА ГОЛУБАЯ

I

Жгло. Пылало. Красные шашки и змеи переходили в зеленые. Все плыло, плыло, упывало. Потом появлялась ниточка — за нее надо было держаться сознанием. Вдруг все смешивалось в тягучую неразбериху. Это было лучше. Все исчезало. Наступал покой, передышка. И снова — завитки, часовые стрелки, ручейки горячие, золотые шашки. Руки чьи-то у лица, пылание (внутри), веревка раскаленная в гортани. И опять, и опять. Вдруг — покой и уханье куда-то вниз. Под кровать, под пол. Глубже, глубже. Полутьма. И наконец мысль — яркая до столбняка: жизнь! Жизнь осталась, она жива. Захотелось закричать от любви к жизни, к пятнышку на обоях, едва видимому в полутиме. Зачем так темно? Ведь жизни! Тут раскололся череп страшной, мешающей болью. Пересохшие деревянные губы пытались что-то сказать. И опять все провалилось. И снова — горячие ручейки, и руки, и стрелки, и шопоты, шопоты. Вдруг ясно — гладкий холодный край эмалированной мисочки под подбородком.

«Опять?»

«Да, но немного».

«Перемени кюветку. Лед. Сюда».

«Вызывать?»

«Подождем».

...Кюветка, кюветка, креветка... извивается и качается — туда-сюда, туда-сюда...

«Голову подними ей выше».

«Нету больше».

«Лед держать. Убери платок».

Шопоты — кюветка — глаза закрыты — очень тяжело

открыть — голова — в ней огненный зазубренный прорез.
Кюветка. В голове — кюветка. Провал.

...Открыла глаза. На окне косо приколот к шторам плед.
Чтоб темней? Что это? Почему она лежит? Пи-ить. Губы
шепчутся, звука нет. Пи-ить.

«Что тебе?» Сто пудов в руке, не поднимешь. Пи-ить.
Ледяная струйка, как серебряная змейка, скользнула в горло.
Как хорошо.

«Больше нельзя. Скоро дам опять».

Настя. Настина рука придерживает булькающий, как мя-
чики в детстве, резиной пахнущий пузырь под подбородком.
Холодно.

«Убери».

«А, вот и загово'гила».

Настино, нерусское, знакомое «ррр».

«Ну зд'гавствуй, Ксения. Только молчи — гово'гить нель-
зя. А пузы'гь доктор велел де'гжать».

«Холодн...»

«Да, да. Это так надо. Поте'гпи. А, главное, молчи. Ноги
озябли?»

Все провалившиеся куда-то предметы понемногу выле-
зали и занимали свои обычные места. Прояснился на стене
портрет Прокофьева, выскоцил откуда-то из небытия угол
роля. Он отхватывал слабый свет из окна. Мелькнули диван,
шкаф с книгами и одежда, топорщившаяся на двери. Это уже
все другое, другой мир — не шашки, не змеи, не стрелки.

«Пле — ед...» (чтобы сняли); «Настя...» Но рядом —
никого. Но нет и боли, и огненных шаров, и горячих ручейков.
Чувство, что спала. Есть хочется. Но что же было?.. Нет, нет,
не думать. Жить, жить, жить. Кричать, двигаться, жить. Де-
ревьев, неба, травы... Запахов — крепких, сырых, лесных...

Через настину протесты и рогатки (Настя — сестрица
упрямая) к ней как-то пробился дядя Миша. Как мол это
так: его, старого друга семьи, не допускают к Ксеничке, к

«сего больной девочке»? И вошел: громадный, лесной, в кожанке и сапогах — точно лошадь ввели в комнату. Из смятенья бороды, усов и бровей мохнатых смотрели жалостливые, вовсе несчастные глаза. Становилось жалко его огромного и грубого, больше чем себя.

«Здравст... дя... Миш... Хорош... что зашли».

«Здравствуй «Птица моя Голубая»! Здравствуй Ксенюшка! Едва прорвался, штурмом взял. Ах, ты Птица моя, Птица Голубая! Что же это ты наделала? Вот так скандал! Где у тебя разум то? Одурела знать совсем. Да ты лежи, лежи, не рыбайся, дурочка! Вот и одеяло сбила. Бить вас всех — да некому, нету Василия Петрова с вами. А Настасья тоже — не пущу, да и все. Это меня то? Да я как узнал — что́ Птица Голубая натворила, мигом прилетел. Нечего глазищи свои на меня таращить — и так знаю, что огромные и черные. Ну, что? Заревела? Ах ты, Ксенюшка! Брось, брось нюни разводить! Тебе сейчас нельзя реветь. Ну, ну, прости меня, дурака старого. Где ж твой платок? Вот, дай вытру... Лежи теперь смирнехонько. Ну так. Вишь и лапищи твои исхудали, цыплячы рученки стали. «Франкотт» то свой легонький сможешь ли удержать теперь, Птица моя? Отцу не писали? И не надо. Чего старика волновать зря. А ты уже и на поправке. Дома — свой доктор, а Настя — тебе, как мать. Надзор за тобой теперь учредим».

«Как... тетя... Дуня?»

«Чего как? Отлично себе поживает — печь топит, горшки сует, мальчишек по з..... веником хлещет — все идет нормальным ходом. А ты то вот, Голубая моя, ты то что натворила? Ай-ай, срамота какая! Да ты не тыкайся в подушку — никому не скажу. Нешто я буду Птицу мою Голубую срамить? А из-за кого? Ах ты, батюшки мои, — профессоришка, видите ли, женатый выискался. А ты плюнь на него, плюнь, Ксенюшка. Опять вместе охотиться поедем. У меня там бекасиное болотце такое припасено! В тайне держу. Только для тебя. И уж профессоришке твоему ни за что не покажу! Ну, вот, вот опять. На, возьми платок. А он стреляет то ничего? Или в белый

свет пуляет? Ну, будет реветь, а то Настасья, как коршун на меня налетит. А как же я без своей Птицы могу? Я не могу. Хоть и дура ты влюбленная, а все-таки моя. А почему? Я тебя на руках носил? Носил. Стрелять учили? Учили. Все mestечки тебе заповедные показывал? Да. А на профессоришку твоего плюнь — и все в порядке. Плюнешь?»

«Не-ет. И он не мой профессор...»

«Ах, Птица моя Птица, умилком ты рехнулась малость. Но теперича главное — поправляйся. Подлечись, отлежись и тогда мы с тобой заживем, как раньше. Хоть я мужик уж не так, чтоб молодой, сама знаешь, за пятьдесят завалился, а для тебя — все сделаю. Только скажи, только пальчиком шевельни...»

«Дядь Миш... у вас — тетя Дуня...»

«Ну и что? Ну и что, что тетя Дуня? При чем тут это? Тетя Дуня — домашний аксессуар, как говорится. А ты совсем другое, ты — мечта моя, Птица моя Голубая, доченька моя. Такой другой нигде нет. Только моргни бровкой — все тебе будет. Лаверака-щеночка такого достану — закачаеся! А без тебя и охота не в охотку. Ну, договорились? Дай руночку свою худую подержать хоть минуточку».

«Устала я, дядя Миш...»

«Знаю, знаю, что устала. Ладно, Ксения, спи. Вот покрою ножонки твои, подоткну. Не сердись, коли что не так сказал. Ты ж знаешь, я — мужик грубый, как медведь. А почему? А потому что люблю тебя, мою Птицу Голубую. Ну, ладно. Пойду теперича к Настасье чай пить. Может и водчинки поднесет. А ты забудь, забудь своего профессоришку. Я бы ему ноги переломал за Птицу, за свою. Только бы позволила. Да не позволишь, я знаю. Если бы хоть путевой был, неженатый, да женился бы на тебе, все честь по чести — ну тогда дело десятое. Тогда бы я ребятишек твоих на закорках катал, дудки бы им резал. Вот те крест. Иду, иду, Настенька! Ну, спи».

Запах от сапог и прокуренной истертой кожанки еще некоторое время плавал по комнате. А у Насти, за стеной, долго слышался его басовитый веселый хохоток.

2

В том то и дело, что не для одного дяди Миши она Птица Голубая. Ах, глупый дядя Миша, хороший, а глупый. Сам же-натый, семья, а тоже «Птица» и «профессоришка».

Не поворачиваясь нашупала томик Стендаля и в нем — записи. Опять, в который раз, с уханьем сердца стала разбирать, впитывать, заглатывать карандашную судорожную нежность: «Все еще не пускает Н. В. Готов сломать стену, чтобы взглянуть хоть разок. Как ты? Безумный, безумный Зверок! Пишу тебе на твоей лестнице, в метре от тебя, гляжу стену, что ближе к твоей-моей голове. Лежи совсем тихо и думай о нас (хорошо!). Каждую минуту — только о тебе. Ты — все. Зачем, зачем? Безумие! Целую лапки — передние и задние, остальное не дерзаю. Всегда твой — Л.» И еще: «Н. В. обещает пустить через два (два!) дня. Вечность. Дождусь ли? Все идет к чертовой матери. К книге, конечно, не притрагиваюсь. Весь искурился. Ну и прочее. Стена (фактическая, каменная) между мной и тобой — все обострила до чертиков. На руках все время ощущаю тяжесть твоей головы. Любимой головы. С этим живу. Но ты существуешь — это главное. Безумный Зверок, что ты наделала? — Спи спокойно. Целую любимые «горящие» глаза. Будь покойна, если можешь. Все будет хорошо. Скоро увидимся — Твой Л.».

Этим «хорошо» — здесь насмерть убивается «хорошо» — там. Как он может говорить «будет хорошо», когда «там» будет ужасно? Там, где две головы прижаты друг к другу (на показанной им фотографии, которая всегда с ним): одна, маленькая, со светлой челочкой, беспомощная и ничего не понимающая; другая... ах! теперь это одно сплошное страдание и никаких упреков никому. Непереносимо. От этого и надо было уйти. Не удалось. Зачем то вытащили. Ну, а теперь что? Ах, будь, что будет! Завтра в четыре, после лекций, придет. Первый раз после... Как увижу? Не выдержу. Да попросту не доживу. Как спать или есть при этом? А Настя сейчас явится с арсеналом тарелок, таблеток, градусником и моралью. От

сверлящей жалости к себе — горячие змейки поползли по щекам в подушку.

Вечер прошел в борьбе с сестрой: ни еды, ни лекарств — полный бунт. Уйди, уйди. Вся обида упала на Настю, на ее белокурые пышные волосы, серые навыкате глаза. Особенно же на ее большие, деятельные руки, взбивающие зачем то подушки, прибирающие на столике у кровати, поправляющие сбитое одеяло.

«Не трогай Стендоля».

«Да я и не бе'гу его».

«Зачем ты гремишь тарелками? У меня и так голова раскалывается. Не буду принимать дурацкие таблетки! Уйди, оставь меня одну».

«Не уйду. Ты очень возбуждена. Съешь хоть апельсин. С таким т'гудом достала».

«Не хочу. Уйди. Или дай мне папиросу».

«Ты же слыхала, Се'гней сказал ку'гить нельзя».

«Встану и возьму сама».

«Не глупи».

Кончилось истерикой. Настя прижимала к себе и гладила ее голову. Дала все-таки, вынув пачку из кармана фартука, затянуться несколько раз. Потом она просила у Насти прощения, целовала белую большую руку.

Позднее зашел Сергей. Рассказал о сегодняшних операциях. Посчитал пульс. Посидел. Посмеялся. С ним было легче.

3

«Две прижатые головы» были с нею всю ночь. Убивали своей беспомощностью, кротостью, неведением. Одна — маленькая со светлой челочкой, пускающая пузыри из манной каши и хохочущая; другая — рядом, опущенная низко. Лева сам снимал. С восторгом говорил о малыше. Чудный малыш. Смеющийся в эту страшную, страшную жизнь. И вот эти головы, и тонкая рука на спинке детского стульчика — все это было с ней неотлучно всю ночь. И манная каша, и пузыри, и смех, и эта рука на спинке стула обвивались ее ночным уде-

сътеренным мучением. Лампу не тушила, вопреки настиным запретам ходила, даже бегала по комнате. Внутри была легкая, но грозная пустота. «Там», только «там» его место. Самое страшное оружие направлено против нее — неведение и кротость. О, если бы борьба! Если бы злая страсть — она не уступила бы, она бы кинулась, рванулась отхватить свой кусок счастья. Но такого невесомого и страшного груза выдержать невозможно. Поняла сразу. Хотела убраться с дороги. Не вышло! Позор...

Наутро, после куска свинцового сна, пылало лицо. Понимала, что поднялась температура. Теперь все дело в том, чтобы обмануть Настю с утренним градусником. Иначе — не допустит.

Придет он — она скажет ему, что все кончено. Ночное мучение — две прижатые друг к другу головы решали вопрос, рушили все. Можно сломить себя, перекрошить в себе все, загубить свою жизнь до конца, но мучиться так дальше нельзя.

Возникшая у ее постели Настя кидала подозрительные взгляды то на 36 и 6 градусника, то на пылающие ее щеки и сверкающие глаза. Она же старалась отвернуться к стене, прикрывая глаза рукой. Говорила, что, ну просто голова болит, а волнение вполне естественно. Настя качала белокурой головой, держа, как всегда, между поднятыми пальцами левой руки папиросу на отшибе, в другой — градусник.

«Кофе тебе настоящего сва'тила. Будешь?»

«Да, да...»

«И обязательно яйцо».

«Да, да...»

«И хлеба с маслом».

«О-ох, ну да, да...»

«И не смей вставать, и не думай».

К четырем часам внутренняя дрожь прорвалась наружу. Лицо пылало. На глаза сбоку налезали ослепительные шары и, провинтившись вниз, исчезали. Все в ней сфокусировалось на одном — оборвать не раздумывая. А знает ли «она» про всю эту мою историю? Наверно рассказал, в оправдание меня (краска залила теперь и шею). Зачем?! Ну как зачем? Ведь

он же любит ее и Игорька. А при чем тут я? Убить, задушить в себе этого зверя. А он — как хочет...

Клетчатое одеяло съехало углом на пол, размолотая головой подушка раскалена, как печь. В глазах — опять эти огненные шары. Лучше сесть. Глядела на крышку рояля перед собой и в ней отраженное окно. Раз, два, три — считала переплеты итальянского окна в лакированной крышке. Рот спекся. Взяла в рот дольку апельсина — ударило детством: прогулки с отцом по воскресеньям в Сокольниках, тоненькие плиточки шеколада «Гала-Петер», шарманщик с жалкой обезьянкой в юбочке, матрёсская курточка на ней. Ах, как хорошо, как бездумно было тогда!

Всё — все ееочные и теперешние мучения и мысли, вперемежку со страшным звоном в ушах, пыланием лица, золотыми шарами в глазах, со Стендалем, который брался в руки болыше для Насти, входившей с отвратительной бульонной чашкой, или напомнить о таблетках, или так просто посмотреть на нее, со своей всегда оттопыренной рукой, сжимающей папиросу — все это превратилось в большой, жесткий и отчаянный комок решения. Чтобы не травить себя — наложила запрет на все его записки. Ни одна не вынималась большие из книги, не перечитывалась, что делала все эти дни (когда Насти не было с ней), любуясь карандашной его лаской, каждым новым возникающим «Зверком», расплываясь, тая, наслаждаясь. Теперь все это — табу. Вот теперь-то и есть «настоящая» смерть. Конец всему. Только это слово. Оно и в крышке рояля, и в Прокофьеве над ним, и в двери, в шкафу, в каждой клетке за все детство и все болезни досконально изученного одеяла. Конец.

Ну, а как скажу? Как войдет? Кинет портфель (ведь с лекции) вон на тот стул, сядет сюда. Как же он не видит, не понимает, что «все кончено», а не «все будет хорошо»? Но ясно одно, ведь не ему же (после того, что случилось), не ему же первому сказать ей это. Отчужденный, скользко-леденящий привкус этих слов дрожью проскальзывал по хребту и вонзался в пылающую голову. Тем, что произошло, но не получилось, она без возврата сказала бы «нет». Он бы погру-

стил и утешился. Но умереть не дали — выволокли. И тут вот, с наплывом новой и, ох какой особенной, жадной любви к жизни вспыхнуло все снова. Ведь слала же и она перенасыщенные нежностью записки, ища в нем защиты от кого-то третьего, грозного, черного... Но как вынести то, другое мучение, что рвало ее на куски всю ночь? Ведь «там», те «две головы» ждут замерев от ужаса, когда топор плахи стукнет по ним. Быть их палачом? Направлять топор? Это она то!..

Ну что ж. Тогда другой угол жизни. Поеду охотиться с дядей Мишой. Будем уток стрелять, смеяться, пить водку из фляги. Он будет служить ей, как верная собака, она ведь «Птица Голубая»! Только дала бы руку свою в его волосатые лапищи, только была бы с ним. Он — все для нее, ничего — для себя. И никакой трагедии и все хорошо. Да и вообще: есть же природа, охота, книги, жизнь!.. Вот только жизнь то ей вроде бы и ни к чему теперь. Ни охота, ни лаверак-щеночек, ни бекасиное болотце, ни, даже, Пастернак! Ничего ей не нужно. Как в тюрьме. Только хуже. Будет сидеть так и все. Легла отяжелевшим лицом на подушку, давя стуки сердца и обжигающие, ползущие по щекам капли; пряча пылание щек и сжимаясь от дрожи.

Какой-то шум в прихожей. Приподнялась. И потом, в немыслимо краткий момент времени, на ходу бросая на пол, на диван пальто, шляпу, портфель, он — задыхающийся — уже на коленях у ее постели, хватает ее горячие руки, прижимаясь к ним холодным лицом. И только слышно, как стучит его сердце: тук, тук, тук...

Много раз потом она пыталась восстановить весь ход этого события, все как было. И не получалось. Сперва не было сказано ничего: она кусала губы, давясь слезами, а он только глубже зарывал лицо в ее пылающие ладони. Казалось какие-то огневые пластины метались по комнате. Чудовищные магнитные силы тянули, бросали их друг к другу. Какой тут мог быть вопрос, что всему этому «конец», что все надо «оборвать», что все «невозможно» и «нельзя». Именно потому что «нельзя» (как она потом сообразила) — острота притяжения достигла крайней степени. Говорить вообще было невозмож-

но: она — на обрыве слез, он — с трясущимися губами. Она только сжимала, как самую большую драгоценность, его голову, на которую катились ее слезы. А он, зарывшись лицом в изгиб ее локтя, так и не поднимал головы, бормоча: «Зверок мой, Зверок безумный...» Ну, кажется стены должны были рухнуть от нечеловеческого напряжения. И тут-то и вошла Настя. И это было хорошо.

«В'гемя п'гинимать таблетки!» Он встал с колен. Поправил волосы. Отшел к окну. Шарил дрожащими руками по карманам за папиросой.

На этот раз Ксения даже рада была приходу сестры. Далыше невозможно было выдерживать надвинувшиеся пласты.

«Ну-с, как дела, Лев Владимирович?» — прозаический настин голос был спасением. Как приятна была ее белая крепкая рука, высывавшая таблетки из трубочки на ладонь другой, — «Как книга ваша, п'годвигается?»

«Нет, Настасья Васильевна, ленюсь... слабо продвигается».

«Спички ищете? Вот они. Только ку'гить идемте в п'гихожую, или ко мне... Здесь, в комнате больной...»

Не больной, а помешанной, не больной, а свихнувшейся с ума. Геометрические узоры на висяцем у кровати коврике были тоже спасением. За них можно было уцепиться пустой и безумной мыслью и по ним скользить — туда и сюда, и туда...

«Как Сергей Павлович? Очень занят в больнице?»

«Да, как всегда — до пяти опе'гаций в день. Идемте, по-ку'гим и дадим Ксении отдохнуть. Она еще здо'гово слаба». Дверь за ними закрылась.

Но какое все заливающее счастье знать, что он здесь, за дверью — и это самое важное в ее жизни, что он еще здесь и появится снова, что она увидит его, что он... Нет! Нечего тут думать. Думать — теперь бессмыслица. Будь, что будет.

Лицо в испарине. В глазах пляшут бешеные огни. А неудержимая, дикая, просто звериная радость колотит все тело. Где-то безнадежно упущен был какой-то самый малый момент и это решило все. Теперь же, вот эта самая яростная, животная радость потопила совершенно все остальное — и мысли,

и доводы, и все, и на совсем. Ужасно, но ясно. Решать больше было нечего.

Потом Настя умненько устроила чай, и они оба сидели тут же, у нее и говорили. Ксения рада была молчать и только жадно ловила себе повороты его лица, узкого, бледного, и «любое место» на виске под коротко остриженными светлыми волосами, и движение тонких рук, вертевших коробок со спичками.

Настя спокойно вела разговор об его институте, лекциях, студентах и больнице Сергея, как будто это очередной знакомый пришел в гости и ничего ровно не произошло. На столике перед ним оранжевел стакан чая и недопитое содержимое его обертывалось для Ксении радостью еще и еще иметь его тут. А он сидел на диване, откинувшись и все вертел и вертел коробок. Ну взгляни, взгляни, брось спички. Все равно ты взглянешь... Его большие серые глаза (даже смешно, что такие у мужчины!), его глаза оторвались наконец от коробка и она вся ушла в них, сознавая свою силу над ним и полное свое бессилие.

Он улыбался, глядя на нее — когда же она на охоту теперь? Ее взгляд ответил ему — вот теперь то и начнется настоящая жизнь, и охота, и всё.

«Не разучитесь стрелять за болезнь?» И опять ее взгляд ответил ему, что теперь то она будет стрелять так, как никогда еще не стреляла.

Он посмотрел на часы: «Ну, мне пора». Чай так и остался недопитым в стакане, потеряв все свое значение. Настя забрала посуду и вышла.

Подошел и долго не отнимал ее рук от своего лица. Потом нежно поцеловал в оба глаза: «До завтра, Зверок, до завтра».

Она не двигалась — теперь уже все, все равно.

5

Ехать решили за шестьдесят верст. Сначала по железной дороге, а потом — пятнадцать верст в сторону на подводе. Она втолковывала ему, что Андрей Андреевич — вдовец, муж умершей сестры Софы. Он старший врач больницы в Д —

ском районе. Что он очень хороший, ну и потом... одним словом он очень «такой». У него остановимся. Она говорила ему, что дядя Миша часто там бывает и охотится, и что он знает места. А ее зять, Андрей, сам страстный охотник. Ее удивило и немножко огорчило, что все это мало его интересовало. Возможность же видеть ее и быть с ней три дня майских праздников, очевидно, очень радовала его.

...Весна была еще совсем ранняя. Деревья — голые. Но даже в сереньком и холодноватом дне неуловимо теплым тоном дымились красноватые тонкие стволы мелкого придорожного леска. Снежный холодный, но душистый от своей чистоты воздух пробивал местами крепкий дух мокрой раскисшей земли и теплого лошадиного навоза. То там, то сям, среди лиловатой однообразности голых деревьев высказывала задорно и весело яркая зелень елок, чтобы веселить глаз. Но глаза и душа, и так жадно, с новым наслаждением впитывали в себя все, что было кругом. А кругом было все совсем особое, почти что утерянное навсегда и обретенное вновь. И потому до боли яркое, великолепное и теперь еще сильнее любимое.

Телега, заботливо высланная Андреем с мальчишкой-возницей, выворачивалась на глубоких, налитых рыжей жижей колдобинах, скрипела... Колеса сухим острым звуком чиркали о кузов. С ними вместе двигались, перебивая друг друга, крепкие вкусные запахи: дегтя, кожи, лошади и сена. Одни эти запахи уже наполняли Ксению брызгущей радостью. На телеге сгружены набитые спинные мешки, ружья в чехлах и люди. Дядя Миша, в туго подпоясанном бараньем тулупчике, уже не казался здесь несуразно-огромным. Он взял у мальчишки возжи, свесил сапоги над колесом. На колдобинах, когда телега ухает с его стороны в водянную колею, он отталкивается могучим рывком ног о землю и кричит особой чудесной поглавицей: «Н-но, н-но, милай!» А то и вовсе спрыгнет на обочину, подбежит, подпихнет и снова, боком, вскочит на край телеги. Здесь он на месте, большой, но ловкий, знающий, складный. От нее только виден кусок его торчащей бороды, да болтающееся ухо надвинутой шапки-ушанки.

Ксения забралась с сапогами на телегу. Дядя Миша на-

бросал ей для тепла сена на ноги. Ей весело. Она смеется. Около нее — Лев. На нем смешное кепи и какой-то непонятный бушлат. Но он очень красив и в таком наряде. Теплота его руки под сеном передается ее холодным пальцам. Хорошо.

«Хорошо в лесу, дядя Миша?»

Из ушанки слышится какое-то бурчанье.

«Чего вы там?»

«Дорогу, грю, разгрязнило дождями. Эй, пацан, а пацан, как тебя звать?»

«Володькой».

«Ты чей же, Володька?»

«Семёновых».

«Так. А папка кем в больнице?»

«Не. Его нету. Мамка — в нянечках».

«А семья то большая?»

«Не. Я да Тамарка», стеснительно утер нос, рукавом и весь ушел в свою большую шапку.

«В школу ходите?»

«Ага».

«Который год?»

«Я — третий. Тамарка — первый».

«Читать знаешь, герой?»

«Ага».

«Гей, гей, милá-ай!»

Телега ухнула в огромную лужу, полную густой шеколадной жижки с раскисшими в ней комками снега. Лошадь, напряженно выворачивая бабки задних ног с обвисшей мокрой шерстью, вытаскивала скрипящую телегу на сухое. Дядя Миша поднял сапоги над лужей. С колес комками спадала рыжая глянцевитая грязь.

«Глядите: вербы уже цветут!»

«Да. Вот вылезла одна на пригорок, на солнышко... Тпрууу! Давай, Володя, скачи, милок! Наломай нашей барышне верб».

Серые мохнатые шишечки на лаковых вишневых стволиках были ей, как невиданное чудо, как захватывающее открытие. Лева, рядом, щекотал ей лицо пушками.

«Ах, дядя Миша, ах, какой вы... Ах, как хорошо...»

«Нда... А на Вербную Субботу нёсь в церкву не пойдешь, хозяйка?»

«Куда уж мне... Я басурманка стала. Да и церкви то все позакрыты».

«Нда... А как с Василь Петровым жили — порядок был. Всех он вас в церковь водил, да и покойница Марья Николаевна... А теперь и цыгарки смолить научилась».

«А водку кто меня пить научил?»

«Водку... водка — другой разговор. На охоте без нее нельзя».

«Не ворчите, миленький, голубчик, я все равно вас очень люблю!»

«Люблю, люблю... Гей, милый, с Богом!»

«А что у Андрея Андреевича хорошая собака, Михал Михалыч?»

«Да как вам сказать, Лев Владимирович — у него две: гончак — ничего, старый, но опытный пес. По лисе идет и по зайцу. А лягаш — сучка. Молодая, ладная. Сам ее он и натаскивал. По болоту пошла уже с шести месяцев. Да ты, что, голубь, весной про собак? Кто ж по весне с собакой ходит?»

«Да я не про сейчас, а вообще».

«А, ну «вообще»... Ну, нно, давай, давай!»

Ах, как хорошо все — и телега, и дегтем пахнет, и Волodyка, и вербы, и собаки ненужные сейчас, и тяга впереди, и он, и он, и он...

Въехали в высокий, спокойный еловый лес. Дорога шла теперь, как в аллее парка. Стало зелено и темновато. Небо белело только вверху. Остро дохнуло хвоей, а снизу подавало сыроватыми глубинами мха.

«Ух, в лесу благодать то какая! Но, но, милый! Скоро будем».

По приезде подзакусили в теплой, с большой выбеленной русской печью, докторской кухне. Под столом лежала большая собака с седой мордой. Другая, изящная и кофейногая — у печки. Теплая кухня, собаки, уютный тихий Андрей в

русской рубашке, в высоких сапогах и очках (настоящий земский врач начала века, как она всегда считала) — все это было приятно. Хороший он, думала Ксения. Но какая разница с городским ее зятем, Сергеем. Там — ирония, шуточки, но и сильная научная жилка. Андрея было жалко: любил так жертвенно, мягко и преданно покойную Софочку, а теперь вот — с собаками один, бобылем, в глухи. Сам же он сейчас очень серьезно (он все делал серьезно) угощал всех чаем из вскипевшего к их приезду самовара, раскладывал сахар, лимон и раздавал стаканы.

Стали собираться. Дядя Миша, деловито и всепоглощенно, пихал в сумку и рассовывал по карманам патроны, нацеплял и улаживал на боку сетку. Очень подозрительно, скривив губы и скосившись на стволы, оглядывал свое сияющее, отлично ухоженное ружье Тульских мастеров. Ксения знала, что это входит в ритуал сборов и, забыв свои приготовления, засмотрелась на все эти процедуры. Она любила в нем этот любительский, с настоящим охотниччьим шиком, подход ко всему касающемуся охоты.

Потом он вдруг как бы очнулся:

«Ну, Ксения! А у тебя все готово? Сапожишки то не текут ли? То-то. Может подмазать? Беда по весне ежели текут».

Внимательно оглядел ее ружье и все снаряжение.

«Так, говоришь, Андреич, тянут? Попытаем. Сам то не пойдешь постоять с нами, хозяин?»

«Пошел бы с радостью, да за оперированной приглянуть надо. Тяжелый случай — внематочная и сердце слабо. А ты помнишь ли дорогу то? С большака свернешь вправо, в горку. Деревня, «Петушки» слева останется».

«Я то помню ли? Да ты што? Ну, готовы что ли, цыплята? Солнце не ждет. Давай, топай на двор!»

Придерживая у горла борта пиджака, Андрей с крыльца указывал, где им сократить по задам больничных корпусов, потом через больничные огороды и — направо по проселку, прямо до самого большака. Вдогонку крикнул — будет ждать с самоваром. Дядя Миша недовольно фыркнул через плечо:

«Ты нам лучше, Андреич, спиртяги разведи. Чай што! Чай не водка, много не выпьешь».

6

Пошли. Между корпусами наползала сырватая мгла. То там, то сям зажигались желтые окна. Сначала гуськом шли по голым, с остатками прошлогодней почерневшей ботвы, бороздам огорода. Когда ступили на проселок, сапоги начали пружинить по мягкой, набухшей водой земле. Дрожь серенькой вибрацией заползала под охотничью курточку Ксении. Зубы стали непроизвольно стучать. Перевесив ружье на левое плечо, Лев крепко прижал ее к себе. Как ударом тока Ксения залилась блаженством.

Вышли на старый большак. Посередине он зарос кустиками, но по бокам его метили старые могучие, но совершенно еще голые березы. «Екатерининские!» — с почтением сказал про них Лев. «А тишь то!» — дядя Миша легко перемахнул канаву.

«Замерло все. Ни зима, ни весна — так, ожидание одно». «Ох, люблю я эту пору!»

Лева тихо: «Согреваешься, Зверок?»

Не говорилось. Но было хорошо. Черным могучим силуэтом замер лес впереди. Странно серели голые поля и, как острова в озере, небольшие тихие перелесочки в них. Белеющие в вечерней мгле березы могуче и солидно сопровождали их шаги, стучащие по убитой сухой тропинке. Иногда голые мягкие прутья чертили по лицу.

«Тут хорошо на тропке. Повыше — оно и сухо. Птица моя... Ксенюшка наша сапожков не замочит».

«А лужа будет — перенесем, Михал Михалыч!» и видно было, что ему очень хотелось, чтобы лужа была.

«Да вам никому меня и не поднять!»

«Ох, расхвасталась. Да ты легче пуха стала. Глазищи одни и боле ничаво. Одной рукой перехвачу!»

Смеялась на них обоих — таких разных и все-таки таких одинаковых. Хорошо. Думать — запрет. Только вечер весен-

ний, только тяга, только он. Слева вдали показались огни деревушки — значит надо сворачивать.

В самом лесу было еще лучше. Серовато шуршали под ногами старые листья. Слева лиловел и как бы струился зачастивший осинник. Мелкие яркие елочки украшали голость и дымность леса: они вприпрыжку сбегали с лысого бугорка и карабкались на другой уклон. Белые стволики берез резко выделялись на черноте старых елей. Между вершин этих больших спокойных елей, между самых силуэтно стоящих на небе мутовок...

«Смотрите, смотрите — звезда зажглась, значит разъясnit!»

«Я видал, Зверок, когда мы отчаливали от больничных огородов, узкую желтую полосу на горизонте, как желтый шелк. Помнишь у Маяковского?

«Я сошью себе черные штаны из бархата голоса моего. Желтую кофту — из трех аршин заката?»

«Это значит разъясnit».

«Завтра будет вёдро», — дядя Миша мягко вразвалку, как-то по звериному шагал по лесу. Был здесь, в своем кузом обтерханном и туго подпоясанном полушибке очень какой-то свой, лесной.

Свернув с лесной дороги, продираясь по кустам и отгибая еловые лапы, вошли наконец в лощинку. Из нее тянуло снежным холодком. Розоватая дымность спутанных прутьев в глубине выделялась на больших белых, еще не растаявших здесь, пластиах снега. Сбоку, над обрывчиком, нависали оголившиеся корни березы. Другая, поваленная и трухлявая, лежала на земле. Впереди была густая чаща стволов, ветвей, еловых лап.

«Вот ты, Ксения, на этой горке стой. А вы... мmm... молодой человек — напротив, с того боку. Авось, который да-нибудь из вас и заметит птицу малую. А я подамся вон туда, аж за те деревья. Тянуть могут в разные стороны, ну а вы оба стойте на запад — оно виднее. Небо посветлело — должны увидеть. Да не кричать тут у меня!»

«Есть не кричать, дядя Миша!»

Похрустывание шагов отдалилось. Они вскарабкались на самый бугор, где было заметно теплее. Пахло пряной сушью, прелью, хвоей.

«Зверуша, ни за какие пряники я не пойду туда. Буду только здесь, с тобой. Рядом».

«Ой, Лева!» А он уже сгреб ее в свою, с ружьем на плече, в смешном беретике с хвостиком на макушке.

«Ух, какие холодные губы, и щеки, и глаза! Сядем тут».

«Нет, Лева, нет. Сейчас будут тянуть, мы не заметим, а дядя Миша... Нет, Лева, нет...»

Отошел, закурил. Закашлялся. Она виновато поглядела на него: ну как же он не понимает, ведь сейчас охота. Не упустить, не осрамиться. Темнота находила быстро: сейчас потянут, а он не увидит, а дядя Миша...

Бах! Бах! — за деревьями. Шопотом: «Вот видишь — у него уже есть!» Хорк, хорк, хорк... Сдавленно, с напряжением: «Слышишь, Лева?» Сверкнуло и ударило справа от нее, но птица прошла краем леса и пропала.

«Сейчас еще полетят... жди...» — шепот нагнетал таинственность и напряженность. Страстно, до дрожи, хотелось убить вальдшнепа. Но совершенно также хотелось бросить все, всю эту охоту и прижаться к его лицу. Хотелось и просто замереть среди этой тихой холодной дымчатой весны — уйти, раствориться, не быть. Прошло минут десять. Тихо:

«Знаешь, Лева, когда я бываю на тяге, то всегда вспоминается Стива, Левин и, помнишь еще, грифельный лист?»

«Ах, что там Стива и Левин! Вот мы — это да!»

«Лева, у меня ружье не на предохранителе!» И вдруг: хорк, хорк, хорк.

Бах! — за деревьями.

И тут вдруг, прямо на них, из-за еловых крестообразных мутовок молчаливым, желанным силуэтом на чуть желтоватом небе возникла птица. В груди екнуло. Руки сами взяли хорошее упреждение и Ксения выстрелила. Неожиданно, после долгой отвычки, сильно ударило в плечо. Она невольно крякнула. Птица ослабла в полете, кувыркнулась и пошла вниз, в кусты.

«Есть, есть — искать!» Из-за деревьев:

«Эй, вы там, охотнички, не орите!»

«Я убила, дядя Миша, я убила»...

Сбежали вниз и, хлюпая и скользя в лощинке по раскисшей снеговой земле, шарили фонарным лучиком по кустам, с сугробцами белого снега под ними. Запахло сырой землей и гнилым листом. Плечи охватывала дрожь. С трудом нашли повисший в прутьях серый комок птицы. Ксения сияла.

«В твоих глазах, Зверик, и лес, и птица, и счастье...»

«Да ты и не видишь их вовсе!»

«Вижу и целую, как сказал Юлий Цезарь...»

«Молчи. Тихо. Дядя Миша идет...»

«Никто не идет», и, притянув ее к своему бушлату: «давай, останемся здесь на ночь».

«Нельзя, что ты! Да и холодно...»

«Жара, как в Сахаре».

Ей вдруг жалко стало, что убила она, а не он. Лучше бы он... Прежний, много раз испытанный и захватывающий охотничий азарт двоился теперь с желанием охотничьей славы для него, пусть даже за ее счет. И особенно — перед дядей Мишой.

Сильно темнело. Птицы не тянули больше, или их трудно было разглядеть на сразу потемневшем небе. Лес совсем замер, как бы уснул, покрывшись темнотой. Холодало. Неожиданными пронзительно голубыми точками вспыхивали на темном, но ясном небе звезды. Различимы, да и то слабо, были еще запахи: прелью, мохом, сырой землей. Сухим горьковатым листом и корой — на горке, где лежала поваленная береза.

Дядя Миша крикнул им, чтобы «мотали удочки — темень». Не хотелось отрывать озябших рук от его горячего лица. Не хотелось выходить из лесной весенней тиши. Наконец вскинули ружья на плечи и пошли, продираясь сквозь хлещущие по лицу ветки, разгребая их руками и хрустя сапогами по сучьям. Ксения несла в руке свою гордость, свою ловкость — еще теплую птицу. И хотя виновато поглядывала на него, все же явно собиралась похвастаться.

«Ну, барышня, убила что?» — темный, большущий, как

лесной зверь, возник из темноты дядя Миша. Он улаживал ружье на плече и сетку, в которой явно и груновато что-то темнело. Ксения протянула свою птицу к его лицу:

«А у вас много ли?»

«Буза. Парочка заблудших тут протянула, да вы вспугнули одного. Давай, давай на гору! Темень тут». Но и в темноте, в лесу ночью дядя Миша разбирался прекрасно. Знал куда свернуть, где избежать хлещущих еловых веток, где обогнуть раскисшую от снега землю и как ближе всего сократить к большаку.

Вдоль большака с едва белевшими теперь стволами мгучих берез прибавили ходу. Теперь уже справа, из полной темноты, маслянисто желтели огни деревушки. Грузный нахолленный силует с торчащим над плечом стволом ружья двигался впереди. Сколько ни пыталась она ни о чем «таком» не думать и отвлекать себя охотой, вечером, весной, ощущением хоть краткого, но огромного счастья — сейчас, в этой холодной строгой вечерней тишине сердце вдруг ухнуло куда-то и толкнуло спросить, что мол там... ну, у него дома, знают где он? Повторенное им «знают» болезненно резнуло. После всего, что случилось за время ее выздоровления он уже не говорил больше о жене, не называл ее, не упоминал о малыше. И сейчас он мгновенно переключился на убитого ею вальдшнепа — довольно ли она?

«Да, то есть нет».

«То есть как?»

«Лучше бы ты». Он удивлялся: ведь охота не для одной добычи. Сколько прекрасных вещей сопровождают охоту — природа, запахи лесные, тишина. Они то и ценные. Он и мальчиком всегда так ощущал охоту. А эта охота имеет свою особенную, ни с чем не сравнимую прелесть.

Шли. Сырая тьма кусками охватывала их, напихивалась между березовых стволов, клубилась по полю. Перелесков-островков уже почти не было видно. Все поле перекатывало на себе мягкие клубящиеся формы. По мере нахождения темноты появлялось ощущение углубленности, стирания предметных границ, как бы бесконечности: ощущение ночи...

«Эй, вы там! Чего во сне мочалку жуете? Выпить охота!» — у поворота на проселок корявым дубом громоздился дядя Миша.

7

Когда брели по черному двору больницы, докторское окно рыжело приветливым пятном. Шли на него. Залаял андреев кобель. Открыли дверь и зажмурились от света. Густой запах свежего черного хлеба повис в теплой кухне. После мрака и холода улицы все это ощущалось пределом уюта. Поднимая к лампе-молнии химическую колбу Андрей круговыми движениями смешивал спирт с водой.

«Эх, Андреич, а в чем студить будешь?»

«Не тужи, дядя Миша. Снега припас», — на подоконнике стояла миска со снегом.

После водки все стало совсем простым и очень милым. Хохоча она рассказывала, как совершенно нечаянно подстрелила вальдшнепа, гладила Андрея по черной, коротко стриженой голове, а всю свою порцию колбасы скормила собакам. Ей казалось (а может оно так и действительно было), что все они трое с явным восторгом ловят ее слова и жесты. И она веселилась и болтала без умолку. Лев тоже смеялся и усиленно чокался с дядей Мишой. А этот, сначала озабоченно, глазами старой няни, поглядывал между своими рюмками на ее разгасившиеся малиновым заревом щеки. Потом и его разобрало:

«Андреич! Тащи гитару, споем давай!» взревел он.

Темные корпуса больницы, разбросанные между старых елей, с единичными желтыми глазами-окнами спали в тихой холодной весенней夜里. Звезды яркими мокрыми точками дышали и обливались ослепительной влагой в совершенно черном небе.

«Э-эх, зачем эта ночь... гремело в кухне.

Они стояли на крыльце. Долго стояли прижавшись, в блаженном молчании.

«Помнишь, Зверок?

Ведь если звезды зажигают,
Значит — это кому-нибудь нужно?
Значит — кто-то хочет, чтобы они были?»

«Как удивительно все это — и охота с тобой, и эти звезды, «наши» звезды, и ты рядом, мой близко-далекий рыцарь!»

Скрипнула дверь: гончак, Каро, лапой приоткрыл дверь, вышел на улицу. Обернувшись на скрип в яркую щель они увидели, как большая лапища дяди Миши легла на спину Андрея:

«Ты, Андреич... слышь, ты ж-женись на ней! Всегда говорю тебе. Ну, чего там п-понимаешь бобылем жить? Не л-ладно... А он... этот... он же б-бросит ее, вот увидишь! Пропадет девчонка не за понюх... Бросит сукин сын, я знаю! А ты — ж-женись»... И Андрей серьезно:

«Я стар для нее. Она — красивая, молодая... Да и любит другого».

«Ер-р-рунда на постном масле! Ты ее сп... спсти должен! Ты же хороший... человек, Андреич!»

Ксения дернулась и сбежала с крыльца. Внутри появился жесткий режущий предмет, мешающий вздохнуть. С трудом преодолевая его она стала ходить по двору, крепко сжав на груди руки, давя ими колотившееся сердце. Он молча ходил рядом с ней и курил. Закурила и она. Два красненьких огонька метили их путь по двору. Туда — сюда. Звезды — мокрые плещущие прятались от них в густых латах старых елей, а то вдруг рассыпались дышащим серебром по черному бархатному провалу неба. Было очень тихо и холодно.

Из докторской квартиры со светившимся окном летели басовитые: «Быстры, как волны...»; потом гудел пьяный басок: «Бу — бу — бу», или позвякивали переборы гитары. И эти звезды, которые «кому-то нужны», необходимы, и гитарные переборы, и темные старые ели, и эта тихая холодная недушистая ночь сплеились для нее в щемящее-сладкое ощущение своей жалкости и своей наполненности, безвыходности и огромного счастья. И со всем этим «делать» было нечего. Это было.

И все. Такое странное раздирающее состояние усиливало, разжигало тягу к нему. Она вдруг вцеплялась в него, притягивала к себе его холодное лицо и, задыхаясь, жгла его огнем своих горевших щек.

Потом он старался ее успокоить. У дяди Миши же это пустой пьяный вздор, самая обычная вульгарная ревность, да еще под парами. Нельзя обращать внимание на всякий пьяный трёп. А, кроме того, помнишь?

«Что может хотеться этакой глыбе?

А глыбе многое хочется!»

Она с радостью соглашалась и даже посмеялась на «глыбу». И рассказала ему, как когда-то давно «глыба» собирался «профессоришке» ноги переломать, да только она не позвоilonila. Вообще из-за всей этой истории они совсем поглупели, потеряли облик человеческий: о чем думают? о чем говорят? Просто невероятно! И тут они стали говорить о его работе над Маяковским. Он закрыл ее полой своей куртки и так, прижаввшись и шагая по темному двору, они говорили. Он считал, что чем больше он вчитывается в его стихи и сопоставляет все факты его биографии, тем трагичнее и противоречивее кажется ему явление Маяковского, несмотря на весь его плакатный выкрик и нарочитую грубость. Похоже на то, что этим он заслонял от всех свое нутро, болезненно-ранимое, ущербленное и мечущееся. Тут он прочел ей:

«Ох, эта
Ночь!
Отчаянье стягивал туже и туже сам.
От плача моего и хохота
Морда комнаты выкосилась ужасом».

«Тут, понимаешь, и неудачная любовь, и полная необеспеченность, и гордость, и желание выделиться, фигурировать. И более того: никакой он не «глашатый» революции, а сложный индивидуалист, и что вся эта примитивная политика ему нестерпимо скучна. Главное же (и это он, конечно, сознавал сам — отсюда и самоубийство), главное же это тупик и конец

настоящего творческого развития. И даже иногда мне кажется, что идя с ними, со всеми этими тупыми партийными работниками в ногу, он как бы издевается и над ними, и, главное, над собой. Ирония в отношении самого себя — главная его тема. В том, или другом виде».

«Но как же писать о нем тогда в наших условиях?»

«Вот и не знаю. Сложно, очень сложно. Верчусь, как змей. Врать тоже не хочется. Ведь печатное слово останется... Но работа заказная, они ждут от меня стандартных узколобых мыслей в угоду генеральной линии».

«Однако все-таки, как хочешь, а он страшный разрушитель. Ведь Пушкина даже сбрасывал «с корабля современности»!

«Ах, это мальчишество. Он сам понимал это и очень любил Пушкина».

«Да они там в ЛЕФе договаривались и до ненужности искусства вообще».

«Чепуха все! Он — настоящий большой поэт, новатор, мастер стиха. С одной стороны он саморазрушитель, с другой — создатель новых форм в поэзии, ведь за ним — целая школа. Разрушитель и общепринятой рутинной мелодики стиха и создатель совершенно новой небывалой образности. А его слова, звучание... Чего стоит, например:

«Кричу кирпичу,
Слов исступленных вонзаю кинжал
В неба распухшего мякоть...»

или:

«Меньше, чем у нищего копеек
у вас изумрудов безумий».

Ей как-то не хотелось верить, что это действительно ему так нравится, но она старалась, чтобы и ей это нравилось. Он же весь был в этой, обившей его «мякоти» стихов Маяковского; любовался каждым словом, каждой строкой. И мог говорить о нем без конца. Его мучила невозможность писать так, как хотелось.

Пошагали еще молча. И вдруг мысль опять соскочила с

линии «умных разговоров», соскочила и пошла, извиваясь и кривляясь, выбрасывать из подсознательных глубин всю неприглядность ее положения. Чувство жалости к себе, но и острой виновности запылало жаром на ее теперь уже остывших щеках. Мечась внутренне, кидаясь из стороны в сторону, желаю ухватиться за какой-то спасительный кусок, она вдруг, задохнувшись и несясь куда-то в пустоту, выпалила:

«О, Лева! Если бы у меня было много, много денег, или... ну, скажем, дом, дача чудесная — я все бы, все отдала Маше и Игорьку...»

Он помолчал: «Выкупить меня хочешь? Но, Зверок, любовь не продают и не покупают. Маша меня очень сильно любит».

От этого неожиданно-возникшего огромного и мало переносимого груза слов Ксения вся поникла. Режущий предмет в груди снова стал вонзаться своими остриями. И потом, сжавшись и озлобившись, как бы приготовившись к отчаянному и рискованному прыжку, решила: все равно — хоть час, хоть минута, а он мой. Большего я не прошу. Вслух сказала:

«Пойдем в дом», и решительно зашагала на желтое окно докторской кухни.

8

За столом выпила еще водки, закусила соленым огурцом. Хохотала, ласкала собаку, положившую умную охотничью морду в кофейных пятнах ей на колени, дразнила дядю Мишу, нежничала с Андреем (как же, все-таки он ее потенциальный спаситель!) и едва сдерживала слезы. Откинулась своей темной головой на спинку стула и, сверкая глазами и зубами, стала напевать:

«Когда — а ребенком я была,
Все лю — бовались мной!»

Потом, смеясь слишком громко и слишком лихо сверкая глазами, взяла Льва за руку и, послав отчаянный воздушный поцелуй двум мужчинам за столом, ушла с ним вместе в уступленную ей Андреем на ночь спальню.

«...Мне шли — и и ку — дри по плеча-ам,
И фа — а — ртучик с каймой!» —

вылетело из спальни и дверь нарочито громко захлопнулась.
Все стихло.

«От-те здрасте! А ружья кто чистить будет? А птиц потрошить? Пушкин? Ах, Андреич, упустил я девку... быть беде! Что я Настасье скажу теперь? ...Так вот, значит, подходим мы этта к леску — соснячок на горке этакой незавидный — и видим, понимашь... видим: меж стволов на сосне огромный белый котище затаился и кисточки на ушах»... — дядя Миша приложил указательные пальцы к своим ушам.

«Белая рысь? И подпустила?»

«А как же! Чисто белый кот...»

Через некоторое время в кухню, где все еще разглагольствовал разомлевший от водки дядя Миша, ворвался взлохмаченный, в сбитой рубашке Лев. Красивые черты его лица были перекошены. Мужчины оглянулись с удивлением.

«Андрей Андреич, ради Бога... скорее, что-нибудь...»

«Что случилось?» взревел дядя Миша.

«Кровь горлом!»

Андрей, знавший об отравлении, быстро засовывал остатки снега из таза, где студилась водка, в круглый резиновый мешок. Дядя Миша сунул медицинскую чашку, ваты и показал на дверь спальни.

Ксения на кровати — белая, с мгновенно провалившимися огромными глазами — прижимала окрашенный платок к губам. У углов рта пузырилась розоватая пена.

Мешок со снегом, положенный на горло, постепенно остановил кровь. Дядя Миша, сидя у изголовья с ужасом держал в руках чашку с кровавыми плевками. Андрей давал ей глотать кусочки льда. Лев, только что бегавший за льдом в больницу, стоял у окна и глядел остановившимися глазами в темноту. Она старалась улыбаться. Андрей не давал ей говорить:

«Покой, никаких разговоров, лед». Потом пошел за ле-

карством. Дядя Миша зверем смотрел на Льва. Ксения заметила. Лицо ее исказилось. Она отвернула голову от обоих.

Лев наконец овладел собой:

«Ксении Васильевне не надо было пить водки». Дядя Миша презрительно громко фыркнул и повернулся к нему спиной, бормотнув что-то неясное, но угрожающее себе под нос.

Андрей возвратился, спокойно дал Ксении лекарство:

«Теперь все в порядке. Ей надо уснуть. И к утру будет здоровья. Мы все уйдем отсюда. Ей нужен покой, восстановить силы».

«Не уйду. Тут, около, на полу ляжу. Птицу мою бросить одну?!» — дядя Миша прямо разъярился.

Андрей мягко улыбнулся:

«Ей воздух нужен, комната маленькая, а ты дядя Миша — мужик большой. Уж лучше в кухне ляг, коли хочешь».

«Хочешь? А если позовет?» Лев дернулся:

«Я посижу в кухне и посторожу». Дядя Миша, как ужаленный, обернулся к нему:

«А поди ты — сам знаешь куда!» Андрей вмешался:

«Тихо, тихо. Ксении нужен покой — никаких споров. Уйдем все отсюда. Я сам буду заходить к ней. А вы оба идите спать в заднюю комнату».

(*Окончание следует*)

Наталия Ильинская

ПЕРЕЕЗД

Переезд! Переезд!
Руки к небу! Скорбный жест!
Вот подъедет грузовик,
По-гомеровски велик,
И могучий скрип осей
Вновь услышит Одиссей.

Переезд, переезд!
Наш кочевнический крест!
У того грузовика
Сталью крытые бока.
Затрещит моя тахта,
Словно в чреве у кита!
Силачи на страшный суд
Наши вещи понесут!

Переезд, переезд!
Сколько мы сменили мест!
Снова катится фургон
По полям во весь разгон!
Автострада, акведук,
О сундук гремит сундук,
О кровать гремит кровать.
Наше дело — кочевать.

Переезд, переезд!
Бог не выдаст, страх не съест!
Горы полок, связки книг
Затолкали в грузовик,
В грузовик отнесены
Все картины со стены!
И уже в квартиру ту
Напустили пустоту.

Сколько езжено — переезжено!
Кто подводою в Рим из Нежина,

Кто с Соломенки — да в Салоники
Под заливистый плач гармоники,

Кто — в игорную Калифорнию,
В море Черное ночью черною,

А иной, весь век свой валандавшись,
То в Голландию, то в Лос-Анджелес!

Сколько мыкано-перемыкано,
В карты всякие пальцем тыкано,

Сколько охано-переохано,
По чужим шоссе верст отгрохано!

То по небу я лечу,
То по морю плаваю.
Может — славы я хочу
И гонюсь за славою?

То я в поезде качу,
То трясусь с телегою.
Может — счастья я хочу
И за счастьем бегаю?

Я баранку кручу,
Я педали тискаю...
Может — денег я хочу,
За деньгами рыскаю?

Эх колеса-вертушки,
Нескончаемый гул!
Может просто из пушки
Кто-то нами пальнул!

Кто же рельсовым гулом
Душу нам пораstryс?
Что же нас подхлестнуло,
Что подбросило нас?

Что за чудная сила
Подняла, понесла,
Будто в спину забила
Два проклятых крыла?

— То, что в небе высоком,
В стороне голубой
Было греческим роком —
Стало русской судьбой.

Переезд, переезд,
Как еще не надоест!
Справа поле, слева поле,
И маячит в поле шест.

Переезд, переезд.
Город. Здание. Подъезд.
Входим в новую квартиру,
Точно взяты под арест.

Переезд, переезд.
Вот и ночь уже окрест,
И летят, летят в пространство
Звезды, сорванные с мест.

Иван Елагин

БЕРДЫ ОНЖЕ

Анекдот, превратившийся в мистический символ... Живая реальность, ибо с подпоручиком Киже общались люди, как с живым человеком — всё, что так хорошо рассказал нам Юрий Тынянов — долгое время не принималось мной, как запись были. Поразительная история павловского времени была для меня лишь гениальной остротой, злой шуткой какого-либо досужего вельможи-современника, превратившейся, помимо воли автора, в яркое свидетельство черт примечательного царствования. Лесковский часовой — история того же плана, утверждающая преемственность нравов самодержавия. Но самый факт царевой «описки» внушал мне сомнения — до 1942 года.

Побег был обнаружен лейтенантом Куршаковым на станции Новосибирск. Всех арестантов вывели из теплушек и под мелким холодным дождем считали, «перекликали» по списку на статью и срок — всё было напрасно. В строю по пять было тридцать восемь полных рядов, а в тридцать девятом ряду стояли один человек, а не два, как было при отправке. Куршаков проклинал минуту, когда он согласился принять «этап» без «личных дел», прямо по списку, где под номером шестьдесят значился бежавший арестант. Список был затёрт; при том бумагу никак нельзя было уберечь от дождя. От волнения Куршаков едва разбирал фамилии, да и буквы в самом деле расплывались. Номера 60 не было. Половина пути уже была пройдена. За такие потери взыскивали строго, и Куршаков уже прощался с погонами и офицерским пайком. Боялся он и отправки на фронт. Шел второй год войны, а Куршаков

Эти два рассказа В. Т. Шаламова мы получили без ведома автора из Совсоюза и печатаем их без согласия автора, за что приносим ему извинения. РЕД.

счастливо служил в конвойной охране. Он зарекомендовал себя исполнительным и акуратным офицером. Десятки раз возил он этапы, большие и маленькие, водил «эшелоны», бывал и в спецконвое, и никогда не было у него побега. Его даже наградили медалью «За боевое отличие» — такие медали выдавали и в глубоком тылу.

Куршаков сидел в теплушке, где помещалась охрана, и дрожащими, скользкими от дождя пальцами перебирал содержимое своего злополучного «пакета» — продовольственный аттестат, письмо из тюрьмы в адрес лагерей, куда он вез «этап», и список, список, список. И из всех бумаг, из всех строк он видел только цифру «192». А 191 арестант были заперты в закрытых наглухо вагонах. Промокшие люди ругались и, стащив с себя пиджаки и пальто, старались подсушить одежду на ветру у щели дверей вагона.

Куршаков был растерян, подавлен побегом. Конвойные, свободные от наряда, пугливо молчали в углу вагона, а на лице помощника Куршакова, старшины Лазарева, отражалось попеременно все то, что было на лице его начальника — беспомощность, страх...

— Что делать? — сказал Куршаков. — Что делать?

— Дай-ка список.

Куршаков протянул Лазареву несколько измятых, склоненных булавкой бумажных листков.

— Номер шестьдесят, — прочел Лазарев. — Он же Берды, статья сто шестьдесят вторая, срок десять лет. — Вот, — сказал Лазарев, вздыхая. — Вот. Зверь какой-то.

Частое общение с воровским миром приучило конвойных пользоваться «блатной феней», воровским словарем, где зверями называются жители Средней Азии, Кавказа и Закавказья.

— Зверь, — подтвердил Куршаков. — И говорить-то, наверное, по-русски не умеет. Мычал, наверное, на поверках. Шкуру с нас, брат, снимут за этого... — и Куршаков приблизил листок к глазам и с ненавистью прочел — Берды...

— А, может, и не снимут, — внезапно окрепшим голосом выговорил Лазарев. Блестящие бегающие глаза его под-

нялись вверх. — Есть одна думка. — Он быстро зашептал в ухо Куршакова.

Лейтенант недоверчиво покачал головой:

— Не выйдет, ведь, ничего...

— Попытать можно, — сказал Лазарев. — Фронт-то, небось... Война, небось.

— Действуй, — сказал Куршаков. — Здесь простоям еще суток двое — я на станции узнавал.

— Денег дай, — сказал Лазарев.

К вечеру он вернулся.

— Туркмен, — сказал он Куршакову.

Куршаков пошел к вагонам, открыл дверь первой теплушке и спросил у заключенных — нет ли среди них человека, знающего хоть несколько слов по-туркменски. В теплушке ответили, что нет, и Куршаков дальше не ходил. Он перевел «с вещами» одного из заключенных в ту теплушку, откуда бежал арестант, а в первый вагон конвойные втолкнули какого-то обворванного человека, охрипшего, кричавшего что-то важное, страшное на непонятном языке.

— Поймали, проклятые, — сказал высокий арестант, освобождая беглому место. Тот обнял ноги высокого и заплакал.

— Брось, слышь ты, брось, — хрюпал высокий.

Беглец что-то быстро говорил.

— Не понимаю, брат, — сказал высокий — Ешь вот суп, у меня в котелке остался.

Беглец похлебал супу и заснул. Утром он снова кричал и плакал, выскочил из вагона и кинулся в ноги Куршакову. Конвоиры загнали его обратно в вагон и до самого конца пути беглец лежал под нарами, вылезая только тогда, когда раздавали пищу. Он молчал и плакал.

Сдача этапа прошла вполне благополучно для Куршакова. Отпустив несколько ругательств по адресу тюрьмы, пославшей этап без «личных дел», дежурный комендант вышел принимать этап и начал перекличку по списку. Пятьдесят девять человек отошли в сторону, а шестидесятый не выходил.

— Это беглец, — сказал Куршаков. — Он у меня в Новосибирске сорвался, да мы его нашли. На базаре. Вот

горюшка-то хватили. Я вам покажу его. Зверь — по-русски ни слова.

Куршаков вывел за плечо Берды. Затворы винтовок щелкнули, и Берды вошел в лагерь.

Как его фамилия?

— А вот, — Куршаков указал.

— Он же Берды, — прочел комендант. — Статья сто шестьдесят вторая, срок десять лет. Зверь, а боевой...

Комендант твердой рукой написал против фамилии Берды: «Склонен к побегу, пытался бежать во время следования».

Через час Берды вызвали. Он обрадованно вскочил, ему казалось, что всё разъяснится, сейчас он будет свободен. Он весело бежал впереди конвоира.

Его отвели в конец двора, к бараку, отгороженному тройным рядом колючей проволоки, толкнули в ближайшую дверь, в вонючую темноту, откуда гудели голоса.

— Зверюга, братцы...

Я встретился с Берды Онже в больнице. Он уже немного говорил по-русски и рассказал, как три года назад на базаре в Новосибирске с ним долго пытался разговориться русский солдат, патрульный, как думает Берды. Солдат повел туркмена для выяснения личности на вокзал. Солдат разорвал документы Берды и втолкнул его в арестантский вагон. Настоящая фамилия Берды — Тощаев, он крестьянин глухого аула близ Чардкоу. В поисках хлеба и работы вместе с земляком, знаяшим по-русски, доплелись они до Новосибирска, товарищ ушел куда-то на базаре. Он, Тощаев, подавал уже несколько заявлений, ответа еще нет. «Личного дела» на него так и не пришло и он числится в группе «безучетников» — лиц, содержащихся в заключении без документов. Он уже привык откликаться на фамилию Онже, ему хочется домой, здесь холодно, он часто болеет, на родину писал, но сам писем не получал — возможно потому, что его часто переводят с места на место.

Берды Онже хорошо выучился говорить по-русски, но за три года не научился есть ложкой. Он брал обеими руками

миску — суп всегда бывал чуть теплый — миска не могла обжечь ни пальцев, ни губ... Берды пил суп, а то, что оставалось на дне, вытаскивал пальцами... Кашу он ел также пальцами, отложив в сторону ложку. Это было потехой всей палаты. Разжевав кусочек хлеба, Берды превращал его в тесто и раскатывал вместе с золой, выгребая ее из печки. Туго замесив тесто, он скатывал шарик и сосал его. Это был «гашиш», «канаша», опиум. Над этим эрзацем не смеялись — каждому приходилось не раз крошить сухие березовые листья или смородинный корень и курить вместо махорки.

Берды удивился, что я сразу понял суть дела: ошибка машинистки, занумеровавшей продолжение «кличек» того человека, который шел под номером 59. Но ведь был же живой человек — номер пятьдесят девятый; он-то мог сказать, что кличка «Берды» принадлежит ему? Мог, конечно. Но каждый развлекается, как может. Каждый рад смущению в рядах начальства. Навести начальство на истинный путь может только фраер, а не вор. А пятьдесят девятый номер был вор.

ЭКЗАМЕН

Я выжил, вышел из Колымского ада только потому, что стал медиком, кончил фельдшерские курсы в лагере, сдал государственный экзамен. Но еще раньше, десять месяцев раньше, был другой экзамен — приемный, более важный, смысла особого — и для меня и для моей страны. Испытание на разрыв было выдержано. Миска лагерных щей была чем-то вроде амброзии, что-ли: в средней школе я не получил сведений о пище богов. По тем же самим причинам, по каким не знал химической формулы гипса.

Мир, где живут боги и люди — это единый мир. Есть события одинаково грозные и для людей и для богов. Формулы Гомера очень верны. Но в Гомеровские времена не было уголовного подземного мира, мира концлагерей. Подземелье Плутона кажется рааем, небом по сравнению с этим миром. Но и этот наш мир — только этажом ниже Плутона: люди

поднимаются и оттуда на небеса и боги иногда опускаются, сходят по лестнице — ниже ада.

На эти курсы государство велело принимать «бытовиков», а из пятьдесят восьмой статьи только десятый пункт «агитация» — и никаких других пунктов.

У меня была как раз пятьдесят восемь пункт десять — Я был осужден в войну за заявление, что Бунин — русский классик. Но ведь я был осужден дважды и трижды по статьям, непригодным для полноценного курсанта. Но попробовать стоило: в лагерном учете после акций тридцать седьмого года, да и войны была такая неразбериха, что поставить жизнь на ставку стоило.

Приговор был оглушителен. Мой живой вес был уже доведен до нужных для смерти кондиций. Следствие в слепом карцере без окон и света под землей. Месяц на кружке воды и трехсотке черного хлеба.

Впрочем, я сидел в карцерах и покрепче. Дорожная командировка на Кадыкчане расположена на месте штрафзоны. Штрафзоны, спецзоны, колымские освенцимы и колымские золотые прииски меняют места, находятся в вечном грозном движении, оставляя после себя братские могилы и карцеры. На Дорожной командировке Кадыкчан карцер был вырублен в скале, в вечной мерзлоте. Достаточно было там переночевать — и умереть, простыть до смерти. Восемь килограммов дров не спасут в таком карцере. Карцером этим пользовались дорожники. У дорожников было свое управление, свои законы бесконвойные — своя практика. После дорожников карцер перешел в лагерь Аркагаль и начальник Кадыкчанского участка, инженер Киселев, тоже получил право сажать «до утра». Первый опыт был неудачен: два человека, два воспаления легких, две смерти.

Третим был я. «Раздеть, в белье, и в карцер до утра». Но я был опытней тех. Печка, которую страшно было топить, ибо ледяные стены таяли и потом опять замерзали, лед над головой, под ногами. Я прошагал всю ночь, спрятав в бушлат голову, и отделался отморожением двух пальцев на ногах.

* * * * *

Побелевшая кожа, обожженная июньским солнцем до коричневого цвета в два-три часа. Меня судили в июне — крошечная комната в поселке Ягодном, где все сидели притиснутые друг к другу — трибуналышики и конвоиры, обвиняемый и свидетели — где было трудно понять, кто подсудимый и кто судья.

Оказалось, что вместо смерти приговор принес жизнь. Преступление мое каралось по статье более легкой, чем та, с которой я приехал на Колыму.

Кости мои ныли, раны-язвы не хотели затягиваться. А самое главное, я не знал, смогу ли я учиться. Может быть рубцы в моем мозгу, нанесенные голодом, холодом, побоями и толчками — навечны и я до конца жизни обречен лишь рычать как зверь над лагерной миской — и думать только о лагерном. Но рискнуть стоило — столько-то клеток мозга сохранилось в моем мозгу, чтобы принять это решение. Звериное решение звериного прыжка, чтобы выбраться в царство человека.

А если меня избьют и выбросят с порога курсов — вновь в забой, к ненавистной лопате, к кайлу — ну что ж! Я просто останусь зверем — вот и всё.

Машина давно съехала с укатанной центральной трассы, дороги смерти, и подпрыгивала на ухабах, ухабах, ухабах, била меня о борта. Куда везла меня машина? Мне было все равно куда — не будет хуже того, что было за моей спиной в эти девять лет моих лагерных скитаний от забоя до больницы. Колесо лагерной машины влекло меня к жизни и жадно хотелось верить, что колесо не остановится никогда.

Да, меня принимают в лагерное отделение, вводят в «зону». Дежурный вскрыл пакет и не закричал мне — отойди в сторону! Подожди. Баня, где я бросаю белье — подарок врача — у меня ведь не всегда не было белья в моих присковых скитаниях. Подарок на дорогу. Новое белье. Здесь в больничном лагере другие порядки — здесь белье «обезличено» по старинной лагерной моде. Вместо крепкого бязевого белья мне дают какие-то заплатанные обрывки. Это всё равно. Пусть обрывки. Пусть обезличенное белье. Но я ра-

дуюсь белью не особенно долго. Если «да», то я еще успею отмыться в следующих банях, а если «нет», то и отмываться не стоит. Нас приводят в бараки, двухнарные бараки вагонной системы. Значит да, да, да... Но все еще впереди. Всё тонет в море слухов. Пятьдесят восемь шесть — не принимают. После этого объявления одного из нас, Лунева, увозят и он исчезает из моей жизни навсегда.

Пятьдесят восемь один — а! — не принимают. КРТД — ни в коем случае! Ни в коем случае. Это хуже всякой измени родине. А КРА? «КРА» — это все равно, что пятьдесят восемь пункт десять. КРА принимают. А «АСА»? У кого «АСА»? У меня, — сказал человек с бледным и грязным тюремным лицом — тот, с которым мы тряслись вместе в одной машине. АСА — это все равно, что КРА. А КРД? КРД это, конечно, не КРТД, но и не КРА. На курсы КРД не принимают. Лучше всего чистая пятьдесят восемья пункт десять без всяких там литерных замен. Пятьдесят восемь — пункт 7 — вредительство. Не принимают. Пятьдесят восемь — восемь. Террор. Не принимают. У меня — пятьдесят восемь. Десятый пункт. Я остаюсь в бараке.

Приемная комиссия фельдшерских курсов при Центральной лагерной больнице допустила меня к испытаниям. Испытания? Да, экзамены. Приемный экзамен. А что вы думали. Куром — серьезное учреждение, выдающее документы. Курсы должны знать, с кем имеют дело.

Но не пугайтесь. По каждому предмету — русский язык, письменный, математика, письменная и химия — три предмета. Со всеми будущими курсантами — больничные врачи, преподаватели курсов, проведут беседы. Диктант. Восемь лет не разгибалась моя кисть, согнутая навечно по мерке черенка лопаты — и разгибающаяся только с хрустом, только с болью, только в бане, распаренная в теплой воде.

Я разогнул палец левой рукой, вставил ручку, обмакнул перо в чернильницу-непроливайку и дрожащей рукой, холода от пота, написал этот проклятый диктант. Боже мой!

В двадцать шестом году — двадцать лет назад последний

раз держал я экзамен по русскому языку, поступая в Московский университет. На «вольной» теме я «выдал» двести процентов — был освобожден от устных испытаний. Здесь не было устных испытаний. Тем более! Тем более — внимание? Тургенев или Бабаевский? Это мне было решительно все равно. Нетрудный текст... Проверил запятые, точки. После слова «мастодонт» точка с запятой. Очевидно, Тургенев. У Бабаевского не может быть никаких мастодонтов. Да и точек с запятой тоже.

«Я хотел дать текст Достоевского или Толстого, да испугался, что обвинят в контрреволюционной пропаганде», — рассказывал после мне экзаменатор, фельдшер Борский. Проводить испытания по русскому языку отказались дружно все профессора, все преподаватели, не надеясь на свои знания, Назавтра ответ. Пятерка. Единственная пятерка. Итоги диктанта — плачевны.

Собеседования по математике испугали меня. Задачки, которые надо было решить, решались, как озарение, наитие вызывая страшную головную боль. И все же решались.

Эти предварительные собеседования, испугав меня сначала, успокоили. И я жадно ждал последнего экзамена, вернее последней беседы — по химии. Я не знал химии, но думал, что товарищи расскажут. Но никто не занимался друг с другом, каждый вспоминал свое. Помогать другим в лагере не принято и я не обижался, а просто ждал судьбы, рассчитывал на беседу с преподавателем. Химию на курсах читал академик Украинской академии наук Бойченко — срок двадцать пять и пять — Бойченко принимал и экзамены.

В конце дня, когда было объявлено об экзаменах по химии, нам сказали, что никаких предварительных бесед Бойченко вести не будет. Не считает нужным. Разберется на экзамене.

Для меня это было катастрофой. Я никогда не учил химию. В средней школе в гражданскую войну наш преподаватель химии Соколов был расстрелян. Я долго лежал в эту зимнюю ночь в курсантском бараке, вспоминая Вологду гражданской войны. На верху лежал Суворов — приехавший на экзамен из

такого же дальнего горного управления, как и я, и страдавший недержанием мочи. Мне было лень ругаться. Я боялся, что он предложит переменяться местами — и тогда он жаловался бы на своего верхнего соседа. Я просто отвернул лицо от этих зловонных капель.

Я родился и провел детство в Вологде. Этот северный город — необыкновенный город. Здесь в течение столетий отслаивалась царская ссылка — протестанты, бунтари, критики разные — в течение многих поколений создали здесь особый нравственный климат — уровнем выше любого города России. Здесь моральные требования, культурные требования были гораздо выше. Молодежь здесь раньше рвалась к живым примерам, жертвенности, самоотдаче.

И всегда я с удивлением думал о том, что Вологда — единственный город в России, где не было никогда ни одного мятежа против советской власти. Такие мятежи потрясали весь Север: Мурманск, Архангельск, Ярославль, Котлас. Северные окраины горели мятежами — вплоть до Чукотки, до Олы, не говоря уж о юге, где каждый город испытывал не однажды смену властей.

И только Вологда, снежная Вологда, ссылочная Вологда — молчала. Я знал, почему... Этому было объяснение.

В 1919 году в Вологду приехал начальник Северного фронта М. С. Кедров. Первым его распоряжением по укреплению фронта и тыла был расстрел заложников. Двести человек было расстреляно в Вологде, городе, где населения шестнадцать тысяч человек. Котлас, Архангельск — все счет особый.

Кедров был тот самый Шигалев, предсказанный Достоевским.

Акция была настолько необычайной даже по тем кровавым временам, что от Кедрова потребовали объяснений в Москве. Кедров не моргнул глазом. Он выложил на стол ни много, ни мало, как личную записку Ленина. Она была опубликована в Военном историческом журнале в начале шестидесятых годов, а может быть чуть раньше. Вот ее приблизительный текст: — Дорогой Михаил Степанович. Вы назначаетесь

на важный для республики пост. Прошу вас не проявить слабости. Ленин.

Впоследствие ряд лет в ВЧК-МВД работал Кедров, все время кого-то разоблачая, донося, следя, проверяя, уничтожая врагов революции. В Ежове Кедров видел наиболее ленинского наркома — сталинского наркома. Но Берия, сменивший Ежова, не понравился Кедрову. Кедров организовал слежку за Берия. Результаты наблюдения Кедров решил вручить Сталину. К тому времени подрос сын Кедрова — Игорь, работавший, как и отец, в МВД. Сговорились так, что сын подает рапорт по начальству — и если его арестуют — отец сообщает Сталину, что Берия — враг. Пути этой связи у Кедрова были очень надежные.

Сын подал рапорт по службе, был арестован и расстрелян. Отец написал письмо Сталину, был арестован и подвергнут допросу, который вел лично Берия. Берия сломал Кедрову позвоночник железной палкой.

Сталин показал Берии письмо Кедрова.

Кедров написал второе письмо Сталину о своей сломанной спине, о допросах, которые вел Берия.

После этого Берия застрелил Кедрова в камере. И второе письмо Сталин показал Берии. Вместе с первым оно было найдено в личном сейфе Сталина после его смерти.

Об обоих этих письмах, их содержании и обстоятельствах этой переписки «на высшем уровне» рассказал Хрущев на XX съезде совершенно открыто. Всё это повторил биограф Кедрова в своей книге о нем.

Вспоминал ли Кедров перед смертью вологодских заложников, расстрелянных им, не знаю. Наш преподаватель химии Соколов был расстрелян среди этих заложников. Вот почему я никогда не учил химию. Не знал науки академика Бойченко, который не нашел времени для консультации.

Значит, ехать назад, в забой, и так и не быть человеком? Постепенно во мне копилась, стучала в висках старая моя злоба и я уже ничего не боялся. Должно было что-то случиться. Полоса удач также неотвратима, как полоса бед —

это знает каждый игрок в карты, в железку, в очко... Ставка была очень велика.

Попросить у товарищей учебник? Учебников не было. Попросить рассказать хоть о чем-нибудь химическом. Но разве я имею право отнимать время у моих товарищей. Ругательство — единственный ответ, который я могу получить. Оставалось собраться, сжаться — и ждать.

Как много раз события высшего порядка повелительно, властно входили в мою жизнь, диктуя, спасая, отталкивая, нанося раны, незаслуженные, неожиданные... Важный мотив моей жизни был связан с этим экзаменом, с этим расстрелом четверть века тому назад.

Я экзаменовался одним из первых. Улыбающийся Бойченко, в высшей степени расположенный ко мне. В самом деле — перед ним хоть и не академик Украинской академии наук, не доктор химических наук, но грамотный, как-будто, человек, журналист, две пятерки. Правда, одет бедновато, да и исхудал филон, наверно симулянт. Бойченко еще не ездил дальше 23 километров от Магадана, от уровня моря. Это была его первая зима на Колыме. Каков бы лодырь не стоял перед ним, надо ему помочь.

Книга протоколов — вопросы, ответы — лежала перед Бойченком.

— Ну, с вами, надеюсь, мы не задержимся. Напишите формулу гипса.

— Не знаю.

Бойченко осталбенел. Перед ним был наглец, который не хотел учиться.

— А формулу извести?

— Тоже не знаю.

Мы оба пришли в бешенство. Первым сдержался Бойченко.

За таким ответом крылись какие-то тайны, которые Бойченко не хотел, или не умел понимать, но возможно, что к этим тайнам надо отнестись с уважением. Притом его предупреждали. Вот весьма подходящий курсант. Не придирайтесь.

— Я должен по закону задать тебе, — Бойченко уже перешел на ты — три вопроса под запись. Два я уже задал. Теперь третий: «Периодическая система элементов Менделеева».

Я помолчал, вызывая в мозг, в горло, на язык и губы всё, что мог знать о периодической системе элементов. Конечно, я знал, что Блок женат на дочке Менделеева, мог бы рассказать все подробности этого странного романа. Но ведь не это нужно доктору химических наук. Кое-как я пробормотал что-то очень далекое от периодической системы элементов под презрительным взглядом экзаменатора.

Бойченко поставил мне тройку, и я выжил, я вышел из ада.

Я кончил курсы, кончил срок, дождался смерти Сталина и вернулся в Москву.

Мы не познакомились и не разговорились с Бойченко. За время ученья на курсах Бойченко ненавидел меня и считал, что мои ответы на экзамене — личное оскорбление деятеля науки.

Бойченко никогда не узнал о судьбе моего учителя химии, расстреленного вологодского заложника.

А потом было восемь месяцев счастья, непрерываемого счастья, жадного поглощения, всасывания знаний, ученья, где зачетным баллом для каждого курсанта была жизнь и знавшие это преподаватели — все кроме Бойченко — отдавали пестрой неблагодарной арестантской толпе все свои знания, всё уменье, полученное на работах по рангу не ниже бойченковской.

Экзамен на жизнь был выдержан, государственный экзамен сдан. Все мы получили право лечить, жить, надеяться. Я был послан фельдшером в хирургическое отделение большой лагерной больницы, лечил, работал, жил, превращался — очень медленно — в человека.

Прошло около года.

Неожиданно я был вызван к начальнику больницы доктору Доктору. Это был бывший политотделец, посвятивший всю свою колымскую жизнь вынюхиванию, разоблачению, бди-

тельности, розыску, доносам, преследованиям заключенных, осужденных по политическим статьям.

— Заключенный фельдшер такой-то явился по вашему вызову...

Доктор Доктор был белокур, рыжеват — и носил пушкинские бакенбарды. Он сидел у стола и перелистывал мое личное дело.

— А скажи-ка мне, как ты попал на эти курсы?

— Как арестант попадает на курсы, гражданин начальник? Его вызывают, берут его личное дело, дают личное дело конвоири, сажают в машину, везут в Магадан. Как же еще, гражданин начальник?

— Иди отсюда, — сказал доктор Доктор, белея от беспечества.

В. Шаламов

1

«Документально и фактически
«Доказано фотографически,
«Детально, дактилоскопически:
«Мы жили в Ейске, после — в Витебске,
«Сидели в Полоцке и Липецке.
«Не знают в уголовном розыске,
«Что жили мы с тобою — в Божеске,
«В Богочертовске, в Новодьявольске
«(Кормились песенкой — о яблочке),
«Что жили в Райске, Адске, Ангельске
«(Там снег белее, чем в Архангельске),
«Что спали на снегу — на Витебской —
«В Верхнеблаженске и Мучительске...»

2

Гиацинтом, левкоем
Насладиться спеши
Перед вечным покоем
Для безносой души.

Нежный персик попробуй,
Он дозрел и готов,
А в раю уж не трогай
Запрещенных плодов.

Видишь, алые пятна
В нежно-бледном горят.
Там, в краю незакатном,
Не увиديшь закат.

Aх! Исполненный скверны,
Под конец воспою
То, чего уж наверно
Не позволят в раю.

Ну и ну, ну и дела, как сажа бела, трала-ла-ла.
 А ночь светла, а коза ушла, эх, бутылочка по
 жилочкам по-те-кла.

Ушла коза от козла. Ушла. Куда? В Усть-сы-сольск.
 Не в Усть-сы-сольск, так в Соль-выче-годск.

Ау, моя коза. Чепуха хандра. Ха-ха, ха-ха. Эх, гали-мать-я.
 А ну и луна же. Во всю луна. Хандрит она, что она одна?

Сто грамм забытья. Двести грамм забытья.
 Хотите вина, мадам Луна?

Там Близнецы. Там Козерог. С козой, без козы?
 Там Водолей.
 Налей, налей, бокалы полней, козу вините в смерти моей.

Ну и тишина. Нальем Близнецам.
 Нынче здесь, а завтра — тамтам.

Да, расчудесно, распрекрасно, распрелестно,
 Разудивительно, развесхитительно,
 Разобаятельно, разобольстительно,
 Не говори, что разочаровательно.

Но как же с тем, что по ветру развеяно,
 Разломано, разбито, разбазарено,
 Разорено, на мелочи разменяно,
 Разгромлено, растоптано, раздавлено?

Тем более, что так недолговечно-розово
(На мимолетно-золотистом) —
Непрочным волшебством заката позднего,
Мерцанием, зелено-смутным, озера,
Лучом, разлившимся по листьям...

Тем более, что скоро ночь, но тем не менее
Раскрылись розы, точно от прикосновения,
В японском садике, где ручейки с пригорка.

Прохладным сном — в Японии? В Армении?
В Норвегии? — Неслышанным ветром синего Фиорда
(И полночь, будто синее растение)...

О, восхитись, хоть ими, на мгновение!
Мне захотелось не иронии, а пения,
Волшебно-дивного восторга.

Игорь Чиннов

ВРЕМЯ И ДЕНЬ

ХИЖИНА ДЯДИ ТОМА*

Если с Грэнд Централ, что ведет от Нью Иорка на Лонг Айлэнд, сойти у третьего от города выхода и, добравшись по запасной дороге до первого моста, переехать через Грэнд Централ влево, чтобы затем, через четырнадцать блоков, свернуть направо у светофора по небольшой улочке, со странным названием Оаория Стрит, выговорить которое едва могли сами ирокезы, придумавшие это название, то здесь вы окажетесь перед вилкой. Вправо будет отходить тихая, тенистая улица, примыкающая к зажиточному лонгайлэндскому пригороду Нью Иорка, где, как принято говорить, дома доброго, а налоги убийственны.

Дома здесь преимущественно кирпичные, участки с садами и полянками причесаны и выглажены, цветы всех разновидностей и окрасок украшают со всех сторон эти маленькие поместья восемь месяцев в году. А зимой — на случай, если вам придется очутиться здесь в это время — зимой главный вид здесь создают ели и кипарисы, небольшие, но пышные и аккуратные...

Но... не торопитесь соваться со своей машиной в эту опасную улицу. Это вам может обойтись в пятнадцать долларов штрафа, так как автомобильное движение по этой улице разрешено лишь в одном направлении, а именно — в обратном тому, в каком вы сейчас движетесь. И, вообще, эта улица нас совершенно не интересует. Нам до нее нет ни малейшего дела.

Это относится в одинаковой мере и к елям, и к кипарисам, и ко всему прочему, о чем, к счастью, мы еще не успели рассказать...

* Отрывок из готовящегося романа.

Итак, перед нами вилка. Влево отходит другая улица. Она-то нам и нужна. Она немногим отличается от своей соседки; разве тем, что дома здесь не так доброго, а налоги еще более «убийственны».

Почему так, этого не знает и сам мэр этого симпатичного городка. Он в этот момент наверное и не подозревает, что подведомственная ему уличная вилка представилась скромному путешественнику фискальным курьезом.

Хороша же эта улица тем, что по ней можно ехать в нужном для нас направлении, на что недвусмысленно указывает соответствующая стрелка.

Если продвинуться по этой улице, с названием весьма прозаическим — 4-я — еще дальше, то упремся в авеню, по которому машины мчатся с такой скоростью, словно торопятся миновать эту опасную западню. Действительная причина другая: движение здесь тоже только в одну сторону и, к сожалению, не туда, куда ведет наш путь. Если бы цель нашего путешествия находилась неподалеку, можно было бы здесь оставить машину — устрашающих надписей поблизости не видать — и пройти, куда следует, пешком. Но так как путь еще далек, то не лучше ли остаться в машине и, вместо того, чтобы заворачивать налево, начать путешествие с начала.

Итак, если по Грэнд Централ... а впрочем, нужно ли это? Не слишком ли у нас все дороги похожи одна на другую? Не правильнее ли будет поэтому просто и без обиняков указать на небольшой полукирпичный — полудеревянный домик с двумя большими окнами на улицу, с небольшим, но очень аккуратным садиком позади и с низким деревянным заборчиком, отделяющим его от улицы и от соседнего участка справа.

Все это находится в крохотном городке — который, составляя как бы предместье другого города, побольше, обозначен далеко не на всех картах, даже местного значения. И дома здесь будто поменьше, и улицы поуже, а многие покороче. Последнее объясняется тем обстоятельством, что улицы, идущие с запада на восток, в восточной своей части упираются в территорию, предназначенную для будущего парка. Сейчас там глухие заросли кустов, бурьяна и травы, разросшихся на-

столько буйно, что их легко можно принять за лесок. Вид был бы даже красив, если бы здесь и там не бросались в глаза горы мусора и хлама, годами доставляемого сюда местными же жителями, пекущимися о благолепии своих собственных жилищ.

Здесь можно встретить экспонаты всяческой домашней утвари, собранные будто нарочно для того, чтобы будущим археологам и историкам было легче проследить пути развития нашей цивилизации. Вот из кустов одичавшего жасмина, как скелет доисторической рыбы, выглядывают старинные рамы постели, с проржавленными пружинами. На этом ложе в разное время, возможно, было зачато не мало жизней, — некоторых совершенно напрасно, других, возможно, и не зря, но след и тех и других одинаково затерялся.

Правее, между двумя болотными дубками, виднеется целый ансамбль бытовых приспособлений: сгнивший комод, полусломанный письменный стол, сломанная лестница, совершенно разрушенные временем диван и кресло, остов старинной швейной машины, еще кухонный стол, три ножки от стула, затем два стула с недостающими ножками и т.д. и т.д.

Все это было снесено сюда не разрозненными усилиями в разное время; здесь чувствуется один план, воля одного человека, внезапно ли разбогатевшего или же решившего более широко воспользоваться благами современного кредита, чтобы обновить свое жилище.

Более поздние пласти бытовых отложений шли, так сказать, в горизонтальном плане, значительно приближаясь к современному жилищу человека. Это, главным образом, старые лёдники, стиральные машины и прочие электро-механические аппараты.

Когда-то белые, а сейчас сильно пожелтевшие, они как кости мамонта торчали из высоченной травы и кустов пойзона-айвия. И всюду, куда не взглянешь, виднелись еще и еще останки безжизненных вещей, давно утерявших свою полезность и назначение.

Летом, укрытые растительными джунглями, они меньше портили вид. Теперь же, зимой, освобожденные от лиственного

покрова, они отчетливо выступали на фоне посеревшего ландшафта.

Вот к такой «дикой» территории, в конце уличного тупика, с левой стороны, и примыкал небольшой домик Тома Хорста, вернее семьи Хорстов. Другими обитателями дома были жена Тома — Эллен Хорст и их четырнадцатилетняя дочь Кити.

Когда-то с семьей жила и старшая дочь Мэри, занимавшая комнату на втором этаже. Три года назад Мэри вышла замуж, в доме стало одним обитателем меньше, а верхняя комната пустовала, так как для подраставшей Кити отец еще раньше пристроил небольшую комнатку внизу.

О нижнем этаже многого сказать было нельзя; как и большинство домов в этой округе, он строился по известному незамысловатому плану, назначение которого — дать максимум удобств в рамках продуманной экономии. Гостиная, с большим выгнутым окном на улицу, с другим поменьше, смотрящим на пустырь, небольшая столовая, в окно которой были видны: соседский дом, небольшая, но вполне достаточная кухня, спальня супругов Хорст, размером, пожалуй, больше чем нужно, чтобы вместить находившиеся в ней кровать и другую утварь, а дальше, в конце маленького коридорчика, дверь в комнатку Кити. Где же, спрашивается, обретал себе уединение г-н Хорст?

Узкая створчатая дверь из столовой открывалась на лестницу, которая вела в подвальное помещение. Начиналось оно уютной, обитой недорогим деревом рекреационной комнатой, которую соорудил сам хозяин. Небольшой пластиковый диван, два под стать ему кресла, столики с лампами, небольшой, самодельный стол для пинг-понга посреди комнаты. В правом, свободном углу стояло не совсем обычного вида сооружение — бар собственного производства Тома Хорста, большого любителя до выпиливания по дереву и прочих столярных работ.

Для этого любимого занятия хозяина и была, почти целиком, отведена вторая комната.

Это была настоящая, хорошо оборудованная мастерская, с рабочим столом, дюжиной полок, заставленных инструмен-

тами, красками и запасами всевозможных строительных материалов.

Здесь Том проводил немалую часть своего досуга, ремонтируя, крася, строя и усовершенствуя все то, что могло улучшить или просто украсить несложный быт семейства Хорстов. Здесь был как бы маленький храм Тома, где он, всегда любивший жизнь, научился любить ее еще больше.

Всем своим видом Том мало подходил к этой обстановке. Огромного роста — в шесть футов и пять инчей, с фигурой гладиатора, он плохо умещался под низким потолком своей мастерской.

Трудно было представить, чтобы эти бицепсы, эти переплетенные желваками мускулов руки были приспособлены для тонкой отделки, выпиливания и вырезывания, которыми так увлекался их обладатель. Но избыток силы не мешал старому Тому в его работе. Творения его рук отличались не только прочностью; в них всегда чувствовалась тонкость и даже художественность.

Да он и был в душе художник и потому всякая удача радовала его как ребенка. Несмотря на совершенно седую голову, он никак не походил на человека, которому уже стукнуло шестьдесят два года. Большой, стройный, весь покрытый прочным загаром, он круглый год ходил дома в трусах и сандалиях, только зимой дополняя свой наряд белой безрукавкой. Да и та стесняла его могучий торс и он сбрасывал ее при первом удобном случае.

Это право, вместе с другим — не бриться по викэндам — он отвоевал себе уже давно. И потому, как у южного острогитянина, тело его дышало всеми побарами, не старея с годами. Впрочем, он и был южанин — из Джорджии, откуда еще в молодости переехал в Нью Йорк в поисках лучших возможностей.

Черты лица его были крупные, но мягкие и не указывали на сильный характер. Зато в глазах, смотрящих из-под густых седых бровей, чувствовалась такая спокойная, непоколебимая сила, которая просто исключала возможность каких-либо ссор или конфликтов с ним. Он это свое качество знал и, стесняясь

его, старался быть сколь возможно доброжелательным и уступчивым. И это выходило у него несколько неуклюже, а то даже и потешно.

Служил Том, вот уж семнадцать лет, главным инспектором на небольшой фабрике в Лонг Айлэнд Сити.

Не получив настоящего образования, он не мог подняться по службе очень высоко, но своей добросовестностью, добротой и внушительным видом почти сразу же завоевал себе симпатии служащих и доверие управления фирмы. Через три года он сможет выйти на пенсию и тогда... да, ему уже сейчас это приходило в голову, — тогда, может быть, он вернется к себе в Джорджию.

Сегодня Том не пошел на работу, хотя и была пятница. Это был его свободный день, который он решил посвятить очередному проекту. Нужно было сделать книжную полку для Кити.

Еще до завтрака, часов в шесть, он спустился к себе в мастерскую и, стараясь не слишком шуметь, принялся за работу. Вообще в последнее время он дольше обычного оставался внизу, стараясь придумать себе какое-нибудь новое задание. На этом он сам себя как-то недавно поймал.

Что-то его беспокоило. Хотелось уйти от каких-то тревожных мыслей, которые нет-нет да и находили дорогу в его ясное и спокойное сознание. Работа помогала, вернее отвлекала, хоть не совсем.

Вот и сейчас, буравя электрическим сверлом зажатые в тиски длинные планки, Том думал о чем-то. Глаза его смотрели как всегда внимательно и спокойно, но глубокие морщины, сгрудившиеся у переносицы, выдавали иную внутреннюю сосредоточенность.

О чём он думал? О Мэри? Ну, да, о старшей своей покойной дочери он никогда не переставал думать с тех пор как это случилось. И утреннему пробуждению и семейным разговорам за завтраком всегда сопутствовали мысли о Мэри. Первые полгода после смерти дочери все, даже самые посторонние разговоры между супругами — о чём бы они не говорили — где-то невидимо соприкасались с одним — с мыслью о Мэри.

И утреннее приветствие и простые замечания о погоде, обмен мыслями о последних событиях — все это было ничем иным, как тщательно закамуфлированным напоминанием, что Мэри больше нет. А по ночам, часто просыпаясь, Том слышал глухие всхлипывания, доносившиеся с соседней кровати.

Это плакала жена Тома — Эллен, быть-может плакала во сне, а может-быть и не спала, наверное не спала, так как сдержанные рыдания были еле слышны, она плакала, уткнувшись в подушку, чтобы не потревожить мужа. Том вставал, закуривал трубку и подолгу смотрел в темноту окна.

Такое случалось часто в течение долгого времени — полугода, а может быть и дольше. Потом стало будто спокойнее; горе не ушло, но отстоялось где-то внизу, бередя там воспоминания.

Внешне Том не изменился, а вот Эллен как-то сразу сдала, постарела; будучи десятью годами младше мужа, она в последнее время казалась его ровесницей.

Но теперь это было не то или, правильнее, не только это. Другая тревога закрадывалась в сердце Тома Хорста, сперва неясно, так что от нее можно было защититься доводами рассудка, а потом уже более ощутимо, потому что логика вещей только укрепляла это беспокойство.

Это тревога была о Кити. Да, об их веселой, маленькой Кити, той самой Кити, ради которой Том, — если бы понадобилось — сделал что угодно.

С некоторых пор с Кити происходит что-то странное. Она стала неузнаваема. Когда это началось? Теперь, по прошествии некоторого времени, Тому легче восстановить картину случившегося.

Но все-таки, не ошибается ли он, не просто ли это детские фантазии четырнадцатилетней девочки, начитавшейся всяких сомнительных книжек и насмотревшейся всех этих глупых историй в телевидении? Нет, никогда таких книжек у дочери Том не замечал, а в выборе программ телевидения она уж так разборчива и, с шутливым презрением, называет многое детской чепухой. Но подтверждение своему беспокойству Том находил и в поведении жены. Она тоже что-то подозре-

вает, но не хочет говорить. И это, несмотря на все ее усилия, все время вырывается наружу.

Сегодня рано утром, например, он видел, как жена встала, подошла к двери и, открыв ее, долго прислушивалась, глядя в ту сторону, где находится комната Кити.

Она не подозревала, что он не спит и наблюдает за ней и поэтому, идя к постели, не потрудилась сбросить с себя озабоченный вид и жалкая, одинокая, со вздохом улеглась снова. Как она постарела за эти годы, бедная Эллен!

А вчера вечером, уже укладываясь, она, будто нечаянно, обронила:

— Как там Кити? — но именно нечаянность не удалась и каждое из трех слов выдавало внутреннюю настороженность. И она, кажется, это почувствовала. А Том, чтобы успокоить ее, беззаботно ответил:

— Да наверное читает. Ее никак не уложишь рано, — и, помолчав, добавил: — ну, вот, и прошел день, ты, кажется, усталая, бедная.

— Да, порядком, — она быстро усвоила его беззаботный тон, — надо было приубрать, ведь у нас завтра гости. Он потушил свет. В доме было тихо. Сюда едва доносились звуки города...

Ну, вот, полка готова, осталось только покрасить и отполировать. Это он сделает после. Кстати, наверху зашевелилась Эллен.

Значит, скоро завтрак, нужно еще вынести мусор и сделать кое-какие пустяки, которые не успел сделать вчера. Том поднялся наверх и, пройдя в кухню, поздоровался с женой и с удовольствием втянулся в себя запах блинчиков и любимых жареных колбасок. Никакими болезнями он никогда не страдал и потому давал волю своему недюжинному аппетиту. Да и кухня была такая уютная — Том ее недавно расширил за счет столовой — что здесь, право же, так славно было сидеть, завтракать, обедать, пить кофе, особенно завтракать, в кухне тогда еще полу-темно и маленькая, но яркая лампочка под абажуром бросает такой веселый свет на все эти блестящие

шкафчики, полки, умывальник и прочие атрибуты кухонного комфорта.

— Постой, а Кити! — спохватился Том — где Кити?

— То-есть, как... ах, ах, ты, Боже мой, ведь я и забыла. Это всегда так, когда ты в будни остаешься дома. Она взглянула на часы — Боже мой, уже восемь часов! Сейчас пойду разбуджу.

Она направилась к комнатке дочери и вскоре оттуда до несся ее взволнованный голос:

— Кити, вставай, уже 8 часов. Ты опоздаешь в школу. Кити, слышишь! — Затем послышался шум открываемой двери и веселый почти детский голос прозвучал необыкновенно высоко, заполнив собой весь дом Хорстов.

— Я уже встала, мама, я уже одета, — и дальше, шутливо передразнивая мать, Кити — ну, конечно же это была Кити — протараторила: — Какой ужас, опаздаю в школу, Боже мой, уже восемь часов; что я наделала, Боже мой... мама, ты, кажется, будешь обо мне беспокоиться и тогда, когда мне будет сто лет!

Поцеловав мать, Кити с деланной поспешностью понеслась в кухню и с разбегу вскочила к отцу на колени. Такой маневр мог бы привести в смущение стул, на котором сидел Том, но не самого Тома, для богатырской комплекции которого Кити была не более чем былинкой.

Глаза Тома весело засияли, его громадные руки как клещи охватили девушку и слегка приподняли вверх.

— Ты, думаешь, ты — кузнецик, — смеясь сказал он — что распрыгалась? — Не меняя положения тела, он усадил ее на стул рядом, — Ешь свой завтрак, — он положил ей на тарелку два блинчика и три колбаски, а сам, скрывая изумление, смотрел на нее добродушно и с любовью.

С таким же изумлением смотрела на дочь и г-жа Хорст, стоя в дверях. Она растерялась. Она не ожидала такого, ну, да, странного веселья. Раз став мнительной, она во всем склонна была подметить какие-то опасности, и перемены к лучшему, как и всякие перемены, были для нее предвестником новых бед.

А Кити, не замечая ничего, весело и с аппетитом завтра-

кала, так что родители только и знали, что подбрасывали ей новые блинчики. Весь вид ее говорил об избытке сил, каком-то радостном возбуждении, и не по какой-либо особой причине, а просто так, потому что жить очень хорошо; хорошо встать утром, вкусно позавтракать, быть среди любящих тебя людей, отдавая себя во власть могучего спокойствия, исходящего от всей фигуры и из глаз ее чудного дяди Тома, как она в шутку иногда называла отца. Ну, да, одним словом, жизнь сама, видно, слегка поколдовала в это необычное утро над ее девичьей постелью. Чего же ей больше, если в окно уже проникают первые солнечные лучи, а день обещает быть таким славным.

И Кити торопливо ела, поспешила пила свой кофе, поспешно глотала совсем не нужные ей витамины, запивая их яблочным соком.

Кити была сложена на редкость хорошо. Роста — выше среднего. Стройные, но не худые в щиколотке ноги, через мягкий изгиб колен постепенно переходили в сильные, но не широкие бедра. Узкая упругая талия. Тело было словно напряжено, сдерживаемое невидимой формой. Это чувствовалось особенно, когда девушка была в движении. Тогда казалось, что самые движения тела несколько ограничены. Все это исключало обычную в этом возрасте детскую неуклюжесть и делало Кити более взрослой на вид.

В этом смысле лицо ее было совсем иным, т.е. совсем как у четырнадцатилетней девушки. Красивые небольшие губы еще сохранили по-детски капризную пухлость, черты лица не вполне оформились и были очень подвижны, серые глаза слишком быстро отражали настроение, а брови при каждом удобном случае взлетали вверх, образуя на лбу неглубокие складки. Только нос — совсем как у покойной сестры — был небольшой, законченно-прямой, с слегка открытыми вперед ноздрями.

Кити носила очень короткую прическу, взбитую наверх. Она была золотистой блондинкой и это очень хорошо подходило к золотистому цвету кожи. Несколько прядей волос свободно спадали к ушам и на лоб, что усугубляло впечатление детскости.

Сейчас за завтраком она и казалась большим ребенком: ела с завидным аппетитом и, поминутно вскидывая голову, беззаботно щебетала о всевозможных пустяках. Если бы не длинные ноги, она наверное болтала бы ими, как это делают за столом дети. Только на секунду она остановилась и спросила:

— А Боб сегодня тоже будет?

— Ну, да, конечно, будет. Я же тебе еще вчера сказала, — ответила мать, и, взглянув на часы, прибавила:

— Кити, уже половина девятого, ты опоздаешь. Может быть тебя подвезти к школе?

— Нет, не нужно, мама, я успею, — девушка проворно вскочила из-за стола. — Если я поеду, то бедный Джон будет ждать меня на улице до двенадцати и ему влетит, — она рассмеялась и, комично сгорбившись, представила, как ее верный Джон, нагруженный книгами, ждет ее по дороге в школу.

— Ну, беги, беги, а то и тебе влетит, — ласково затропила дочь г-жа Хорст.

Когда супруги остались одни, Эллен сказала мужу:

— Что с Кити?

Том оторвался от газеты:

— То-есть, как — что с Кити? — ответил он вопросом на вопрос.

— Она такая веселая...

— Ну, и слава Богу, что веселая.

— Но она давно такой не была.

— Что ж, — спокойно ответил муж, — она в таком возрасте. Сегодня плачет, а завтра скачет. Это ничего, — он говорил не совсем то, что думал, но поддерживать в жене всяческие догадки ему не хотелось.

Они замолчали. Солнечные лучи все глубже проникали в кухню через окно и застекленную дверь. Начищенный пол блестел. Было тихо. Г-жа Хорст сидела рядом с мужем и, опервшись подбородком на руку, задумчиво смотрела на солнечные блики на полу.

— Знаешь, о чем я думаю? — сказала она.

Том рассмеялся: — Хочешь, угадаю? — и глубокомыслен-

но уставившись в потолок, добавил: — ты думаешь о Джордже.

— Как ты это узнал?

Бедная Эллен! Как ему было этого не знать, когда она на каждом шагу об этом вспоминала. Смерть Мэри, а позднее беспокойство за младшую дочь вселили в нее какие-то смутные опасения, даже боязнь. Это была боязнь перед Нью Йорком и всем тем, что с ним связывалось: школой, телевидением, журналами и газетами. Во всем ей мерещились соблазны и опасности. Сама из Бруклина, где прожила более половины жизни, она не чувствовала себя здесь дома. Этот мир был ей чужд и враждебен. И солнечная Джорджия, которую она знала только по рассказам мужа, представлялась ей конечным убежищем, где они все, вместе со своей Кити, обретут покой и безопасность.

И, так как Том медлил с ответом, г-жа Хорст продолжала:

— Да, ты угадал, я думала о Джордже. Боже мой еще три года. Мы уедем туда, не правда ли, Том, ты же не передумаешь?

— Нет, зачем же, мы ведь решили.

— Да, конечно. И, ты знаешь, я недавно подсчитывала, когда мы продадим дом, у нас будет довольно денег, чтобы купить там другой за наличные. И налоги там меньше... Ты говорил, там много цветов?

— Да, на юге везде много цветов.

— Там должно быть очень красиво. Но главное, тепло — всегда солнце и тепло. Там, ведь, теплее чем здесь, неправда ли?

И, в который раз, Том отвечал:

— Да, конечно, там теплее. Там ты никогда не будешь мерзнуть, — он ласково погладил ее по волосам.

— А Кити?, ты думаешь она согласится на переезд? — она просительно взглянула на мужа, точно от его решения зависело решение дочери.

— А почему бы нет?

— Ну, да ты знаешь, какая она. Она упрямая. Ей здесь

нравится. Она даже как-то сказала, что хотела бы жить в самом Нью Иорке. Что ты об этом думаешь, Том?

— Эллен, но ведь ей только четырнадцать. В этом возрасте все мечтают, каждый по своему. За три года она еще столько раз передумает. А там университет, ты сама знаешь, они все любят уезжать куда-нибудь подальше, в новые места.

Жена с испугом посмотрела на него.

— И ты так просто об этом говоришь! Это же ужасно. Ты что, и вправду так легко отпустишь Кити одну Бог знает куда?

— Ну, вот, как будто я так хочу! Эллен, ей же будет тогда восемнадцать, она уже будет не маленькая, и хочешь ты, или не хочешь, а должна с этим считаться.

Том взглянул на потускневшее лицо жены и ему стало жаль ее.

— А знаешь, что мы сделаем? — сказал он с улыбкой, — мы перехитrim ее. Да, да, мы ее перехитrim. Мы вот как сделаем: мы ей заранее, пока мы еще здесь, выберем университет в Дожрдии, а потом сами туда переедем. Хорошо — я придумал? — он по-заговорщицки подмигнул жене, — как тебе нравится мой план?

Да, эта мысль ей понравилась. Это было хорошо придумано. Она знает, что дядя Том — это она усвоила от Кити — всё может, когда захочет. Он сильный. Добрый и сильный. Он всегда был основой их семьи. С ним и покойная Мэри всегда соглашалась, и Кити тоже. Старый Том не боится ничего нового, как боится она. Он умный — умнее их всех, всех этих новых, вот тех, что ругают Америку и сжигают американский флаг.

Г-жа Хорст плохо разбиралась во всех этих вопросах и, как все слабые и пугливые люди, охотно прицепляла ко всему непонятному отрицательный знак. Вот Том — тот смотрит на всё это по другому. Он что-то знает, что-то видит, чего ей никогда не понять. Инстинктивно она чувствовала, что правда на его, а не на ее стороне. И не потому ли, что он сильнее ее? А, ведь ошибаются не только слабые. Может-быть, в чем-то ошибается и он? Ах, как все это сложно, как хотелось бы

поверить, до конца увериться в собственной неправоте. Тогда стало бы легче жить. Вот так, как ее старому Тому. Да, но ведь, если человек не боится опасности, сама опасность от этого не становится меньше. Когда случается землетрясение, то гибнут и одни и другие: и те кто боятся, и те кто не боятся. Это она придумала совсем недавно. Тогда что? Тогда спокойствие мужа говорит только о его силе, мужестве, т.е. о нем самом, а не о том, что ее беспокоит. Как это узнать? Спросить его? — он скажет, что нужно верить в жизнь или... что нужно любить жизнь. Это, помнится, Мэри ему как-то подсказала и ему очень понравилось. Но как этому научиться?...

Тяжелая рука старого Тома опустилась на ее плечо:

— Ну, что ж ты меня не похвалишь, хорошо я придумал? — переспрашивал он. Г-жа Хорст схватила его руку и так ладонью и прижалась к своему лицу.

— Хорошо, хорошо! — она покрыла его руку поцелуями — о, Том, Том... Том... — ах, как давно слезы не приносили ей такого облегчения.

П. Муравьев

РУБИКОН

Краской намечена мутной
Жизни суровой стезя.
Вот и решай поминутно:
Можно, возможно, нельзя?..

В рамках понятий готовых,
В путах привычек и мод,
На непреложных основах
Каждый, с оглядкой, живёт.

Страхи, заставы, запреты
Непроходимы уже.
Лишь облака и поэты
Не признают рубежей.



Не поймешь всухую,
Не накроешь склянкой
Дикую, хмельную
Суть души славянской.

Широка, как Волга
В буйстве половодья...
Сузить бы немного,
Подтянуть поводья.

В Киеве иль в Омске
Песни вольной стоны.
На путях содомских
Идеал Мадонны.



Нежданный подошел денёк,
Развеял сумерки сомненья.
Погреться вышло на припёк
Реальности освобожденье.

Глаголет истина сама
Младенцев чистыми устами:
Довольно горя от ума,
Мир подсознанья правит нами.

Нравоучений не взлюбя,
Без принципов и постоянства
Вещь не в себе, мы вне себя
Под солнцем антикантианства.

НАПЕРЕКОР

Непутёвые мыслишки,
Им укоры нипочём,
Смело сбросили штанишки
И гуляют нагишом.

Раздвигают все преграды,
Нет награды — не беда.
Нос суют куда не надо,
Безо всякого стыда.

А родитель их несчастен,
Трудится, не спит ночей.
Попадают они часто
В стих, как лепестки в ручей.

Глеб Глинка

ЭВЕЛИНА И ЕЕ ДРУЗЬЯ

В течение нескольких дней после этого разговора с Эвелиной я помогал Артуру в его работе. Он явился ко мне, снял пальто и шляпу, сел в кресло и сказал, что не знает, как быть дальше.

— Ты понимаешь, — сказал он, — все, что он рассказывает, это в сущности, одна и та же история, чрезвычайно несложная, независимо от того, о какой женщине идет речь. Если все это писать, то каждая страница будет похожа на предыдущую как две капли воды. Что делать? Я ума не приложу.

— Он человек простой, судя по всему, — сказал я, — особых требований к нему нельзя предъявлять.

— Это я понимаю, но это не облегчает моей работы.

— Ты не пробовал перевести его на какую-нибудь другую тему?

— У него нет других тем, — сказал Артур. — О том, что было самым главным в его жизни, то есть о его уголовном прошлом он не говорит ни слова.

— Тогда единственное, что остается, это приписывать ему чувства, ощущения и мысли, которых у него не было и не могло быть.

— Но их нужно придумывать.

— За это он тебе платит деньги.

— Я знаю, но у меня нехватает воображения.

— Этому я не могу поверить.

— Уверяю тебя, необыкновенно трудно.

— У тебя действительно несчастный вид. Хорошо, мы с тобой этим займемся. Будем работать.

См. «Н. Ж.» кн. 92, 94, 95, 96, 97, 98, 99, 100, 101.

Артур был прав — это было нелегко. Не было ничего более бессодержательного, чем рассказы Ланглуа. Но в чем Артур ошибался, это в том, что он не может ничего написать. Ему достаточно было толчка — и повествование начинало развиваться. Конечно, это не имело ничего общего с тем, что говорил Ланглуа. В его книге появились описания Парижа, ссылки на авторов, о которых Ланглуа конечно никогда не слышал, соображения о живописи вообще, страницы, посвященные искусству Жоржа де ла Тур.

Артур писал это и хватался за голову. — Что он скажет? Что он скажет?

— Что он тебе сказал о том отрывке, который мы с тобой переделали? О котором ты говорил, что он написан в сомнамбулическом стиле?

— К моему изумлению, остался доволен.

— Вот видишь? Это расчет безошибочный, ты понимаешь? Ему лестно, что в его воспоминаниях есть такие места. Ты знаешь, он не один. Сколько политических деятелей, например, неспособных произнести речь в парламенте? Им ее пишут другие. Это продолжается годами. Их репутация, это репутация тех, кто для них работает и чьих имен никто не знает. А мемуары знаменитых артисток? А исторические труды? А научные исследования?

— Хорошо, — сказал Артур. — Мы делаем из Ланглуа героя, которым он никогда не был. Мы приписываем ему знания, которых у него нет, мысли, которых у него не могло быть, как ты мне только что сказал. Что остается от подлинного Ланглуа?

— Ничего, — сказал я, — или почти ничего. Но какое это имеет значение? Ты создаешь его заново. Из старого человека с уголовным прошлым ты делаешь юного романтика и любителя искусств. Ты переселяешь его в мир, которого он не знал и не мог знать и мне кажется, что за это он должен быть тебе благодарен. А то, что это фальсификация — разве это имеет такое значение? Будем продолжать.

— Артур писал:

«Я сидел однажды вечером дома и включил аппарат радио.

Играл оркестр и я стал следить за этим движением звуков. Мне казалось, что я уже слышал где-то эту мелодию, но тогда она звучала иначе, беднее и невыразительнее. И когда она подходила к концу, в ней явственно пропустил крик петуха, за которым последовали заключительные аккорды. Что это было? Голос спикера сказал: «вы прослушали “La Danse macabre” Сен Санса в исполнении оркестра парижской оперы, под управлением Артура Тосканини». И тогда я понял гений этого удивительного дирижера. Сколько раз до этого я слышал “La Danse macabre”, но никогда и никто из исполнителей не сумел передать замысел композитора так, как это сделал Тосканини. И я подумал о словах, которые мы часто произносим, определяющих понятия, природа которых для нас необъяснима. Таким словом было слово «гений». Таким было слово «очарование» — и когда я его вспомнил, я вновь увидел перед собой незабываемые глаза...»

— Я забыл, как ее звали, — сказал Артур.

— Мы ее найдем позже, — сказал я, — не стоит из-за этого задерживаться. Идем дальше.

В конце концов, это был единственный выход из положения: писать книгу воображаемого человека, которого никогда не существовало. Все женщины, о которых говорил Ланглау, были тщательно и подробно описаны. Были описаны города, в которых бывал Ланглау: Марсель, Вена, Стамбул, Алжир, Нью Йорк — и каждому из них было отведено несколько страниц.

— Когда я ему это прочту, он меня убьет, — сказал Артур.

Но он ошибся: Ланглау сказал, что он сам так конечно не написал бы, но понимает, что Артур по-своему прав.

— Конечно, это было иначе, — сказал он, — и вы пишете обо всем по-особенному. Но я хотел бы быть таким, каким вы меня описываете.

— Я перед тобой виноват, — сказал я Артуру, когда он мне передал эти слова. — Теперь я вижу, что твой клиент умнее, чем я думал.

— Я это знал всегда, — ответил Артур. — Он человек примитивный и невежественный, но он далеко не глуп.

— Ты это упорно называешь фальсификацией и теоретически ты совершенно прав. Но представь себе кого-нибудь, кто ничего не знает о Ланглуа и прочтет книгу его воспоминаний. И Ланглуа не будет в живых. Тогда для читателя этой книги он будет таким, каким ты его описал. И вот вопрос: что важнее? То, каким он был на самом деле или то, каким он возникает со страниц твоей книги? В первом случае это биография человека с уголовным прошлым. Во втором — это романтизм, движения души, созерцание, понимание того, что всякая любовь неповторима. Действительность и фальсификация. Что лучше, Артур?

— Я бы так никогда не написал, — сказал он, — я бы не мог. Но для тебя это стилизация, нечто вроде упражнения и тебе всё равно, соответствует ли это действительности или нет.

— Ты все время повторяешь это слово, — сказал я. — Но ты мне можешь сказать, что такое действительность? Или, вернее, какое отношение она имеет к искусству, в частности, к литературе? Представь себе, что ты писал бы книгу своих собственных воспоминаний. Была ли бы она простым воспроизведением того, что было, перечислением фактов в хронологическом порядке — и больше ничем? Если бы это было так, она не имела бы никакой ценности.

— Но надо писать о том, что было.

— Конечно — о том, что было. Но как? Ты описываешь, например, посещение Лувра. Что ты написал бы?

— Не знаю. Я может-быть начал бы с упоминания о двух портретах: Людовик Четырнадцатый — Риго и Франциск Первый — Тициана. Конечно, в какой-то степени моя собственная жизнь и то, что я собой представляю, определяет мое отношение ко всему и мою оценку того, что я вижу: манерная глупость Людовика Четырнадцатого, с этой откинутой мантией, обнажающей его ногу, обтянутую чулком — и фигура Франциска Первого: сила, ум, отвага и несомненное благородство. Я стою, смотрю, сравниваю два портрета, XVI-го и XVII-го

столетия. Я думаю о Генрихе Восьмом, о Леонардо да Винчи, о тридцатилетней войне и Валленштейне, о Вестфальском мире, о словах Людовика Четырнадцатого — помнишь, в конце его жизни, когда он был стар, несчастен и унижен — «Бог кажется, забыл обо всем, что я для Него сделал», — об отмене Нантского эдикта и о многом другом.

— Очень хорошо. Но скажи пожалуйста, где здесь то, что ты называешь действительностью или изложение фактов, которые происходили в твоей жизни?

— Это и есть действительность. Я описываю свое впечатление от двух портретов, находящихся в Лувре. Оно определяется многими вещами — историческими соображениями, разницей между Людовиком Четырнадцатым и Франциском Первым, мыслями об искусстве Тициана и его современников, — я не могу об этом не думать. И то, что я об этом думаю, это часть меня самого, такого, какой я есть.

— Таким образом, твое впечатление, отражающее действительность, то-есть посещение Лувра, скажем, неделю тому назад, это впечатление уходит от современности в XVI-ое и XVII-ое столетия и заключает в себе несколько страниц истории и истории искусства, относящихся к тому времени, когда эти портреты были написаны. С этой оговоркой я твою действительность принимаю.

— Ты понимаешь, — сказал Артур, — это переходы от одного видения к другому, это смена чувств, ощущений и воспоминаний — и что еще?

— И медленный путь к смерти, Артур. Посмотри на лицо Ланглуа — более неопровергимого доказательства этого быть не может. Ты никогда не говорил с ним все-таки о другой стороне его жизни, о той, которую он обходит молчанием?

— Я ему несколько раз пытался напомнить об этом. Он неизменно отвечает, что это лишено интереса и об этом не стоит говорить.

— Ну да. Не было ни опасности, ни уголовного прошлого, ни преступлений, ни сведения счетов. Были только закаты солнца, любовь и глаза Антуанетты. Такой он хочет видеть свою жизнь — вопреки фактам и тому, что было. Таким он хотел

бы наверное предстать на Страшном Суде — если он в него верит. Дай ему эту возможность, эту иллюзию, Артур, что тебе стоит? Тебе его не жаль?

— Ты знаешь, — сказал Артур, — мне иногда становится жутко, когда я смотрю на его желтое лицо и встречаю взгляд его мертвых глаз.

— Хорошо, — сказал я, — устроим ему такие похороны, которые ему нужны.

Через несколько дней после того, как была закончена очередная глава воспоминаний Ланглуа, Андрей пригласил нас обоих, Артура и меня в ресторан на обед.

— За тобой заедет Артур, — сказал он мне по телефону, — я вас жду в час дня.

— Где?

— Артур знает, — сказал Андрей и повесил трубку.

Артур явился в половине первого и сказал, что мы едем... — он посмотрел в свою записную книжку, где был отмечен соответствующий адрес. Я пожал плечами: это был один из самых дорогих ресторанов Парижа.

— Зачем ему это нужно? — сказал я.

— Я его понимаю, — ответил Артур, — ему это приятно. А ты этого не одобряешь? Почему?

— Нет, ничего, — сказал я, — но на меня эти вещи давно не производят впечатления. Но я понимаю, Андрею хочется пригласить нас именно туда, он еще не привык к своему новому положению.

— А когда он привыкнет, что по-твоему будет?

— Будет то, что возможности, которые теперь ему кажутся заманчивыми, потеряют свою прелест потому что станут легко достижимы и обыденны.

— Мне кажется, что ему еще долго предстоит испытывать от этого удовольствие, может быть всегда.

Мы приехали за пять минут до назначенного времени. В огромных витринах ресторана лежали омары, лангусты, рыбы на льду, окруженные водорослями и это было немного похоже на аквариум, из которого вылили воду. Андрей уже ждал нас.

Мы ели сначала устрицы, потом рыбный суп, затем жареную рыбу, действительно прекрасно приготовленную и пили белое вино. Когда подали кофе, Андрей начал рассказывать о сицилийских харчевнях, в частности, о той, где он чаще всего был и где всё жарилось перед ним на углях. Он произнес целую речь о том, что еда в жизни человека играет очень важную роль и что по тому, как люди питаются, можно судить об их культурном уровне. Он напомнил нам, как ели римляне и как обедали французские короли.

— Ты это называешь культурой, — сказал я, — ты не думаешь, что это чаще всего только обжорство? Мне кажется, что для определения культуры есть другие критерии.

— Он не говорит, что культура заключается в этом, — сказал Артур, на которого всегда действовало белое вино, — но это один из ее признаков. Почему ты всегда споришь и ни с кем не соглашаешься?

— Я тебе могу это объяснить, — сказал Андрей. — Это потому, что он живет не так, как нужно.

— Ты теперь знаешь, как нужно жить? — сказал я.

— Я знаю одно, — ответил он. — То, чего тебе нехватает, это движение. Ты сидишь почти безвыходно в твоей квартире, в четырех стенах, погруженный в книги и я хотел бы тебя спросить: когда, собственно, ты живешь? Или когда ты собираешься жить? Что тебя интересует? Что занимает твое внимание? Тот или иной оборот чужой мысли, тот или иной стилистический прием, то или иное понимание мира, изложенное давно умершим автором? Где в этом настоящая жизнь? Почему ты сам себя осудил на это одиночное заключение? Ты раньше не был таким, мы все это помним. У тебя были увлечения. Ты занимался спортом. Что от всего этого осталось? У тебя нет стремления к чему-либо, нет женщины, которую ты любишь, есть только это твое упрямое созерцание. Подожди, когда тебе будет восемьдесят лет, тогда у тебя будет время на это. А сейчас... То существование, которое ты ведешь, подходило бы для очень пожилого, больного и усталого человека. Но ты, слава Богу, не стар и совершенно здоров — и откуда у тебя могла бы быть такая непонятная усталость? Что могло про-

изойти? Почему ты не испытываешь ни бурной радости, ни бурных огорчений, как Мервиль, почему ты не холоден и не горяч? Что, в конце концов, с тобой случилось? Почему ты не живешь, а смотришь, как живут другие? Ты находишь, что это нормально?

— Вот, Артур только что сказал, что я всегда спорю и никогда ни с кем не соглашаюсь, — сказал я. — Я хочу ему доказать, что это не так. В частности, теперь я совершенно согласен с тем, что ты сказал. Моя жизнь действительно не такая, какой она должна была бы быть. Отчего это так получилось, я не знаю. И я не уверен, что такой она будет всегда.

— Хорошо, будем надеяться на лучшее будущее, — сказал Андрей. — Перейдем к другому. Что бы отпраздновать мое пребывание в Париже, я предлагаю вам встретиться сегодня вечером в кабарэ Эвелины. Я хочу позвонить Мервилю, но если он туда приведет свою красавицу, это всё испортит.

— Да, да, только без нее, — сказал Артур.

Мервиль обещал приехать один и мы условились быть в кабарэ в одиннадцать часов.

— Только Эвелина и мы, как в добroe старое время, — сказал Андрей. — С шампанским и тостами!

Переодеваясь вечером, что бы ехать в кабарэ, я думал о том, что последний раз, когда мы были там все вместе, кроме Артура, это происходило почти год тому назад. Я вспомнил, как Мервиль говорил с Лу, вспомнил круглоголового пианиста, и мое возвращение домой в предрассветные часы зимней ночи. С того времени многое изменилось и в жизни Мервиля и Лу и в жизни Андрея и в жизни Эвелины — теперь от Котика и метампсихоза не оставалось ничего, кроме позднего сожаления — и только мое собственное существование продолжало быть таким же, каким оно было раньше, тем, что Андрей несколько часов тому назад назвал упрямым созерцанием. Это было верно, но только отчасти. Была еще двойственность, от которой я не мог избавиться, — теоретическая возможность жить иначе и отсутствие стремлений к какому бы то ни было виду на-

пряженной деятельности, не стоявшей, как мне казалось, тех усилий, которые для этого потребовались бы. Но и это состояние — вне моей литературной работы — похожее на длительный душевный обморок, не было, как я думал, моим окончательным уделом и я знал с недавнего времени, что все это могло измениться.

Было уже около одиннадцати часов. Я вышел из дома, остановил проезжавшее такси и дал шоферу адрес “Fleur de Nuit”.

Войдя в кабарэ, я сразу увидел столик, за которым сидели Эвелина, Мервиль, Андрей и Артур. Оставалось одно свободное место, для меня. Эвелина поднялась, когда я подошел, обняла мою шею своей теплой обнаженной рукой и поцеловала меня в щеку. Я встретил взгляд ее синих смеющихся глаз и мне вдруг показались вздорными те мысли, которые только что были у меня. Мервиль крепко пожал мне руку и я сел на свое место. На эстраде певец в русской вышитой рубахе, с гитарой в руках, пел глубоким баритоном:

Если жизнь не мила вам, друзья,

Если сердце терзает сомненье...

— и его гитаре вторил под сурдинку оркестр. Сверкало шампанское в бокалах, бесшумно двигались лакеи, над столиками возвышались смокинги мужчин и обнаженные плечи женщин. Все было так же, как год тому назад. Казалось, что сюда, в это пространство, зал кабарэ, не доходили и не могли дойти никакие отзвуки внешнего мира. Их не было или они были так далеко, что об этом не стоило думать и кроме того — какая сила в мире могла изменить человеческую природу? Голос Андрея прервал мои размышления. Держа в руке бокал, он сказал:

— Я предложил вам собраться здесь сегодня чтобы отпраздновать еще раз наш союз. Мы все так давно и хорошо знаем друг друга, мы так тесно связаны, что против нас беспомощны обстоятельства, время и расстояние. Каждый из нас знает, что он не одинок и что бы с ним ни случилось, есть товарищи, на которых он во всем и всегда может расчитывать. Это настолько очевидно, что об этом может быть не стоило

бы говорить. Но я должен признаться, что мне приятно напомнить об этом, потому что я вам, дорогие мои друзья, обязан больше, чем другие. Вы никогда не отказывали мне в поддержке и если бы не вы, я был бы — до последнего времени — в тысячу раз несчастнее. Я хочу прежде всего поблагодарить Эвелину за ее гостеприимство и сказать ей еще раз, что мы все ее любим. Ты об этом не забыла, Эвелина?

— Нет, это одна из немногих вещей, о которых я помню всегда, — сказала она.

— Теперь ты должен произнести застольную речь, — сказал Мервиль, обращаясь ко мне. Его поддержкал Артур. Мне не хотелось говорить, но я чувствовал, что отказаться от этого было нельзя. Русский певец — откуда он у тебя, Эвелина? — спросил я. — Ты знаешь, я всегда питала слабость ко всему русскому — сказала она — первый раз об этом слышу — заметил Мервиль — начал старинный романс:

Где б ни скитался я,
Но раннею весною ...

— Вы только что слышали то, что говорил Андрей, — сказал я. — Но самое парадоксальное, это то, что идиллическая картина, которую он нарисовал, действительно отражает то, что есть. Я неоднократно спрашивал себя: что, собственно, объединило нас много лет тому назад и чем мы связаны и никакого логического ответа на этот вопрос я не нашел. Но я никогда не жалел об этом. Как известно, главные враги логики в нашем союзе, это Эвелина и Мервиль, главным ее защитником считаюсь я. И я пользуюсь случаем, чтобы подчеркнуть сейчас их торжество и мое поражение. Но торжество без злорадства и поражение без горечи. Я знаю, что некоторые из нас могли быть далеко отсюда, их могло отделять огромное расстояние, но, в сущности говоря, оно измерялось бы только одним — билетом на аэроплан. Один билет — и все возвращалось бы на свои места. Сколько раз мы все убеждались, что у нас есть дом и каждый из нас может туда вернуться, куда бы ни заносила его судьба. У каждого из нас своя собственная жизнь и каждый был по своему счастлив или несчастлив.

Надо ли повторять ту тривиальную истину, что жизнь есть непрекращающееся движение, что все меняется и что мы меняемся вместе со всем остальным? И если мы вспомним, что было несколько лет тому назад и какими мы были тогда и сравним это с тем, что есть сейчас, мы увидим, что мы стали другими — богаче или беднее, старше или моложе, несмотря на неумолимую, хотя не всегда непогрешимую хронологию. Но одно в этом движении, которого ничто не может остановить, остается, я бы сказал, блистательно неизменным, это наш союз. И мы все отдаем ему часть того лучшего, что в нас есть. Я мог бы многое сказать о каждом из нас и каждый из нас мог бы это сделать так же, как я. Но в этом теоретическом свидении счетов не было бы ни осуждения, ни недоверия, ни сомнения в самых важных вещах. И после этого все осталось бы так же, как было раньше и как будет, я думаю, всегда, что бы с нами ни случилось.

После того, как я кончил говорить, Мервиль сделал жест, требуя внимания и сказал, обращаясь ко мне:

— Мы должны тебя поблагодарить за то, что ты сейчас произвел свое собственное разоблачение. Куда делся твой скептицизм и куда делись твои сомнения во всем? Я никогда не верил до конца тому, что твоя постоянная критика всего соответствует твоей природе и твоим чувствам. Но сегодня мы присутствуем при твоем чистосердечном сознании — как во время суда или следствия. И мы, как судьи, тебя оправдываем. Все со мной согласны?

— Я его давно простила, — сказала Эвелина.

В кабарэ всё было как всегда — те же или похожие на те же, лица, тот же своеобразный отбор посетителей, все эти сомнительные субъекты и их сомнительные спутницы, эта смесь претенциозности и дурного вкуса, эти люди, считавшие себя причастными к искусству, о котором они не имели представления и другие, те, которые появлялись, когда начинались сумерки и исчезали, когда наступал рассвет. Я посмотрел вокруг себя и тотчас увидел желтое лицо Ланглуа и его мертвые глаза. В тот вечер в кабарэ Эвелины был еще южно-американский дипломат в сопровождении кинематографической артист-

ки, на которой играло переливами платье из какой-то удивительной искрящейся материи, был академик, автор нескольких романов, отличавшихся одновременно сложностью и незначительностью, был драматург, в пьесах которого главное место занимали социальные проблемы, был знаменитый дамский портной с густо напудренным лицом и длинными волосами, нехватало только бывшего фальшивомонетчика, но и он появился через некоторое время. Сквозь табачный дым и полутьму с освещенной эстрады шли музыкальные волны цыганского оркестра, голоса певиц и певцов и слова романсов на разных языках — французском, итальянском, испанском, английском; в небольшом квадрате, стиснутом столиками, посередине кабарэ, время от времени появлялось несколько танцующих пар, затем танец кончался и внимание вновь переносилось на эстраду, откуда молодой человек в белом костюме пел высоким тепнором о том, как хороша его возлюбленная. Эвелина встала со своего места, подошла ко мне, наклонилась и спросила:

— О чём ты думаешь?

Я посмотрел в ее лицо и мне опять показалось, что я его никогда не видел таким и никогда не знал, что оно может стать таким. С эстрады теперь звучал плачущий и долгий звук скрипки, на которой играл широкоплечий мужчина во фраке, с нахмуренным лицом. — О чём я думаю, Эвелина? Как ты хочешь, чтобы я сказал это в двух словах? — Попробуй, — сказала она, улыбнувшись. — Я думаю о том, как то, что окружает нас здесь, в твоем кабарэ, — как все это вздорно, отвратительно и печально. Я думаю еще о том, сколько вещей непоправимо и не стоило бы жить, если бы не было наряду с этим настоящих человеческих чувств, — того, что нам было дано или что нам было обещано, того, о чём написаны самые лучшие стихи, самые лучшие книги и самые лучшие симфонии.

Ее лицо приблизилось к моему, я встретил ее взгляд и в эту секунду я понял и почувствовал неизбежность того, что не могло не произойти. Она спросила:

— Что с тобой сегодня, мой дорогой? Уж не влюблен ли ты?

— Не знаю, — сказал я. — Я об этом подумаю.

Мы вышли из кабарэ в пятом часу утра и Мервиль довез меня в своем автомобиле до дома.

— Хорошо, что мы встретились, — сказал он, — все таки было очень приятно.

— Да, погружение в коллективный сентиментализм, — сказал я. — Но я с тобой согласен: это было приятно. И в этом есть известная назидательность.

Я заснул на рассвете и мне снилась Эвелина. Мы шли с ней по улице незнакомого города, направляясь к вокзалу, находившемуся на берегу моря. Дул сильный и теплый ветер. — Возьми меня под руку, — сказала она, — я боюсь улететь. Она произнесла эти слова на языке, которого я не знал, но я понял то, что она сказала. — На каком языке ты говоришь, Эвелина? — Ветер отнес ее слова в сторону и я видел только движение ее губ. Она повернула ко мне свое лицо и сказала:

— Ты понимаешь все, что я говорю, почему ты скрывал от меня, что ты знаешь мой язык?

— Нет, я его не знаю.

— Но ты отвечаешь мне, как это могло бы быть, если бы ты его не знал?

Я хотел ей что-то сказать, но вдруг увидел, что ее больше не было рядом со мной и я ускорил шаг, чтобы ее догнать. Ее не было видно. Начинались сумерки и я подумал, что нахожусь в незнакомом мне городе чужой страны, не понимая, как и зачем я туда попал, и что я буду делать без Эвелины, которая, как мне казалось, с абсурдной убедительностью, должна была знать то, чего не знал я. И вдруг впереди я увидел ее силуэт. Я крикнул: Эвелина! Но она не обернулась. Я шел за ней по морскому берегу, увязая в глубоком и мягким песке. Больше не было ни города, ни улицы, ни вокзала, только свист ветра в прибрежных пальмах и шум волн, набегавших одна на другую. Я повернул голову в сторону моря и тогда опять увидел Эвелину. Она лежала на спине, на воде, заложив руки за голову, поднимаясь и опускаясь на каждой волне, я видел ее темные волосы, лицо с неподвижной улыбкой и ее голое

тело. Я разделся, вошел в море, которое мне показалось теплым, как вода в ванне и поплыл, направляясь к Эвелине. Она вдруг исчезла, потом вынырнула рядом со мной и ее рука обняла мою шею. — У тебя влажная рука, Эвелина, — сказал я, — но она такая же теплая, как всегда. — Это потому, что температура моей кожи зависит не от воды, а от воспоминания, — сказала она. — Воспоминания? — повторил я. — Воспоминания о чем, Эвелина?

Я проснулся, испытывая непонятное волнение. В комнате было темно и тихо и через секунду я услышал тиканье часов, стоявших на ночном столике. Я посмотрел на их светящиеся стрелки и увидел, что было семь часов утра. Я снова заснул и когда проснулся второй раз, был первый час дня. За окном шел снег. Я вспомнил ночь в кабарэ, мое возвращение домой и нелепый сон, который мне снился. И тогда, с необыкновенной ясностью, которая характерна для времени, которое следует за пробуждением, я понял то, что до сих пор казалось мне смутным и неверным. Это был мой медленный и постепенный переход в тот мир, где не было стройной последовательности слов, выражавших мысли и вместо них начиналось нечто, похожее на смену душевных пейзажей без контуров и рисунка, в которые иногда вливался теплый свет летнего дня или проникало сознание длительного ожидания. И все это последнее время Эвелина точно приближалась ко мне из далекого прошлого, пересекая свою собственную жизнь и, как во сне или игре воображения, то, что оставалось за ней, уходило в небытие и переставало существовать. В начале этого воображаемого движения ее очертания казались мне смутными, но потом я видел их все более и более отчетливо и это было похоже на медленное ее воплощение. И я вспомнил, что когда она пришла ко мне после моего возвращения в Париж, я сказал ей именно об этом — ты недовоплощена, Эвелина.

Когда все это началось? Как это произошло? Что этому предшествовало? Блаженное погружение в пустоту на юге, море и солнце, Мервиль и Лу, возвращение в Париж, к тому месту на стене, где висел раньше портрет Сабины, к этой внешне спокойной, но внутренне судорожной жизни, от ко-

торой по вечерам я чувствовал смертельную усталость? Сознание того, что мне угрожает опасность навсегда потерять тот эмоциональный мир, который имел такое значение для моего друга, Мервиля, и который постепенно уходил от меня, оставляя за собой сожаление и печаль? Что могло его заменить? Беспристрастные суждения или ирония, о которой мне как-то сказал Жорж, что для нее нет места там, где человеческое чувство достигает наибольшей силы и чистоты? — Вспомни, — сказал он, — что ее не может быть ни в религии, ни в поэзии, ни в трагедии, ни в лирике, ни в стремлении к лучшему, что мы знаем. — Это истина общеизвестна, — сказал я. — Но ты часто склонен ее забывать, — ответил он. — Твоя ирония, это защитный рефлекс, — сказала мне Эвелина.

Я еще раз подумал о том, что представляла собой жизнь Эвелины до последнего времени. Во всех обстоятельствах она оставалась верна себе. Она никогда никого не обманывала, не думала о собственной выгоде и не колебалась — ни когда ее охватывало бурное чувство, ни когда оно ослаблевало и она уходила от своего возлюбленного, не давая ему несбыточных обещаний и не оставляя ему никаких иллюзий. Это иногда казалось жестоким, но в сущности в этом было ее спасение, в этом отказе жертвовать своей свободой. И казалось, что эти ее неизбежные уходы от тех, с кем она была близка, не вызывали у нее — до последнего времени, — ни сожаления, ни печали и не оставляли на ней никакого следа. Ей было теперь тридцать шесть лет и она казалась такой же, какой была в начале нашего знакомства, когда ей было двадцать — та же юная гибкость движений, то же, как будто неутомимое тело, то же лицо, на котором никогда не было выражения усталости.

Такой мы знали Эвелину. Такой она казалась всем, кто с ней встречался. Но у меня было впечатление, что этой Эвелины больше не существовало, как не существовало больше ничего из того, что столько лет определяло стремительное и неудержимое движение ее жизни. Из всего, что было, возникала другая Эвелина — с нетронутой нежностью в ее глазах и в ее голосе, которую она пронесла нерастраченной через столько испытаний, столько неубедительных слов о любви, столько

бесплодных объятий. И я думал, что она была похожа на прекрасно исполненный портрет, поверх которого какой то праздный маляр изобразил женщину, не имеющую ничего общего с оригиналом. И только работа неизвестного реставратора восстановила то, что было написано на картине раньше — человеческое лицо с нежными глазами, в которых был отблеск внутреннего света.

В течение нескольких недель я продолжал работать с Артуром над его книгой. Мы старались придать некоторую убедительность ее содержанию. Эпизоды из жизни Ланглуа попрежнему перемежались рассуждениями Артура об искусстве, о несостоятельности тех или иных взглядов на музыку, живопись или литературу — Вагнер, Беллини, Лотреамон. Автор воспоминаний оказывался любителем Дебюсси, не высоко ставил Мориака и предпочитал Тинторетто Веронезу. Все это было совершенно неправдоподобно для тех, кто знал биографию Ланглуа. Но для других, тех, кто не имел о нем представления, это было совсем иначе. Со страниц книги, которую писал Артур, возникал ценитель искусства, посетитель музеев и библиотек и неутомимый искатель душевного совершенства, воплощенного в образе женщины, которую он встречал и которая становилась на некоторое время его спутницей. Неважно было то, что ни он, ни она, не имели и не могли иметь никакого представления о том, что описывал Артур. И по мере того, как Артур углублялся в свою работу, воображаемый герой его книги начинал жить своей собственной жизнью и становилось ясно, что в известных условиях он должен был действовать определенным образом и изменить это было нельзя, не нарушая внутренней логики повествования.

Артур до этого никогда не занимался литературой. Он, правда, говорил нам иногда, что если бы у него хватило времени и воли, он написал бы книгу и в ней попытался бы изложить то, что ему казалось самым главным и самым интересным в жизни. Но это всегда оставалось в области пожеланий. И вот теперь у него была возможность, конечно неполная, частично осуществить свой давний замысел. И если бы те рассуждения

об искусстве, которые он вставлял в свою книгу, следовали без перерывов одно за другим, то это было бы похоже на своего рода трактат об эстетике. То, что Артур больше всего любил в искусстве, это было то, что он называл «титанической силой экспрессии» — Микель Анджело, Тициан, Бетховен, Шекспир, Толстой. Он ценил также мастерство и совершенство исполнения, но это все-таки казалось ему второстепенным. У него попадались такие фразы: «я подумал, что эта неудержимая сила движения чем-то напоминает тяжелый и стремительный бег центавра». «Казалось, что какой-то рассеянный гигант набросал эти огромные каменные глыбы гор, которые я видел перед собой». «В медленном течении могучей реки было то, что я назвал бы движущимся величием». «В идее многобожия, если ее рассматривать не как религию, которую можно было бы сравнить с монотеистическими концепциями, а как своего рода многообразное проявление моих, в конце концов, нет ничего неприемлемого».

Потом он спохватывался, вспоминал о Ланглау и тогда в книге появлялись такие строки:

«Я прожил долгую жизнь, видел восходы и закаты солнца, слышал смех тех, кто чувствовал себя счастливым и слышал стоны умирающих, видел, как менялась судьба многих людей, наблюдал движение времени и ослабление того бурного восприятия жизни, которое характерно для юности и которое постепенно угасает, когда человек приближается к старости — словом, я прошел через тот опыт, который Рильке считал необходимым, что бы написать несколько строк, которые могут быть названы подлинной поэзией. И я пришел к тому выводу, что единственное, ради чего стоит жить, это движение наших чувств, по сравнению с которым все рассуждения о смысле существования и поиски так называемой философской истины кажутся бледными и неубедительными. И за один взгляд моей возлюбленной я готов отдать любое построение человеческого разума и любую философскую теорию».

Произошло то, чего меньше всего можно было ожидать: Артур увлекся своей работой и она перестала быть для него тяжелой обязанностью. Я ему сказал:

— Теперь ты можешь обойтись без меня, у тебя все будет идти по инерции.

— Я надеюсь, — сказал он. — И знаешь что? Следующую книгу я напишу для себя. И тогда твой литературный опыт пригодится мне еще больше, чем сейчас.

— Не строй себе иллюзий, — сказал я. — Ничей литературный опыт тебе не нужен. Никто не может тебя научить тому, как надо писать, потому что никто этого не знает.

— Ты хочешь сказать, что ты тоже не знаешь, как надо писать?

— Я тебе говорю, этого никто не знает. Я знаю, как не надо писать, — в этом я тебе могу помочь. Но если ты меня спросишь, например, как я напишу роман, идея которого у меня есть, я тебе не могу на это ответить. Я могу тебе сказать, как я это себе представляю. Но в какой степени это мое представление будет соответствовать выполнению, я не знаю. Я знаю только одно: если мне удастся выразить одну десятую того, что я хочу, это можно будет считать удачей.

— Я себе это представлял иначе — сказал Артур. — Есть в конце концов мастерство, искусство построения, развитие действия, уменье найти нужные слова, — то, чему нас учит литературный опыт.

— Я не верю ни в так называемое литературное искусство, ни в литературный опыт, я верю только в талант. И это относится ко всем видам искусства. Вспомни портреты Рубенса или Дюрера — ты считаешь, что этому можно научиться?

— Но это не таланты, это гении. А если у меня нет гения, это значит, что я не должен заниматься ни литературой, ни живописью?

— Вовсе нет. Никто не видит мир так, как его видишь ты, потому что ничьи глаза не похожи на твои, ничье восприятие непохоже на твое, ничье чувство не может быть таким, как то, которое ты испытываешь. Поэтому твой личный опыт неповторим и незаменим. И если тебе удастся рассказать о нем, забыв о всякой литературе и произведениях других писателей, так, чтобы это были твои собственные слова и чтобы твой

рассказ был свободен от чужих влияний — то твоя книга оправдана.

Я много раз говорил с Артуром, внимательно следил за его работой и убеждался в том, что этот случайный литературный заказ начинал играть в его жизни значительную роль. Впервые за все время Артур стал понимать, что в его несчастном и нелепом существовании было еще что то, о чем он до сих пор думал только урывками и изредка — какое-то гармоническое представление об искусстве и проникновение в то, что вдохновляло художников, поэтов, и композиторов, о которых он писал. И то расстояние, которое было между его представлением о том, каким он был и тем, каким он хотел бы быть, это расстояние теперь начинало сокращаться. И в этом был главный смысл его теперешней литературной работы.

(Продолжение следует)

Гайто Газданов

ПЕСНЬ О СЕВЕРНОМ СУДАКЕ

В каком-то доме был чердак,
Где умер северный судак.
Двоюродные братья и даже просто братья!

На песчанном откосе лежит судак.
Это не выдумка — это так!
Не на серебряном подносе,
А на песчанном откосе.

Лежит он смирно на боку,
Теперь не нужны судаку
Двоюродные братья и даже просто братья, —
Судак в Божественных объятьях.
Он умер, не убит,
И чешуя его блестит,
И ангелы на чердаке
Поют о мертвом судаке.

Юрий Одарченко

ЗОВЫ ВРЕМЕН

ВМЕСТО ПРЕДИСЛОВИЯ

ОТ РЕДАКЦИИ. В кн. 101-й «Нов. Журн.» мы напечатали первую из полученных нами рукописей Андрея Белого: его предисловие к «Котику Летаеву», написанное в Совсюзге в 1928 г. и никогда не опубликованное. Сейчас мы печатаем вторую рукопись А. Белого: его предисловие к тбму его избранных стихов «Зовы времен», написанное в Совсюзге в 1931 году. Ни это предисловие, ни «Зовы времен» в Совсюзге до сих пор опубликованы не были и вряд ли опубликованы будут.

О «Зовах времен» нам известно, что эта книга посвящена А. Белым своей жене: «С любовью и благодарностью посвящаю этот том стихов Клавдии Николаевне Васильевой, без которой не осуществилась бы никогда редакция текстов. А. Белый». «Зовы времен» состоят из 8 частей: Летние блески (41 стихотворение), Трепетень (21 стих.), Возерам (25 стих.), Белые стихи (4 стих.), Черн теней (17 стих.), Исход (20 стих.), Момии лет (17 с их.), Христос Воскресе (поэма). В сборнике 265 машинописных страниц.

Вместе с предисловием А. Белого к «Зовам времен» мы печатаем статью его жены К. Н. Бугаевой — «Стихи» (об А. Белом).

В недавно вышедших замечательных «Воспоминаниях» Н. Я. Мандельштам (Изд. имени Чехова, Нью Иорк, 1970) об А. Белом и его жене есть яркие и интересные строки: «...От А. Белого у меня осталось впечатление бестелесности, электрического заряда, материализованной грозы, чуда... Это был уже идущий к концу человек, собирающий коктебельскую гальку и осенние листья, чтобы складывать из них сложные узоры, и под черным зонтиком бродивший по коктебельскому пляжу с маленькой, умной, когда-то хорошенкой женой, превратившей всех непосвященных в ее сложный антропософский мир... Белый только и делал, что провожал в ссылки и встречал

тех, кто возвращался, отбыв срок. Его самого не трогали, но вокруг вычищали всех. Когда уводили его жену, а это случалось не раз, он бился и кричал от бешенства. Почему берут ее, — не меня, — жаловался он нам в то лето — незадолго до нашей встречи ее задержали несколько недель на Лубянке. Эта мысль приводила его в неистовство и сильно укоротила ему жизнь» (163 стр.)

В ближайшей книге «Нов. Журн.» мы напечатаем воспоминания К. Н. Бугаевой о их путешествии с А. Белым по Кавказу. Р. Г.

Мысль о двухтомном переиздании своих стихов преследует меня в ряде лет; под переизданием не разумею я выхода в свет; не мне судить, достойны ли мои стихи такого выхода. Под переизданием разумел я критический пересмотр инвентаря мной написанного и переработку тех стихотворений, которые казались поправимыми. Особенность моих стихов — их рыхлость; все, мной написанное в стихах, в разглядевшем свете стоит, как черновики, с опубликованием которых я покоропился; стихи писались залпами; «Золото в лазури» я в общем написал в два месяца; «Пепел» явился на свет в итоге усиленного писания стихов летом 1907 года. «После разлуки» написана в две недели. Между «запоями» стихами я годами не писал ни одной строчки.

«Запой» отразился рыхлой, подчас ужасной формой; вставала мысль об отказе от себя, как «поэта»; если бы я мог собрать иные из моих книг стихов, я бы их сжег; этого я не мог технически выполнить. Книги мои, находящиеся в чьих-то руках, уличили бы меня.

Отсюда и мысль о переиздании, т.е. редактировании, правке, переложении, переделке.

Особенно беспокоило меня «Золото в лазури» нищенской формой стихов, но нашлись любители поэтического дневника юноши, выброшенного в свет за несколько лет до срока. Отсюда: нечеткость ритмов, безвкусие образов, натянутость рифм. Между тем: задание было оригинально; любители моих стихов этого периода поверили мне «в кредит», расслышав намерение сквозь тяжелые кляксы пера, его заляпавшие; раздвой между ритмами в становлении и ставшими строками, был мне мучителен.

Брюсов безмерно пощадил меня, назвав «Золото в лазури» рубищем с вкрапленными в него драгоценностями; рубище оста-

лось рубищем; драгоценности увиделись стекляшками. Вернее определил «Золото в Лазури» мой, в свое время гонитель Анатолий Бурнакин, назвав книгу «Сусалом в синьке». Уже в 1909 году сознание неудачи с первою книгой стихов вызвало признание: «Еще «Золото в Лазури» далеко от меня». (См. предисловие к «Урне»).

Далеко — значит: в будущем: была надежда когда-нибудь да сумею я одушевить тяжелую «лазурь» книги в воздушную ритмами лазурь: ужасы рифм вроде «Валькирия» и «бросая гири я» приводили меня в бешенство: меня раздражало чехоточное хныканье сутулого интеллигента, разлитое в книге: «надсоновщина», подновление стилем нуво, часто сбивающимся на тяжелое бесвкусие полотен Штука и Беклина, — вот чем оказалась книга.

В 1914 я наспех ретушировал текст: в связи с ретушью из ритмов 1903 года выветвилось несколько новых стихотворений, как-то «Архангел», «Чаша», в 1916-м я переработал текст книги: рукопись — пропала. В 1921 году в Ленинграде я сызнова принимаюсь за правку: и вместе с правкой прикосновения к образам и ритмам прошлого извлекают из него «новые» почти стихи: и поэму «Первое свидание»: в 1922 году в Цоссене я пытаюсь продолжить правку, но вместо нее из передвижения строк и слов вырастает часть, стихов, напечатанная в «После разлуки» («Любовь», «А мне другая», «Полярное море» и т.д.) Только в 1929 году я серьезно взялся за искоренение «ужасов» первого издания «Золото в лазури» и вместе с тем: возникла мысль сделать новое «Золото в лазури» первым томом стихов, присоединив к нему стихи, написанные позднее в «золотолазурном» стиле (из «Пепла», «Звезды», «После разлуки», «Рыцари и королевна.»), и вынеся стихи по стилю более близкие к другим книгам: как-то: весь отдел «Прежде и теперь» в заново отработанном виде (пока он не отработан) отнести к отделу «Урна» в котором стилизация более уместна, ибо ряд стихов «Урны» возник из увлечения и изучения Батюшкова, Баратынского, Тютчева, как воспроизведение стиля классиков. В 1931 году я мог окончить редактирование первого тома своих стихов.

Разумеется, я не вполне довolen предлагаемой редакцией: и все же она удовлетворительнее редакции «Золота в Лазури» 1903 года, тексты которого я использовал, как утиль-сырец: ряд стихотворений оказался неиспользоваемым или по ничтожности,

или потому что они ненужный повтор более удачно выраженных тем: теперь, предлагая взамен «Золота в Лазури», первого сборника стихов, «Золото в Лазури», как первый том, в который влилась переработка текстов 1900 — 1903 года, я могу сказать со спокойной совестью, что я отказываюсь от «Золота в Лазури» 1903 года, вычеркивая его из списка живых моих книг.

Любители сверять тексты восхлинут: «Разве это — переработка? Это — новая книга». На что я отвечу: предлагаемая книга, отступая от текста «Золота», тем не менее верней отражает ритмы и образы 1903 года, заложенные точно глиной, технической беспомощностью юноши: пятидесятилетний автор, расплавив материю книги, вынужнув, так сказать, в кипящие первообразы и ритмы, которые смутно когда-то услышал юноша «Белый», более опытной рукой их вернул форме.

Автор 1929-31 годов — имеющий голос интерпретатора еще безголосого юноши, а не себя: если бы он писал, исходя из современности, он не написал бы ни одной строчки, подобной вписанной в новой редакции.

Редко ограничивался я легким ретушем, хотя есть несколько нетронутых стихотворений: дело происходило так: тронешь два беспомощных слова, — не увязываются четыре, их обстающие: меняешь четыре — передвигаются 16 слов: в каждой строфе старого текста есть такая пара никчемных слов: и стало-быть: строфа за строфой, пропущенные сквозь строй, меняешь: стихотворение начинало выглядеть переложением; но это — не так: имело место высвобождение потенций, жившей в юноше: иные краски, иные слова, иные модуляции, но смысл, сюжет, свет красок, звук тени те же.

С лирическим волнением, диктовавшим в 1903 году стихи, произошло то же, что с воспоминаниями детства, осознанными 35-летним мужем: муж омолодился воспоминанием: в переживаниях детства, ярких, но слепых, открылись глаза. Особый род работы над памятью, связанный с изменением объектов памяти, присущ мне (и прозаику и лирику): допускаю: не всякому присуща способность живо нырять в прошлое с тем, чтобы приобщать его к настоящему: мне — присуща: отсюда же закономерно мне считать, что влитое в первый том «Золото в Лазури», — более «Золото в Лазури», чем забракованное: но — неживой труп: это — действует в первом томе.

И автор так же ценит потенции «Золота в Лазури», что он

и доказал тщательно редактируя текст: он отвертывается лишь от «кокона», из которого вылетала бабочка: бабочка — не самый текст переработки, а — протянутость к будущему: и в этой редакции он — Тредьяковский будущего Пушкина: но и Тредьяковский — шаг вперед: от Кантемира.

В чем моя цель?

Я силюсь разбить канон какой-то строки, такой-то строфы, заменяя его каноном живого, звучного слова в сплетении его с целым. Звуковое целое (инструментовка, обилие внутренних рифм) аннулирует конечную рифму, заменяя ее рифмической тканью целого: рифма, отбивающая ударом конец строки перед междустрочной паузой — суррогат эврифмичности всей ткани: эта последняя — качественное выражение высвобождаемого ритма: качество звука в звуковом толчке — такая же особенность ритма, как и количественность звукового удара.

Понятие строка, строфа в будущем сменится понятием интонационного целого качественно звучащих слов: строка, строфа — подобна арии (в итальянском смысле): эвфоническое целое — непрерывная мелодия, подобная вагнеровской, где роль замкнутой отдельности (мелодии) заменена вязью лейт-мотивов.

В первом отделе я контрастирую стихи, написанные принципом итальянской песни, с стихами, написанными, собственно говоря, внастроично, внастроено, в принципе вагнеровской непрерывной мелодии (рунически, а не метрически): первое стихотворение первого отдела «Сердце», — показ, от чего я отправляюсь: это мелодичное «лала-лалала», второе, «Ветерок» — интонационный речитатив, собственно не имеющий строф и строк в каноническом смысле: канонический смысл — горизонтальное положение строки, — я пытаюсь порой заменить перпендикулярной цепочкой слов, расположенных интонационными изломами, соответствующими мной слышимым акцентам и паузам.

То же проделываю я с прозой романа «Маски», ибо проза и метр два позднейших расщепа некоторой давней речитативной напевности (периода тезы), которые в третьем периоде (в синтезе) должны по-новому сочетаться, чтобы явить новую форму, в отношении к которой мы, современники, бывающие в расщепе между поэзией и художественной прозой (периода антитезы), еще жалкие предтечи: отсюда: кажущийся разлом «прозы» в сторону напева: и кажущийся разлом узаконенного напева, ставшего метром, к кажущейся прозаической речитативности.

В связи с вышесказанным проблема расположения слов становится впервые «проблемой». Стока есть ритмическое целое: она, так сказать, вырезана двумя интонационными паузами: кроме того: в рифмованных стихах она вырезана двумя голосовыми ударами, падающими на рифмы: рифма подчеркивает акцентуацию: проведите в пятистопном ямбе правильную рифмовку вторых стоп (перед цезурою): и строчка пятистопного ямба превратится в двухстрочие (комбинация двухстопной с трехстопной строками): внутренняя рифма подчеркивает цезуру до значимости междустрочной паузы.

Один и тот же комплекс слов, расставленный по-разному, выявит разные строки, разное дыхание: в каждом расставе — своя интонация: интонация в лирике — всё: она подобна выражению лица, жестикуляции: интонация, жестикуляция — меняют смысл слова: союз «и» может растянуться до «ии», может слизнуться до проклитики: «И»я, может прозвучать, и как «И я», и как «Ии — я». «И» может подчеркнуться до строки: метрика не знает интонационно ударного «и»: в ней «и» — всегда неударно: метрический канон зачастую стягивает лирическую выразительность в корсет условностей, подобных жестам и позам оперных певцов, породивших *«Вампуху»*.

Расстановка слов, творчество строк в пределах метрономической «стопорубки» (раз, два, три, четыре, — рифма, пауза: раз, два, три, четыре — рифма, пауза, и т.д.) есть подлинно творчество, ибо от него зависит рельеф ритма (в одной расстановке — один, в другой — другой).

Повышенная звуковую выразительность орнаментом внутренних рифм, аллитераций, и т.д., мы во-первых аннулируем значимость конечной рифмы: если каждое слово рифмично с другим, то и сама рифма, как таковая, падает: можно прорифмовать *«вихрь»* и *«стих»*, если сочетание *«ихр»* связано (например (*вихрастый вихрь*), а сочетание стих (*их*) имеет точку опоры в *«л-их-о»*, и в *«их»* я рифмую *«северный»* и *«серны»* не потому что не умею рифмовать, а потому что ассонанс *«ери»* в переплете слов, снимающих смысл рифмического удара, звучит правильной рифмой. Вместо измерения масштабом (четыре стопы, три стопы), вместо забот о правильности рифм (*«суров — ветров»*, а не *«вет -ров — свет-ля-ков»*), вместо усилий к нахождению изысканных рифм (*«ветер — сетер»*), выдвигается забота о расставе звучащего целого: если каждое слово со-звукит

с другим, не важно, рифмуем-ли мы «ветер-сетер», или «твёрдит-стучит»: и «бедные» рифмы могут оказаться богатыми, если они вращены звуком в обстании слов.

Вопрос о строке, что она есть, выдвигаем по новому в напевно-речитативном строем в отличие от «итальянщины» зализанных, друг другу отдельных пятистоний или четырехстопий. Стока, так взятая, напоминает мне одинаково у всех сформированный мускул конечности, напр. бицепс: у силача он развит: у ребенкаrudиментарен: но форма его одинакова. Не то — лицевые мускулы, их обилие,rudиментарность при рождении, превращается в течение всей жизни в метаморфозу: у каждого человека *свои* лицевые мускулы, над которыми работает всю жизнь лицо: Это — факт анатомии: выразительность лица, его характера зависит от проработки тех или иных мускулов: проработка длится всю жизнь: никогда целое лицевых мускулов *не готово*, как бицепс, ибо оно — текучее иечно развивающееся многообразие.

Стока, взятая в метрическом корсете, напоминает мне односторонне развивающийся бицепс: в ней интонация предопределена. Стока в том строем, который я называю непрерывной мелодией, подчинена лишь интонационному целому ритма, а не, скажем, четырехстопному отмеру: целое ритма — ухо лирика, от которого зависит распределение слов в строку: в четырехстопном каноне ухо может услышать и семистонные и одностопные строки; ритм, голова, здесь берет в руки свои руки (бицепсы): хорошо выжимать 10 пудов: но еще лучше движениями рук отражать лицо: о выжимающей 10 пудов строке мы скажем: «*Она — скульптура*»: про строку, ставшую строкой велением выражения целого, мы скажем: «Она пленяет своим невыразительным в правиле выражением».

От поэта зависит *найти должное* выражение среди многих возможных: и его отразить в словесной расстановке, не стесняясь метрической формой. В предлагаемой редакции я ищу особенности выражения для иных из стихов в расстановке, отражающей мной осознанную интонацию: и я не говорю, что — нашел способ выразить особенности интонации: я их *ищу*: в каждом стихотворении надо увидеть после его метрического оформления его ритмический акцент: и — отразить его расставом.

Приведу пример: стихотворение «*Мотылек* — танка (говоря метрически), т.е.: оно — пятистрочное, в котором первая по-

ловина дает образ, а последние две строки раскрывают мысль, влагаемую в образ. Расстановка точная такова:

1. Над травой мотылек —
2. Самолетный цветок...
3. Так и я: в ветер — смерть —
4. Над собой стебельком
5. Пролечу мотыльком.

Строки 1, 2 дают образ, а 4, 5 его раскрывают.

Но то же стихотворение может иметь иную интонацию, подаваемую мной ниже следующим расставом:

Над травой
Мотылек
Самолетный
Цветок... —

Так
И я: —
В ветер —
Смерть —

Над собой
Стебельком, —
Пролечу
Мотыльком.

Чем отлична интонация второго расстава от первой?

Вынесение 3-й строки таночного расстава в иной перпендикулярный ряд, и разбиение ее на два двухстрочия, не только удвояет, утверждает акцент третьей строки, т.е. «*Так и я*»: этим акцент *танки* переносится с конца в середину: *танка* перестает быть *танкой*: распад двух первых строк на два двустишия 1) подчеркивает антиномию «мотылек-цветок», 2) подчеркивает парадоксальность цветка: «летающий цветок»: а распад двух последних строк подчеркивает антиномию между «стеблем» — телом, и «венчиком» — мотыльком-духом. Но две антиномии «мотылек-цветок» и «стебелек-венчик» соответствуют друг другу, что выражено тем, что обе антиномии попали в ту же линию перпендикуляра. Обоим противопоставлено «*Так и я*». Расстав образует интонационный угол.

В таночном расставе смысловая интонация смазана: в ней подчеркнута порхающая легкость: во втором расставе сорван

покров с этой легкости: в первом расставе зрю быстрый порох мотылька: во втором зрю филозофическую углубленность порха: первый расстав — “allegretto”; второй — “andante”. Перед расставом я задумался над тем, что мне важнее подчеркнуть; и увидел: важнее подчеркнуть мысль, а не образ (иногда — обратно: важнее мысль утопить в образе); в расстановке слов поэт — композитор ритма; он сочиняет мелодию; вернее ищет внешним ухом отразить свой внутренний слух.

Уже в первой редакции «Золота в Лазури» я инстинктивно искал интонацию в разбиении равностопных строк на короткие неравностопные: но смысл проблемы расстава не был осознан. Во второй редакции эта проблема встала для ряда стихотворений, не делимых в обычно понимаемых единицах (как ни дели — непрерывная дробь). Для таких стихотворений я искал начертания; так: стихотворение «*Летний лепет*» (I отдел) — единая, неделимая, речитативная фраза; если ее прочесть «*строчко*» — стихотворение — чепуха; фразу берет единое дыхание речитатива, в котором подымается интонация, как зыбь перебивающих друг друга волн; два удара «*Как*» и «*Так*» подымают каждый свою волну, внутри которой слышу поднятие и расплеск удара падения (на словах «*небо*» и «*отсвета слов*»); во второй волне, как завиток пены, подобное трели сочетание — ассонанс «*розовую розу* — *росами*», слышимый как скороговорка.

Сказанным объясняются особенности расстава в иных стихотворениях. В этом издании я особенно продумал отделы, понятные, как единый цикл; стихотворения вытекают из стихотворения; выхваченное из цикла, оно теряет; отдел — этап настроения в целом книги; это целое — лирически переживаемый некий строй отношения к жизни юного лирика в 1903 году; более поздние стихи лишь дописывают то, что было вписано некогда в (этого) лирика; «Христос Воскресе» коренилось в Белом еще в 1903 году; оно лишь подчеркивает отдел «Молнии лет» (из 1918 года).

«Летние блески» — еще не омраченная ничем легкость, юность в восприятии природы и жизни; «Грепетень» вносит первые тени разъеда, разочарования и бегство к иллюзиям вымысла; «Возврат» — вымысел, которым, как плащем, закрывается уязвленный жизнью: «Белые стихи» — разъед самаго вымысла; жизнь — носорог, втыкающий рог в мудреца; «Черч

тепней — страх, упадок, разочарование, тема смерти; «*Исход*» — исход из смертного к природе, как зову духа; «*Молнии лета*» — осознание зова, ведущее к теме «*Христос Воскресе*».

Это — лейт-мотив, звучавший и в «*Золоте в Лазури*», но там он заляпан кляксами технической беспомощности, задымлен туманом неосознанности; в 1931 году старик интерпретирует юношу, как бы говоря: «Вот в чем было дело в 1903 году».

«*Андрей Белый*» 1903 года жалко уронил свои лирические задания; старик пытается новой редакцией хоть отчасти исправить «*грехи молодости*» простым повышением продукции (недостатки ее все равно не сотрешь); повышение качества продукции, конечно, компромисс; может быть, лучше было бы уничтожить вовсе юношеские тексты; повторяю: они не уничтожаемы в виду любителей копаться и щупать дефекты молодых авторов. Дав «*Золото в Лазури*» вторично, и знал, что при моей жизни вряд-ли оно будет напечатано, я взываю, так сказать, из гроба: «*Со всею силой убеждения прошу не перепечатывать дрянь первой редакции: это — посмертная воля автора; он ее подкрепляет тем, что дает собственную редакцию; отбросам из утиль-сырья место — помойка, а не печатный лист*».

Андрей Белый, Кучино, 27 февраля, 1931 года.

ПОСЛЕДНЯЯ ЛАСТОЧКА

Смотри, как радостно и просто
К закату ласточка ведет
Свой белогрудый, вилохвостый
Исследовательский полет.

Она воздушный лепит замок,
И рыщет в поисках звезды,
И птичьих аэродинамик
Усовершенствует плоды.

На ней, как на искомой точке,
Подобно трем прожекторам,
Скостили огненные строчки
Державин, Фет и Мандельштам.

Задетый приближеньем ночи
Багряный падает листок,
Склониться ниже колос хочет,
Созревший щелкает стручок —
И осень видится воочью
Как завершенье, как итог,
Как строк и ритмов средоточье:
Китс, Боратынский, Рильке, Блок...

Стихом пронзает человечий
Зигзаголоволомный ум
Земли явления и вещи,
Молчанье звезд и моря шум.

Но что у нас в наш час осенний
Единый вызывает вздох?
Лирического тяготенья
Где высший центр для всех эпох,
Омега всех пересечений?

Жизнь? смерть? любовь? быть может, Бог?

ГИГАНТСКАЯ СЕКВОЙЯ

Убегу от беглых взглядов
В пристальную тишину,
У корней твоих прилягу,
К родникам твоим прильну.

Может быть, в подземном вздохе
Уловлю, как ты давно
Проросла из бурой крохи,
Что с горчичное зерно,

И нетленную колонну
Жаропрочного ствола
Мощью небоустремленной
Над землею вознесла —

Купиной неопалимой
В блеске солнечных лучей
Над юдолью, над долиной,
Где слезу точит ручей.

Но с величием секвойным
Устремляясь в синеву,
Ты внизу настилом хвойным
Душишь малую траву.

И ответа на вопрос ты
Мне покуда не дала:
Как ушла ты в небо просто —
Не познав добра и зла?

ПРОБА ПЕРА

Птенчик оперился. Значит, пора.
Так начинается проба пера.

Проба пера — это проба крыла:
В воздух, как в омут, была не была.

Проба пера — это ай да полет,
Красносмотрителен и желторот!

Проба пера — это поиски сфер,
Где кругозору родня глазомер.

Проба пера — это проба беды,
Проба судьбы от гнезда до звезды.



Есть подсознанье. В эту тьму
Во сне спускаемся мы просто.
Есть надсознанье. Самому
К нему нашупать можно доступ.

Но только млечный свет с небес,
Упав на голое страданье,
Ведет не в под-, не в над-, не в без-,
Но в область вне- и сверхсознанья.

Николай Моршен

СТИХИ. ОБ АНДРЕЕ БЕЛОМ

Есть бытие... Но именем каким
Его назвать...

Баратынский

У меня сохранилась одна любительская карточка Б. Н. Он сидит за столом в домашней любимой суконной толстовке и в бархатной шапочке. Глаза опущены в рукопись, над которой он наклонился. В руке, положенной на листы, — папироска. Плечи устало опущены. Но лицо спокойное, сосредоточенно строгое. А в сдвинутых крепко бровях и в морщинке, прорезавшей лоб, проступает что-то незримое, что превращает видимый, внешний покой в углубленную напряженность работы.

Мне особенно дорога эта карточка. В ней для меня запечатлено очень многое. Привычный, знакомый образ. Как часто видела я его именно таким. Затихший, весь ушедший в себя, далекий от всего, что его окружает. И очень спокойный.

Он любил говорить, что во время писания стихов «приборматывает». Вероятно, так это и было внутри. Вероятно, так явственно слышал он то, что тогда в нем звучало. Может быть, про себя он что-нибудь и произносил. Но внешне это не проявлялось. Напротив, — он сидел совершенно спокойно, почти неподвижно. По временам только что-нибудь быстро записывал, и опять застывал. Я ни разу не видела, чтобы он откинулся в кресле, ища нужное слово, или отбивал ритм ногой, отстукивал карандашем или пальцами, или раскачивался в такт слагавшимся строчкам.

Никаких посторонних движений. Побледневший, весь стянутый в точку внимания. И только особенная, нароставшая вокруг тишина показывала, что он далеко, далеко, там, в каких-то ему лишь открытых мирах развивает теперь энергию своих действий, от которых тишина углубляется и непрерывно и странно растет.

Да, тишина... Но какая? Как передать ее качество? То необычное, что ее насыщает, что разливается в комнатах и вызывает в душе волнение до трепета, а сердце заставляет ускоренно и напряженно стучать. Так бывает во время горной грозы, где стихии подходят вплотную, где заряженный электричеством воздух отнимает дыхание. Безмолвие комнаты колыхалось гулом взволнованных ритмов.

А Б. Н. становился все тише. Сидел, как изваянный. Но казалось, что он теперь центр огромной сверлящей воронки, втянувшей в себя весь огонь его жизни, весь жар его слов, и бросающей от себя вихревые спирали.

Он затихал. А спирали летели все шире, все выше. Неслись, и неслись, и неслись. Уносились к пределам вселенной, к «стародавним огням Зодиака». Там, в безмерной дали все кружилось, роилось и реяло. Заплеталось в певучие хороводы анапестов, ямбов, хореев. Шло в торжественном строе молоссов. Ассанансы сверкали причудливой нитью, как сквозящий узор драгоценной парчи, и нежно горели жемчужные отсветы «светов» — бирюзовых, сиреневых, розовых, — будто далекое солнце играло на снежных, далеких венцах.

Все это готовилось хлынуть, залить своим звоном и радугой белый бумажный лист.

Мне не хватало дыхания, а Б. Н. был все также спокоен и сосредоточенно строг. Только тени вокруг глаз углублялись, и еще бледнело лицо.

Припоминались слова: «Ток высокого напряжения. Не подходите. Смертельно». Эти слова Б. Н. прочел на одной из дверей в помещении ЗАГЭС, где вдоль стен залегали, как молчаливые змеи, огромные сероватые кабели. Б. Н. был поражен «адекватностью» этого выражения: он знал, что ток высокого напряжения существует не только в машине. Он действует и в человеке. И я видела его в человеке. Во мне твердилось невольно: «...Не подходите... Смертельно...» Но почему?

Ведь перед глазами был тот же склоненный, задумчивый профиль, от свет лампы на бархате шапочки, легкий очерк плеча и руки с папироской. Изредка он вдруг вставал, точно поднятый внутренним вихрем. Делал из кресла кругой поворот и шел по комнате волевым, решительным шагом, глядя прямо перед собой, но не видя. Шел с непередаваемым выражением

лица, весь натянутый, как стрела, распрямившись и крепко сжав крест на крест ладони несколько выдвинутых вперед рук, точно в них поставил упор против охватившей его внутренней бури. Делал два-три шага, и также непроизвольно рванувшись на повороте, под острым углом бросался к столу. Еще на ходу наклонялся к бумаге, пристально вглядывался и так застывал, не разжимая рук. Потом, все еще стоя, начинал торопливо записывать. И только через некоторое время автоматически, как сквозь сон, опускался на кресло.

Иногда я спрашивала его после — зачем он вставал и куда так решительно шел? Он удивлялся: «Разве вставал? Да нет же! Совершенно не помню».

Черновые наброски стихов начинались очень часто на полях или между строк книги и шли вкривь и вкось. А если и на отдельном листе, то — все равно — как попало, случайно, как ляжет бумага. Лишь бы скорее, лишь бы не упустить. Не буквы, а какие то неопределенные знаки, петли, крючки. Слова не кончались, строки — тем более. Если под лист попадала резинка или коробка со спичками, и бумага вздувалась горбом, то так и писал, ломая карандаши, разбрызгивая чернила. Догадаться, в чем дело — не было времени. Только сердился на «досаднейший горб». При новой кляксе громко вскрикивал: «Ай!» и продолжал спешно записывать в самой неудобной позе, отчаянно вывернув руку. То же было, если книга попала под локоть, или папка закрыла угол листа. Писал навесу, кое-как приткнувшись, весь поглощенный процессом сложения строк. Я подходила, чтобы убрать помешавший предмет. Тихонько расправляла бумагу. Обычно он того не замечал, даже не поднимал головы, лишь машинально передвигал поудобнее руку. Иногда произносил рассеянно, точно издали: «Спасибо». Иногда даже этого не было.¹

¹ Я была очень удивлена, когда в “Wahrheit und Dichtung” прочла почти то же самое. Гёте рассказывает о себе: иной раз ночью, чтобы успеть записать зазвучавшие строчки, «я бежал к пульту, и не давая себе времени поправить косо лежащий лист, так и писал, не трогаясь с места, все стихотворение с начала до конца наискось, по диагонали. По той же причине я охотнее схватывал карандаш, который мягче ложился на бумагу. Я уже знал по опыту, что царапанье и брызги пера могли разбудить меня от моего поэтического сна, рассеять, и тогда маленькое произведение оказывалось убитым при самом своем зарождении».

В последние годы Б. Н-ча особенно интересовал вопрос интонации, и, в частности, вопрос интонационной архитектоники в лирике. Он много работал и думал над этим, и искал способов музыкально, песенно динамизировать стих, снять с него каркас метрики и «превоздушнить» строку. Перед ним вставали задачи интонационной мелодики взамен правил канонического сложения стиха из его элементов: стоп, строк и строф. Он подолгу взволнованно рассказывал мне, что нужно сделать для того, чтобы немое, печатное слово *звучало*, чтобы в нем отразился хотя бы намек на выразительность и живое движение песенной речи. Ведь лирическое стихотворение — это песня. И мелодия в нем важнее образа. «Все-таки стихотворение поется поэту всегда», — писал он в предисловии к «После разлуки».

Но отводя «казенный порядок» метрического канона, Б. Н. хотел не хаотического беспорядка произвольно разорванных строчек и строф, а закономерного распределения стиховых элементов, исходя из соотношения их со звучащей основой целого. Другими словами — исходя из пересечения ритма со смыслом. Это пересечение — инстинктивное или полуинстинктивное в самом процессе работы и только потом раскрываемое для сознания, он и называл интонационным или ритмическим жестом.

О своих исканиях он говорил: «Все, что я делаю — только проба пера. Здесь я — Тредьяковский. Но я знаю, что время движется к снятию антитезы: поэзия-проза. Снятие это — в интонации, в ритме. Но я не говорю, что нашел. Я ищу».

В думах о том, как донести до читателя то, что так явственно слышится внутренним ухом, он говорил, что поэт лишен тех выразительных знаков, которыми так богато снабжен композитор. Поэт, — хотя и слышит, — не может поставить аллегро, кресчендо, фермата или указать педаль, трель и т.д. Ему остаются знаки препинания. Но знаки, действительно лишь знаки *препинания*, — не многим больше. Они бледны и немы. С ними многое не сделаешь. Ведь восклицание восклицианию рознь. И многоточие еще его не спасает. Лучше других — тире. Оно — взрез глубины, и все-таки шаг на пути к интонации. Оно — знак: обратите внимание, остановитесь: что-то здесь происходит. Зато точка — вполне инкогнито, нераскрытое «икс». Как показать, что она четверть, восьмая

или целая нота, и притом не одна, а может быть, несколько. Автор все это слышит и внутренно знает. А читатель?

Передавать интонации знаками препинания, это все равно, что килограммами взвешивать на аптечных весах, или метрами мерить камею.

В классических строфах, — как их ни изощряй — тоже не отразишь волну голоса. Их монотонность сковывает глаз и звуковое дыхание. В них мало движения и совсем нет пространства. Глаз равномерно скользит по строчкам и передает уху однообразие своего движения «направо-налево, направо-налево». (Физиология знает, что слух и зрение в нас органически связаны). И уснувшее ухо перестает слышать биение пульса в стихе. Перестает отмечать взлет и падение голоса, «взмах размаха интонационной волны», обрыв в разъятие паузы или в бисер речитатива. Не различает острых изломов мелодической линии, напора ее восхождения, когда наростая, она поднимается к своей кульминанте, и ее разнапряжения, когда, спадая, она начинает затем медленно или «немедленно» угасать. Несущество, что одаренный чтец-исполнитель в лучшем случае кое-что угадает из намерений автора. Но читатели — все, все читатели, — как до них донести и как им всем передать эти живые оттенки? Пока что — только путем расстановки строк — *строчным расставом*.

Когда-то ровный строфический расстав был достижением. Над ним много работали. Он отвечал еще ритму недавнего времени. Оно текло медленно и спокойно, большими объемами.

Теперь пульс его бешено бьется, дыхание прерывисто. Об этом говорит Маяковский. Явление его не случайно. Попробуйте уложить его в прежние строфы. Он прав. Он хочет свободно дышать, живо двигаться. Это возможно лишь во внутренно найденном — «индивидуальном» — строчном рисунке. Что же — это не стих? Не поэзия? Нет, это стих и это поэзия. Стrophicный расстав Маяковского — не каприз, не выверт, не произвол. Это необходимость живого стиха, идущего вровень с ускоренным временем и стремящегося отразить свою интонацию.

В поисках интонационной расстановки, выявляющей ритмически смысловой акцент, Б. Н. исписывал не один лист. Он говорил, что пока стихотворение не записано и глаз не пройдет по строчкам, как по своего рода нотным знакам, ничего

еще нельзя сказать. Сперва их нужно увидеть и потом уже проверить по слуху, как в них уляжется голос. Он терпеливо записывал разными строчками одно и то же стихотворение, приносил показать. И сперва не читал, а раскладывал передо мной на столе и говорил: «*Взгляни! Какое лучше звучит?*»

Он молча ждал, пока я все просмотрю. И только тогда брал тот лист, где ему самому расположение строк казалось наилучшим. После этого он прочитывал также и другие строчные редакции, соответственно изменявшие интонацию. Он хотел еще раз удостовериться в правильности своего выбора и уже «со спокойной совестью» отложить то, что не так прозвучало.

Бывали очень редкие случаи, когда в «Зовах времен» он не рассыпал, а собирал строки, или писал простыми строфами. Например, стихотворение «Шут», имеющее подзаголовок «баллада», он свел к ровным четверостишиям, в чем и состояла вся переработка.

Правильное строфичное строение встречается в ряде стихотворений, датированных «1931». Например, восьмистишиями написаны «Старый бард», «Пародия». Пятистишиями — «Лес», «Рождество». Четырехстишиями — «День», «Андрон».

Чтобы показать значение расстановки строк для интонации, Б. Н. приводит в Предисловии к «Зовам времен» две расстановки стихотворения «Жизнь», и подробно мотивирует, что побудило его изменить первоначальную форму танки. В заключение он пишет: — «В таночном расставе смысловая интонация смазана. В ней подчеркнута порхающая легкость. Во втором расставе сорван покров с этой легкости. В первом расставе зрю быстрый порх мотылька. Во втором зрю философскую углубленность порха. Первый расстав — аллегретто, второй — анданте. Перед расставом я задумался над тем, что мне важней подчеркнуть. И увидел: важнее подчеркнуть мысль, а не образ (иногда — обратно: важнее мысль утопить в образе) В расстановке слов поэт — композитор ритма. Он сочиняет мелодию, — вернее — ищет внешним ухом отразить свой внутренний слух.

Вот эти две расстановки:

Жизнь (в сборнике «Звезда»)

Над травой мотылек

Самолетный цветок.

Так и я: в ветер — смерть —
Над собой стебельком
Пролечу мотыльком.

Мотылек («Зовы времен»)

Над травой
Мотылек —
Самолетный
Цветок...

— Так
И я: —
В ветер —
Смерть —

Над собой —
Стебельком —
Пролечу
Мотыльком.

Клавдия Бугаева



О, не ищи игры в напеве,
застывшем в строгости своей.
Пойми: как звезды в темном небе
алмаз тем ярче, чем белей.

Пусть сердце бурями задето,
пусть пламя рдеет в нем подчас,
единому будь верен свету,
не краскам, не теплу, — а свету,
тому, что виден сквозь алмаз.

*Алексис Раннит
Перевод Георгия Адамовича*

ЭТИКА СОЛЖЕНИЦЫНА

Каждый большой писатель значителен прежде всего своеобразием своего творчества, глубиной и высотой своего художественного видения мира. И далеко не у всех писателей этический элемент проступает с достаточной яркостью. Можно быть очень большим писателем, и все же быть лишенным этического пафоса.

К такому пафосу обычно менее всего склонны натуралистические реалисты, — скажем, Эмиль Золя. Или, наоборот, писатели, у которых более чем заметен «технологический» примат литературной формы. Но есть и писатели, умеющие прозревать в нравственную сущность изображаемых ими героев. Самым разительным примером подобного морально-художественного ясновидения может служить, конечно, Лев Толстой. Н. Страхов сказал, что Толстой так беспощадно обнажает перед читателем нравственную сущность своих героев, что ему становится страшно за них.

К числу писателей, одаренных этим нравственным ясновидением, относится и Солженицын. Он умеет читать в душах людей как читают раскрытую книгу. В этом отношении Солженицына можно поставить только рядом с Толстым, чем я отнюдь не хочу поставить знака равенства между ними. Толстые рождаются раз в тысячелетие. Но Солженицын — настолько крупный, точнее — гениальный талант, что его можно сравнивать и с Толстым.

Соответственные места у Солженицына (чтения в душах героев) всегда подводят итоги его характеристикам. Им предшествуют всегда мимолетные описания их внешности, многочисленные диалоги и другие реалистически-импрессионистические детали. И лишь потом, или попутно, направляет он волшебный фонарь своего таланта на нравственную сущность своих героев.

Подчеркиваю, что я имею в виду здесь не столько этические взгляды Солженицына, сколько его этическую интуицию,

— как она выражена в его произведениях. Так, при всем натуралистическом изображении быта концлагеря в «Одном дне Ивана Денисовича», Солженицын умел передать, чем жива душа его главного невзыскательного героя.

Помимо большой витальной сопротивляемости Ивана Денисовича, его мужицкой добродушной хитрецы, мы чувствуем в нем человека доброй воли, душа которого не преисполнена ожесточения, несмотря на факт вопиющей несправедливости наказания и на бесчеловечные условия лагерной жизни. Наоборот, в Иване Денисовиче светится вера в человека.

А как любовно изображен автором баптист Алеша! Услышав, что Иван Денисович сказал: «Слава Богу, еще один день прошел», Алеша говорит, обращаясь к главному герою повести: «Ведь вот, Иван Денисович, душа-то просится Богу молиться. Почему Вы ей воли не даете?» Иван Денисович отвечает, что он молился об освобождении, на что Алеша говорит: «А об этом молиться не надо. Из всего земного... молиться нам Господь завещал только о хлебе насущном. Ты радуйся, что ты в тюрьме. Здесь тебе время есть о душе подумать...»

Солженицын умеет обнаруживать этический элемент даже у отрицательных своих героев. Таков его бывший политрук Зотов. Он служил во время войны на железнодорожной станции. Раз к нему является отставший от своих «окруженец». В разговоре с Зотовым обнаруживается, что окруженец знает некоторые советские города по прежним, а не по новым названиям. Это кажется подозрительным Зотову, и, решив, что перед ним бывший белый офицер, он предает его в руки властей, что для него означает гибель.

И рассказ кончается словами: «Никогда потом всю жизнь Зотов не мог забыть этого человека». То есть, даже у такого закоренелого коммуниста-политрука автор обнаруживает что-то вроде угрызений совести.

А в рассказе «Матренин Двор» описывается простая крестьянская женщина, бедная работящая вдова, у которой часто останавливаются постояльцы. (Отсюда название «Матренин Двор»). Матрена все время проводит в работе. Причем работает она не только для себя, но готова работать и для других, так что ее часто зовут на помощь, оплачивая ее труд минимально или вообще не оплачивая. Затем Матрена, страдавшая каким-то недугом, умирает. И автор замечает в конце рассказа

от себя, что его Матрена — одна из тех праведниц, без которых, по словам поговорки, не стоит ни село, ни город, ни сама земля.

Как подобные авторские ремарки, так и, главное, сугубое внимание, с которым Солженицын прослеживает искорки добра в человеческой душе — свидетельствуют о наличии сильного этического подтекста даже в ранних произведениях Солженицына.

Но особенно ярко проступает этический элемент в его двух главных произведениях, — в «Раковом Корпусе» и в «В круге первом».

Я выделяю особо три составных элемента этой «этики Солженицына»:

1. его этическое осуждение некоторых отрицательных (но никогда не абсолютно отрицательных) персонажей (например, сталиниста Русанова из «Ракового Корпуса»), 2. его умение находить искорки добра даже у этих отрицательных персонажей и, вообще, выдвижение на первый план их морального профиля, и 3. его этические взгляды, вложенные, по большей части, в уста его излюбленных героев, а иногда выраженные в авторских ремарках.

Что касается угрызений совести — они наиболее ярко выражены у Русанова — типа закоренелого сталиниста, хоть человека и не жестокого по природе и хорошего семьянина из «Ракового Корпуса».

Старый член партии, бывший рабочий, а затем сделавший карьеру и ставший одним из столоначальников анкетного отдела КГБ, Русанов неожиданно заболевает раком. Ему делают серию впрыскиваний сильно действующих на нервную систему. Его сон становится беспокойным, сопровождаемым полубредовыми сновидениями. Его мысль более всего сосредоточена на опасности болезни и на страстном желании вылечиться. Но во сне — неожиданно для него самого — он видит иногда жертв своих прежних доносов. Так, он написал в свое время донос на отца его хорошей знакомой Ельчанской, а затем и на нее самое; ее арестовали, и ее малолетнюю дочь отдали в детдом.

В тексте мы читаем:

«— Друг мой, — мягко спросила Ельчанская, наклоняясь

к самому его уху. — А, друг мой. Скажите, где моя дочь? Куда вы ее дели?

— Она в хорошем месте, Елена Федоровна, — ответил Русанов, но головы к ней не повернул.

— А в каком месте?

— В детприемнике.

— А в каком детприемнике? — Она не допрашивала, ее голос звучал печально.

— Вот не скажу, право... — Уж он искренне хотел ей помочь, но сам не знал, как.

— А под моей фамилией? — почти нежно звучали ее вопросы за плечом.

— Нет, — посочувствовал Русанов. — Такой уж порядок. Фамилию меняют. Я не при чем. Такой порядок.

Он лежал и вспоминал, что Ельчанских он почти даже любил. Он никакого не имел против них зла... Как вышло, что он написал на нее донос — он не мог вспомнить...»

Здесь перед нами угрызения совести, но завуалированные под воображаемый диалог с его жертвой, причем, желая забыть, что он написал донос, он забывает причину доноса и старается уверить себя, что он даже любил свою жертву. Здесь перед нами налицо бредовая смесь из подавляемых угрызений совести и стремления к самооправданию.

Другого, уже эпизодического, героя «Ракового Корпуса» Ефрема Поддуева, бывшего в молодости комиссаром, в долгие больничные часы преследует воспоминание о том, как он заставлял подчиненных ему рабочих (из заключенных) работать сверх всякой меры, при жестоком морозе. И когда он заставил одного рабочего снова лезть в холодный узкий и грязный туннель, чтобы проверить кладку кабеля — тот повернулся к нему и сказал: «Эх, комиссар, и ты будешь умирать однажды». И теперь борющийся со смертью в «Раковом Корпусе» Поддуев не может заставить себя забыть слова своей жертвы.

От малых героев перейдем теперь к великим: от сталиниста к самому Сталину. Я имею в виду потрясающее описание старости Сталина в «В круге первом».

Страдающий бессонницей Stalin любит принимать своих ближайших подчиненных по ночам, в своем кабинете. В романе он только что принял главу НКВД министра госбезопасности Абакумова (потом расстрелянного). Stalin лично заинтерес-

сован в так называемой «секретной телефонии», в нахождении способов автоматически определять личность говорящего по телефону, на основании речевых особенностей говорящего. Это нужно ему для вящих разоблачений тайных врагов народа. Но у него столько важных дел, что он забывает спросить у Абакумова, как продвигаются дела с «секретной телефонией». Параллельно, Солженицын делает попытку проникнуть во внутренний мир дряхлеющего «отца народов».

В тексте романа мы читаем:

«Владетель полумира, в кителе генералиссимуса, с низко-покатым лбом, медленно пробирался мимо полок и пальцами скрюченными держался, перебирал... по строю своих врагов.

А от последнего шкафа обернувшись — он увидел на столе телефон.

И что-то, что-то, ускользавшее весь вечер, опять скользнуло в его память кончиком змениного хвоста.

Что-то надо было спросить у Абакумова... Арестован ли Гомулка?...

Да, вот оно! Шаркая сапогами, он добрался до письменного стола, взял ручку и написал в календаре: «Секретная телефония».

Рапортовали, что собраны лучшие силы, что полная материальная база, что энтузиазм, что встречные обстоятельства — почему не кончают? Абакумов, морда наглая, просидел, собака, час битый — ни слова не сказал!

Вот так и все они, во всех ведомствах — каждый старается обмануть своего Вождя! Как же можно им довериться? Как же можно не работать по ночам?

Он пошатнулся и сел не в кресло свое, а на стулик, рядом со столом.

Половину головы у него как стягивало к левому виску и клонило свеситься. Слабеющая цепь мыслей распадалась. Мутным взглядом он обвел комнату, не различая, однако, близко ее стены или далеко.

Это была собачья старость... Старость без друзей. Старость без желаний.

Даже любимая дочь уже не была ему нужна и допускалась только на праздники.

Это ощущение погасающей памяти, меркнувшего разума

— одиночества, надвигающегося, как паралич, заполняло его беспомощным ужасом.

Смерть уже свила в нем свое гнездо — а он не хотел этому верить».

Так, без единого слова внешнего осуждения тирана, дает Солженицын почувствовать Немезиду мании тотальной власти — абсолютное одиночество, политизолятор души, — отягощенное подавляемым предчувствием скорого неизбежного конца.

Обратим внимание на то, что Сталин в изображении Солженицына не испытывает ни малейших угрызений совести. И это — заметим от себя — вполне соответствует законам духовной жизни. (Мы имеем в виду здесь, конечно, духовную жизнь со знаком минус — ибо зло также духовно, хотя и в отрицательном смысле).

Вожди типа Сталина или Гитлера настолько полны злой воли — притом внутренне-дисциплинированной злой воли, что они как бы отождествляют себя со злом. Что же удивительного, что они не испытывают угрызений совести? Подобные угрызения предполагают, что совесть еще хотя бы побуждена. Они же давно задушили в себе всякие остатки совести.

Теперь об искорках добра даже у отрицательных, скорее, героев. Возьму для примера коммуниста-карьериста Володина из «В круге первом».

Сам сюжет этого произведения построен отчасти на телефонном звонке Володина старому врачу его покойной матери, которую Володин очень любил. Служащий министерства иностранных дел Володин узнает случайно, что НКВД хочет спровоцировать профессора Доброумова на то, чтобы он передал на медицинском съезде в Париже секрет своего медицинского открытия его французскому коллеге-врачу, с тем, чтобы предъявить затем Доброумову обвинение в передаче секретов представителю «враждебной державы» и арестовать его.

В первой же главе романа описывается, как Володин, сознавая, что это для него лично опасно, все же решается позвонить Доброумову по телефону и предупредить о грозящей ему опасности. Голос разума говорит ему, что рисковать не стоит. Но — как говорит Фрейд, — мы самих себя часто не

знаем, и оказываемся то хуже, а то и лучше чем мы сами о себе думаем.

В тексте романа читаем:

«...Володин ясно чувствовал, что другого решения нет. Опасно или не опасно, но если этого не сделать... Чего-то всегда осторегаясь — остаемся ли мы людьми?»

Володин звонит врачу; к телефону подходит его жена — упрямая, желающая узнать, кто звонит и зачем, перед тем, как позвать мужа. Но такое предупреждение об опасности провокации НКВД можно высказать только лично. Когда жена врача упорствует в своем педантизме, а время на исходе, Володин наскоро передает ей в чем дело. Тут кто-то разорвал их линию.

Затем, как известно читателям этого романа, записанный на пленку голос Володина передается специалистам по «секретной телефонии» в привилегированном концлагере для «анализа» и опознания голоса незнакомца, звонившего Доброму. Дело кончается арестом Володина.

Но нас интересует, что карьерист и оппортунист Володин совершает не характерный, как будто, для него поступок — предупреждает врача своей любимой матери о готовящейся провокации. И Солженицын не оставляет сомнения в мотивах Володина своей авторской ремаркой (...«остаемся ли мы людьми?») — то есть, его герой стремится сохранить человеческое в человеке — живую совесть.

Самая главная идея «В круге первом», как это подсказывает заглавием, — этического характера. — Первый, то есть, самый легкий, сравнительно привилегированный круг ада, куда Данте поместил благочестивых язычников.

То были люди с важностью чела
С неторопливым и спокойным взглядом
Их облик был ни весел, ни суров.

(«Божественная комедия» Данте.)

У Солженицына это — технические специалисты его «Шарашки», где и развертывается главное действие романа.

Иначе говоря, замысел романа «В круге первом» — замысел сугубо этический. Распространено мнение, что сущность этого романа — как и большинства произведений Солженицына, заключается в разоблачении зла сталинизма. Это, ко-

нечно, правильно и не вызывает возражений. Но если видеть в этом главное содержание и смысл вещей Солженицына, то это было бы политизацией его творчества. Конечно, сама его главная тема носит поневоле политический характер. Но Солженицын разоблачает прежде всего *духовное зло* сталинизма, — исковерканные террором жизни, раны, нанесенные тираническим режимом человеческой душе. Все это тесно связано с политикой, но не исчерпывается ею.

Главное же — Солженицын сумел изобразить зло сталинизма в прошлом и настоящем (инерция сталинизма) путем *художественной объективации*. Его произведения полны гнева, направленного против бесчеловечной тирании, но сам гнев этот «сублимирован». Если в его произведениях в этом смысле и есть тенденция — а как же ей не быть! — то все же Солженицын прежде всего художник. Само изображаемое им зло и самый его гнев художественно объективированы, хотя, может быть, и не до конца.

Пастернак говорит, что сила художественного изображения преступления Раскольникова в «Преступлении и наказании» Достоевского еще более поражает, чем само преступление Раскольникова. Нечто аналогичное можно сказать и о «В круге первом» Солженицына. Первый круг ада изображен здесь писателем с потрясающей силой и глубиной проникновения в человеческие души. И, повторяю, Солженицына интересует прежде всего этическое ядро человека.

Я уже приводил несколько выдержек из «В круге первом» (разоблачение угрызений совести, искорки добра даже у отрицательных героев). Сейчас я перескажу этические взгляды Солженицына, как они рисуются из высказываний симпатичных ему героев и из его авторских ремарок.

У больных всегда много времени, и в один из долгих больничных разговоров Костоглов — *alter ego* автора, поднимает вопрос о влиянии психики, морального состояния больного на ход его излечения. Костоглов ссылается при этом на учебник Патологической Анатомии, в котором говорится, что связь хода раковой опухоли с центральной нервной деятельностью еще слабо изучена. Он находит, в связи с этим строчку в учебнике, где прямо сказано, что редко, но бывают случаи самопроизвольного исцеления. Это заявление, естественно, приковывает к себе интерес раковых больных. И один

из них, Поддуев неожиданно говорит: «Для этого надо, наверное, иметь... чистую совесть». А Русанов (закоренелый сталинист) строго отвечает: «Да это же бред идеалистический! При чем тут совесть? Стыдитесь, товарищ Поддуев!»

В ответ на что Костоглотов, который терпеть не может Русанова, пересказывает последнему другое место из учебника Патологической Анатомии, где признается, что нужное для излечения от рака процентуальное соотношение солей калия и натрия зависит во многом от настроения человека.

Поддуев опять переводит разговор на то, что он часто жестоко бросал женщин, и что, в силу его нечистой совести, он не может иметь хорошего настроения, являющегося одним из условий излечения.

Тут Русанов выходит из себя:

«— Да при чем тут?... Ведь это же махровая поповщина так думать! Начитались вы всякой слякоти, товарищ Поддуев, и разоружились идеологически. И будете нам тут про всякое моральное усовершенствование талдычить.

— А что вы так прицепились к нравственному усовершенствованию, — огрызнулся Костоглотов. — Почему нравственное усовершенствование вызывает у вас такую ярость? Кого оно может обижать? — Только нравственных уродов».

Русанов, конечно, обижается, и между ним и Костоглотовым завязывается горячий спор.

Но нас интересует, что Солженицын — устами Костоглотова — бьет материализм в его, будто бы, самом сильном пункте (в вопросе влияние тела на дух, — и обратно) и подчеркивает значение нравственного элемента даже в лечении рака.

На другую — но также этическую тему, высказывается Солженицын в том же романе устами другого героя, Шулубина — на тему об отношении между наукой и нравственностью. Шулубин, уцелевший в период сталинских чисток только потому, что старался занимать места поскромнее, и молчать как рыба, решается на больничном досуге, высказать некоторые свои заветные, долго скрываемые и выстраданные мысли.

Происходит разговор между Костоглотовым и Вадимом, молодым пациентом, поклонником науки, убивающим больничный досуг чтением научных книг.

Вадиму хочется поделиться только что прочитанным, и он заявляет во всеуслышание:

«— Товарищи, чтобы нагреть стакан воды говорением, надо тихо говорить две тысячи лет, а громко кричать — 75 лет. И то, если из стакана тепло не будет уходить. Вот и учите-вайте, какая польза в болтовне.

Тут молчаливый обыкновенно Шулубин вдруг спросил Вадима:

— А вы уверены, что вы себя не изморяете? Что вам это все нужно? Именно это?

Удивляясь вопросу, Вадим ответил:

— Это — (мне) интересно. Я ничего на свете интереснее не знаю. (То есть ничего нет интереснее физики).

Тут Шулубин перешел в идеологическое наступление. Он сказал:

— Это не аргумент — «интересно». Коммерция тоже интересна. Делать деньги, считать их, заводить имущество, строиться, обзаводиться удобствами — это тоже все интересно. При таком объяснении наука не возвышается над длинным рядом совершенно безнравственных понятий.

— Странная точка зрения, — Вадим пожал плечами.

— Но если действительно — интересно? Если ничего интересней нет?

— Здесь, в больнице? Или вообще?

— Вообще.

Шулубин расправил пальцы одной руки — и они сами по себе хрустнули.

— С такой установкой вы никогда не создадите ничего нравственного.

Это уж совсем чудаческое было возражение.

— А наука и не должна создавать нравственных ценностей, — объяснил Вадим. — Наука создает ценности материальные, за это ее и держат. А какие, кстати, вы называете нравственными?

Шулубин моргнул один раз продолжительно. И еще раз. Выговорил медленно:

— Направленные на взаимное высветление человеческих душ.

Воцарилось неловкое молчание».

Здесь симпатии автора явно на стороне Шулубина, причем

Солженицын как реалист, ясно дает почувствовать, какими странными кажутся реплики Шулубина остальным больным, воспитанным в духе диамата и истмата.

Еще ярче эта апология видна из следующей — и последней — моей цитаты. В конце романа, когда главный герой, Костоглотов, уже готовится к выходу из больницы, и остается с глазу на глаз с Шулубиным, последний окончательно отбрасывает свою обычную сдержанность. Под давлением накопившегося негодования и мыслей, выстраданных за долгие годы и десятилетия молчания, он полностью высказывает свое нравственное «кредо».

«— Когда Толстой в конце прошлого века решил практически насаждать в обществе христианство — его одежды оказались нестерпимы для современности, его проповедь не имела с действительностью никаких связей. А я бы сказал: именно для России, с нашими раскаяниями, исповедями и мятежами, с Достоевским, Толстым и Крапоткиным, один только верный социализм есть: нравственный. И это вполне реально.

Костоглотов нахмурился:

— Но как это можно понять и представить — «нравственный социализм»?

— А нетрудно и представить, — опять оживился Шулубин...

...Явить миру общество, в котором все отношения, основания и связи будут вытекать из нравственности — и только из нее! Все расчеты: как воспитывать детей? к чему их готовить? на что направить труд взрослых? и чем занять их досуг? — все это должно выводиться только из требований нравственности. Научные исследования? Только те, которые не пойдут в ущерб нравственности — и в первую очередь самих исследователей. Так и во внешней политике! Так и вопрос о любой границе: не о том думать, насколько этот шаг нас обогатит, как усилит, или повысит наш престиж, а только об одном: насколько он будет нравственен?

(Костоглотов:)

— Ну, это вряд ли возможно! Еще двести лет! Но пождите, — морщится Костоглотов. — Я чего-то не ухватываю. А где ж у вас — материальный базис? Экономика-то должна быть, это самое ... раньше?

(Шулубин:)

— Раньше? Это у кого как. Например, Владимир Соловьев довольно убедительно развивает, что можно и нужно экономику строить — на основании нравственности.

— Как? Сперва нравственность, потом экономика? — очудело смотрел Костоглотов.

(Шулубин):

— Да! Слушай, русский человек, Вы Владимира Соловьева не читали, конечно, ни строчки?

Костоглотов показал губами.

— Но имя-то хоть слышали?

— В тюрьге.

— А Крапоткина хоть страницу читали? «Взаимопомощь среди людей»?

— Нет.

Далее Шулубин заканчивает свою тираду:

«Так вот что такое нравственный социализм! Не к счастью устремить людей, потому что это тоже идол рынка — «счастье», — а к взаимному расположению. Счастлив и зверь, грызущий добычу, а взаимно расположены могут быть только люди! И это — высшее, что доступно людям!»

После этого разговор переходит на более личные темы, и на этом мы опускаем занавес над цитатами Солженицина.

Говоря о Соловьевском «пан-морализме» Шулубин не называет какого-либо определенного произведения «рыцаря-монаха» (как назвал Соловьева Блок), но как, вероятно, согласятся со мной эксперты, речь здесь идет об «Оправдании Добра» (1896). В этой книге Владимир Соловьев пытается показать, что этика должна стать основой всех человеческих деяний и помыслов.

Тем не менее, хотя этика и является общим знаменателем всех религий, она вырастает из религиозной подпочвы и питается религиозным вдохновением.

С точки зрения формального подхода, трудно заключить из текста «Ракового Корпуса», что Солженицин разделяет взгляд Соловьева на религиозные основы этики. Но из чтения между строк и из эмоционального подтекста тех мест произведений Солженицина, где автор касается религиозных тем, проступает глубокая, хотя, может быть, и подспудная религиозность писателя.

На основании вышеприведенных цитат — а главное —

общего впечатления от облика творчества Солженицина, не может быть сомнения в наличии глубокого и ярко выраженного этического элемента в его произведениях. Мало того, этическая интуиция Солженицина граничит с моральным ясновидением.

В наш век, когда стало так модно дискредитировать моральные ценности, когда само слово «мораль» так часто берется в кавычки — огромная заслуга Солженицина, помимо его несравненного таланта, заключается в том, что и своими произведениями, смело разоблачающими внешне торжествующую аморальность, и своим смелым стоянием за правду — он способствует реабилитации этики, в которой так нуждается наш век.

Солженицыну удалась одна из самых трудных задач моральной философии — дать апологию добра без налета скуки. Солженицын как писатель сумел художественно заинтересовать читателей добром.

В своем творчестве он напоминает читателям о самом главном — в человеке — о том, что делает человека человека — об его этической сущности, о Вечном в человеке.

Сергей Левицкий

ПОСЛЕ НАС...

«Останьтесь!»

Безумье пройдет — и попрежнему светел
И воздух, как радость, плывет над водой
И рыбы — в великие реки — не в сети
Плынут в ожидании дрожи живой

Осанна! — поют полноводные реки
Осанна! Осанна! — гудит океан
Откроются своды — как тяжкие веки
И Солнце на небе — осанна осанн!

И будет так мирно — так мирно — и море
И вот уже скрылся корабль суэты
И, Боже, опять от блаженства и боли
Над бездной поют голубые киты...

ПОСЕЩЕНИЕ ПАРКА

Цветы уже пахнут грядущим дождем
но эхо эпохи минувшей — со мной
уж ЧУДО не сбылось — чего же мы ждем?
цветы уже плачут грядущим дождем

О эхо эпохи минувшей — соседи
и нужен ли Небу, неясно, посредник?
помолимся Богу, возьмем, в эти среды
мы влажной сегодня нарежем сирени

О нежно мы влажной нарежем сирени
мы скору как воду оставим в передней
гроза как эпоха — вся без ударений
цветы же душистым рыдают дождем



забытая давным-давно зима
все покосившиеся избы

в глубокий сон погружена
отчизна — точно в чистый иней

как кружево, кругом летит
и залетает в грудь поземка

крадется вечер, снег скрипит
полозья чуть поют в потемках

из запорошенной избушки
повеет чем-то дорогим

как будто белый-белый Пушкин
седой сидит как этот дым

то водит по стеклу узоры
то трубкой тяжко засопит

а снег все сыплет, снегу горы
который час?

Россия спит

Я. Бергер

ЧЕКИСТЫ ЗА РЕШЕТКОЙ

ИЗ ТЮРЕМНЫХ ВОСПОМИНАНИЙ

Мне не раз случалось выслушивать весьма нелестную характеристику компартии, даваемую моим следователем.

— Коммунистическая партия? Нам, работникам НКВД, плевать на нее: там оказалось слишком много г....! Мы слуги только одного Сталина!

И вот, после ареста Ежова, эти верные и преданные слуги Сталина, его гвардия и преторианцы, стали просачиваться в наши камеры: палачи очутились вместе со своими жертвами в одних и тех же клетках! Как? Вчерашние палачи стали врагами народа? Да возможно ли это? Что ж произошло? Измена? Заговор на особу «великого вождя»? С участием НКВД? Ответить на эти вопросы было нелегко.

Тюрьма обладает превосходнейшим осведомительным аппаратом: стены ее заменяют телеграф, а масса арестантов, проходящих через нее — хорошие носители информации. И в первую очередь о том, что творится в застенках НКВД. Об арестах палачей-энкаведистов мы знали давно. Однако впервые — лицом к лицу — пришлось мне встретиться с ними только тогда, когда их втолкнули в наши камеры: было это в разное время и при разных обстоятельствах.

Первая встреча была с начальником особого отдела северокавказского управления НКВД, товарищем Сагайдаком. Вторая — с доктором Кремлевской больницы и, одновременно, с научным сотрудником лаборатории специального назначения при НКВД СССР. Фамилию его к сожалению, забыл. И, наконец, третья и последняя встреча — с начальником таганрогского управления НКВД, товарищем Ермаковым.



Он хромал, когда вошел в камеру, с трудом переступая с ноги на ногу. Одет — в военную форму со споротыми знаками различия. Роста небольшого, телосложения дохлого, белобрысый, с бледным веснушчатым лицом и непомерно длинными, как у обезьяны, руками. Вид рук его — с широкими ла-

донями, растопыренными пальцами, с закручивающимися, как у хищных птиц, ороговелыми ногтями — внушал отвращение.

«Руки настоящего палача», подумал я.

Мы предложили ему — таков был тюремный обычай — занять лучшее место, вблизи окна. Новичек холодно посмотрел на нас и проговорил высокомерно:

— С врагами народа не желаю иметь ничего общего!

Старостой нашей камеры был начальник одного из речных госпороходств, Гроссман.

— Ах так, — проговорил он, — тогда садись ближе к параше, сучья душа, и дыши полной грудью!

Гроссман был интеллигентный человек, занимал высокие административные посты, был награжден орденом «Знак Почета». Когда начались массовые аресты, он поехал в Москву к своему начальству — к народному комиссару Водного Транспорта. Нарком принял его дружески, похлопал по плечу — они были старые друзья — и успокоил: «Пока я нарком, будь уверен, ни один волос не упадет с твоей головы».

В радостном настроении вышел он из наркомата, зашел в «Гастроном», накупил жене и детям гостинцев: «Вот-то обрадуются!»

Дальше, однако, произошла обычная история. Человек в штатском подошел к нему, наклонился и проговорил авторитетно: «Вас просят зайти в НКВД. Не более чем на пять минут». Рядом стояли два автомобиля: в одном сидел шофер с военным, во втором — четверо с кирпичнообразными лицами, все в штатском.

На Лубянке, в комнате без окон, раздели его, бесцеремонно содрали орден, швырнув его на пол, вытянули шнурки из ботинок, тщательно прощупали анальное отверстие: не запрятано ли там что-нибудь? Затем, втолкнули в баню для смытия последних остатков вольной жизни. Продолжительность этой процедуры была достаточна для полного перерождения Гроссмана.

В нашей камере было всего трое заключенных, не считая новичка: я, Гроссман и Бекаревич — белый офицер, поверивший амнистии и вернувшийся в Советский Союз. Кроме обычной отметки в НКВД, не трогали его вплоть до 1937-го года. Он служил в десятилетке, преподавая русский язык и литературу. Попав на Лубянку, прошел пытки и превратился сейчас почти в полного инвалида.

После отстранения Ежова, заключенные почувствовали некоторое облегчение. Были открыты ларьки, где можно было кое-что купить, и камеры стали снабжаться книгами: можно было читать! Книги были нашей единственной отрадой. К сожалению, выдавались они не по выбору. Раз в неделю появлялся вахтер и швырял на пол — по своему усмотрению — одну или две книги. Передать их в руки, считал ниже своего достоинства.

Ассортимент книг был разнообразный: по всей вероятности они были конфискованы в начале революции в частных библиотеках и в богатых домах. Среди них попадались настоящие уникумы, старинные издания в роскошных переплетах с изящными экслибрисами, с красочными гербами титулованных фамилий, с дарственными надписями. Через нашу камеру прошли сочинения Чехова, Пушкина, Салтыкова-Щедрина, Виктора Гюго, Бласко Ибаньеса, Марселя Пруста, Фейхтвангера и многих других. Книги читались вслух и после каждой из них в камере шла непринужденная, свободная дискуссия: мы вкушали от плода запрещенного дерева.

Помню, как-то попалась нам книга немецкого коммуниста, арестованного Гестапо вскоре после прихода Гитлера. Присидев в тюрьме около года, ему удалось бежать из тюрьмы, а затем и за границу — в Советский Союз. В Москве, в 1936 году, он выпустил книгу, где описывал гитлеровские тюрьмы, допросы, издевательства и пытки. Нас особенно интересовали пытки. Увы, кроме мордобоя и карцера — никаких мер физического воздействия мы не обнаружили.

— Да, судя по книге, — сказал бывший белый офицер, — гитлеровские тюрьмы были все же лучше. Там не додумались еще до методов физических воздействий, процветающих у нас! Кроме того, не только из тюрем, но и за границу можно было бежать, попробуй у нас — убеги!

Новичек — фамилия его была Сагайдак, мы узнали ее по вызовам на допросы, — сидевший с угрюмым лицом в своем углу, неожиданно вскочил, подбежал к двери и начал барабанить по ней кулаками. Глазок медленно открылся и появилась краснощекая, откомленная рожа вахтера.

— Я требую, чтобы меня сейчас же вызвали к следователю. В нашей камере ничем не прикрытая контрреволюция!

Вахтер ухмыльнулся:

— Чего орешь? Ты кто? Такая же контра, как и они!
Глазок захлопнулся.

Мы игнорировали нашего нового сокамерника. И продолжали откровенно, как и раньше, обсуждать книги, которые нам бросали в камеру.

Второй «припадок» случился у нашего новичка через несколько дней, когда к нам попал том Салтыкова-Щедрина, где напечатаны были «Господа ташкентцы». Там, в одной из глав, повествуется о «массовых арестах». Основанием для них послужили не преступления, а некоторые физические дефекты. Много места удалено там одному «присяжному свидетелю», который мог лжесвидетельствовать по любым вопросам.

— А разве НКВД не создает таких лжесвидетелей своими истязаниями? — сказал Гроссман, — разве у нас не арестовывают по «признакам» — все равно физическим или каким другим? Разве не проводились массовые изъятия по национальному признаку? Я говорю о греках, армянах и других национальностях!

Сагайдак будто ударили. Он вскочил и, размахивая кулаками, завопил не своим голосом:

— Замолчите! Я требую, чтобы вы прекратили позорящие сравнения нашего социалистического государства с реакционным царизмом! — он побагровел, глаза его вспыхнули.

— Плевали мы на тебя! — огрызнулся Гроссман.
Стучи опять, может заработаешь, сволочь, карцер!

Сагайдак не последовал, однако, этому совету. Но на очередном допросе донес следователю о собеседованиях в нашей камере. На следующий день, стали вызывать нас в дневное, необычное для допросов, время. Меня «пригласили» последним. Я знал уже, что дело касалось «Господ ташкентцев».

— Ты что? — набросился на меня следователь, — занимаешься контрреволюционными разговорами? Порочишь наше отчество? — он вскочил и глаза его налились кровью. — К стенке захотел?

— Гражданин следователь, — перебил я, стараясь сохранить спокойствие. — Вы знаете, что Салтыков-Щедрин — один из любимых писателей товарища Сталина! (Нам было строжайше запрещено называть кого бы то ни было товарищами, но следователь не заметил этого, находясь в возбуждении). — Тов. Stalin любил проводить параллели между типами Щед-

рина и зазнавшимися членами партии, какое бы высокое положение они не занимали...

— Молчать! — закричал следователь. — Не тебе, сволочь, учить меня! Я покажу тебе... — он вытер платком вспотевший лоб.

Наступило минутное молчание. Я воспользовался этой паузой.

— Я думаю, не в ваших интересах возражать против проведения параллелей, которыми пользовался сам генеральный секретарь. К тому же, вы ведь знаете, что многие работники НКВД оказались пособниками врагов народа и попали к нам в камеры (мы быстро раскусили, что Сагайдак был работником НКВД).

Да, времена становились другими. Смена руководства в НКВД была для нас оттепелью, правда, непродолжительной. Работники органов растерялись, боясь нарушить новые директивы, сыпавшиеся на их головы как из рога изобилия.

Наши вызовы прекратились. Больше всего пострадал доносчик — Сагайдак. Он приходил после допросов шатаясь, как пьяный. Следы истязаний были уже явны: зубы выбиты, лицо побагровело от побоев, глаз сочился кровью. Через неделю он ходить не мог: раз его ввели под руки вахтеры. Держась за стенку, он первый раз обратился к нам по-человечески.

— Дайте, пожалуйста, воды...

Вскоре, без вопросов с нашей стороны, он стал и откровенен.

— Отказываюсь понимать, что у нас происходит? Требуют, чтобы я давал показания на своих товарищей, виновных в том, что они честно выполняли директивы свыше... Меня, заслуженного работника НКВД, начальника особого отдела северо-кавказского края, подвергают истязаниям...

— Так вам, сволочам, и надо! — с злорадством проговорил Гроссман.

— Погоди, — с горечью говорил Сагайдак, — ты разберись сначала, а потом говори... — он помолчал немного и продолжал: — После массовых изъятий, когда было арестовано «всё и вся», — перед нами встал вопрос: что же делать, дальше, где людей брать? Мы сами понимали, что кампания втянула множество невинных людей, но положение у нас было

безвыходное. К нам поступали все новые контрольные цифры на аресты. Если к нам приходили секретари парткомов с жалобами и отказами на «поставку людей» — мы просто их арестовывали, как пособников врагов народа, потерявших классовую бдительность...

Потом, в течение недели Сагайдак не разговаривал с нами. На допросы его не вызывали. Но с наступлением ночи он начинал нервничать, пугливо посматривая на дверь и прислушиваясь к шагам вахтера: очевидно, страшило повторение пыток...

Как-то, помню, когда книги были прочитаны, а новых не принесли, Бекаревич обратился к притихшему энкаведисту:

— Сагайдак, скажите, почему это допросы везде в тюрьмах идут по одному стандарту? Где вас всех учили этой мудрости?

Сагайдак прислонился к стене и, помолчав, сказал:

— Руководящие работники НКВД обязаны проходить вроде как бы переподготовку, для чего есть секретные школы. Занятия там о методах допроса для следователей... Вот и однообразие методов...

В тот вечер Бекаревич расспрашивал Сагайдака, как организованы эти школы, какие лекции там читались?

— Школы, — говорил Сагайдак, — подчинялись непосредственно наркому, были сугубо засекреченные. Находились в зданиях с вывесками безобидного характера. Слушатели — в гражданской одежде. Все слушатели подвергались тщательному обыску: категорически запрещалось вносить бумагу и карандаши. На лекциях недопускались никакие записи — надо было полагаться только на свою память. Все лекторы (за малым исключением) ответственные работники центрального аппарата НКВД.

— А преподавались и методы физических воздействий? И как? Теоретически или практически? — проговорил Гросман.

Сагайдак усмехнулся:

— А как же! Один из главных предметов. Самый трудный. Были случаи, когда слушатели, забыв, что они работники НКВД малодушно отказывались применять их. Болтали, что сейчас не средние века, что не положено по конституции. Таким слюням не было пощады. Перед ними ставили: или безоговорочное выполнение директив или к стенке!

И много было таких «отказчиков?»

— Были... единицы. Ведь принимали в органы исключительно преданных, проверенных людей.

— Ты не ответил, — проговорил Гроссман. — Лекции-то по физическому воздействию были теоретические? Без, так сказать, наглядного показа?

Сагайдак прищурился, странная улыбка пробежала по его лицу. Он ответил знающе и веско:

— С теорией далеко не уедешь! Показ был необходим. Экспонатов для практики хватало...

★

Было около четырех утра. Под потолком горела трехсвечевая лампочка, освещавшая ярким светом растянувшихся на полу заключенных. Из-за козырька, закрывавшего окно, просачивался белесоватый туман, предвещавший наступление рассвета. Предутренний, крепкий сон был внезапно нарушен. В настежь открытую дверь внесли носилки, на которых лежал тихо стонущий арестант с забинтованными ногами.

Работники НКВД обращались с арестованными постыдно бесчеловечно: быстрым движением были опрокинуты носилки, с которых, как куль с углем, упал человек. Раздался дикий, звероподобный крик: арестант ударился искалеченными ногами о твердый, цементный пол.

— Сволочи!... — простонал он, поворачиваясь на бок. — Мучители!... — его трясло, как в лихорадке. — сдирают у живого человека ногти! И чем?... Плоскогубцами!... — он зажмурился, лицо его передергивалось.

Надо было помочь человеку, перенесшему пытку. Староста подсунул ему под голову свое старое, прогоревшее в вошебойках, пальто. Больной отмахивался.

— Не нужно, не нужно... — он повернулся лицом к стене и затих. Временами только судорога пробегала по его телу.

От утреннего кипятка и хлеба, больной отказался. К обеду он повернулся к нам. Отсутствующим взглядом обводил он камеру, вглядываясь в козырек, закрывавший свет, безучастно смотрел на дверь с глазком, наконец, обратил внимание на нас, сидевших на полу и глотавших баланду. Он что-то бормотал, тихо качая головой.

— Ну, что ж... По коню и корм... — едва расслышали мы его слова.

Арестант казался странным, но мы привыкли ничему не удивляться. Он продолжал разговаривать сам с собою, изредка изучающим взглядом обводя нас.

— Я доктор, — проговорил он наконец, обращаясь к нам, — работал в Кремлевской больнице...

Мы доедали нашу баланду. Бывший владелец ресторана, импульсивный, любопытный не в меру, отставив пустую миску в сторону, перебил его:

— Кого же вы лечили? Наверное членов правительства и ЦК?

Больной усмехнулся.

. — Кого лечил? — по лицу пробежала натянутая улыбка.
— Я ни-ко-го не ле-чил! Я экс-пе-ри-мен-та-тор, — произнес по слогам. — Мое дело было производить опыты.

— Над больными?

— Не всегда. Пожалуй, даже наоборот... — и он снова углубился в себя, как бы не замечая ни людей, ни обстановки. Потом, как бы очнувшись, он опять обратился к нам: — Я вынужден был подписать протокол. Попробуй, не подписать?! Пытка была не из легких... — он застонал, словно его начали пытать.

— Послушайте, — запальчиво сказал дальневосточник, — я понял вас так, что вы производили опыты на здоровых людях? Где же вы их брали?

Доктор посмотрел на него с презрением. В его взгляде, казалось, можно было прочесть: бывают же еще наивные люди!

— Я, — ответил он, — не хочу теперь лгать: работал в НКВД.

Мы замолчали. Было это настолько неожиданно, что у нас словно застряли языки в горле. Доктор, вероятно, понял нашу реакцию и сказал совсем тихо:

— Знаю, к этому учреждению никто не испытывает любви. Тем более арестанты.

Разговор оборвался. Потом заговорил бывший ресторатор.

— Расскажите, гражданин, откровенно: какую же работу вы выполняли в Кремлевской больнице и в НКВД?

К нашему удивлению доктор-энкаведист отвечал охотно.

— Я же сказал, что экспериментатор. НКВД поручало разные задания. Я числился как научный сотрудник опытной,

впоследствии научно-исследовательской лаборатории при НКВД СССР.

— Но все-таки, что же вы там делали, что исследовали?
Доктор провел рукой по лбу.

— Занимался изучением препаратов... в нашей лаборатории. Действие некоторых на организм было смертельно. Задача была в том, чтобы действие имело известные градации во времени, т.е. чтобы смерть наступала или же моментально, или же замедленно, рассчитанно на нужные сроки. А главное, чтобы на трупе нельзя было распознать действия препарата.

— Ну, и что же? Какие же были результаты?

— Никаких! Несмотря на множество опытов, ни один из них не увенчался — в нужном нам направлении — успехом.

Заведующий земельным отделом, до сих пор молчавший, проговорил:

— Ну, а где же брали материал для опытов? Кого, собственно, вы использовали как кроликов?

Лицо доктора выражало недоумение.

— Я же вам сказал, что работал в НКВД. Для проведения опытов, согласно указаниям свыше, я мог пользоваться человеческим материалом... людьми. Опыты на животных не интересовали НКВД. Люди — заключенные — поставлялись из тюрем, из лагерей, иногда прямо из кабинетов следователей.

В камере воцарилась напряженная тишина. Только ресторатор продолжал:

— И многих вы отправили на тот свет?

Доктор минуту молчал, потом проговорил спокойно:

— Конечно, не я выбирал людей. Аппарат НКВД поставлял тех заключенных, дальнейшая жизнь которых не представляла интереса для социалистического общества. Возрастной диапазон был широк: опыты были ценны в отношении всех возрастов. Один из руководящих товарищев как-то сказал мне: «Мы производим отбор людей с испорченной психикой. Эту категорию людей, если она неисправима, предназначаем для экспериментов». Вот такая подоплека лежала в основании нашей научно-исследовательской работы.

— Почему же вы не уволились от этой гнусной работы?
Вы же интеллигентный человек!

Доктор-энкаведист только развел руками:

— А вы знаете, что из НКВД не уходят? Уходят только на тот свет.

День шел к вечеру. Приближалась наша очередь идти на оправку. Но вместо оправки, вахтеры вошли и на носилках вынесли кремлевского доктора.

★

В камеру вошел арестант, одетый в новую военную форму со споротыми знаками различия. Видно было, что новичку не до разговоров. Он опасливо озирался и однозначно отвечал на вопросы.

Недалеко от меня сидела веселая компания. Заключенный, здоровенный детина, молотобоец с металлургического завода, рассказывал под громкий смех небылицы из собственной жизни. Неожиданно он вскочил и побежал к новичку в военной форме.

— А ну, как твоя фамилия? — грубо спросил он.

Новичек, взглянув мельком на него, опустил голову, ответил, стараясь придать голосу дерзкий тон:

— А тебе что?

— Говори, сволочь! — заорал молотобоец, вцепившись ему в грудь. Резким движением рванул он гимнастерку: пуговицы брызнули веером во все стороны.

— Ну, Ермаков. Что тебе надо? — сразу сбавил тон военный.

В камере скрыть свою фамилию было нельзя. Заключенных вызывали на допросы, для подписания справок, для проверки анкет — всегда по фамилиям.

— А, Ермаков! Знаю такого! Посмотри на меня, падло! Нечего голову прятать! — в голосе молотобойца прозвучало торжество. — Попался гад, наконец! — Быстрым движением руки вздернул он голову военного и ударил кулаком прямо в лицо.

Ермаков пошатнулся. Кровь показалась на лице и потекла по гимнастерке. Два зуба, как выплюнутые семечки, полетели на пол.

Молотобоец крепко держал энкаведиста. Размеренно, как молотом, наносил он удары, произнося после каждого новое ругательство.

— Вот тебе, б..., за работу в НКВД!

— Вот тебе, потаскуха, за то, что был начальником!

— Вот тебе, паскуда, за меня!
 — Вот тебе, сука, за всех!

Камера, в мгновение ока, преобразилась: невиданное возбуждение охватило заключенных. Первобытный, животный инстинкт проснулся в человеке, затуманил мозг, развязал темную стихию зверя, жаждавшую мести, насилия, крови. Бредовая мечта заключенных осуществилась: они держат в руках самого заклятого, самого ненавистного врага и мучителя: начальника НКВД! На нем можно отомстить за искалеченную жизнь...

Началось зверское, не знающее пощады, избиение. Казалось, каждый считал своим долгом принять участие в самосуде. Ермаков лежал в луже крови, пытаясь прикрыть голову руками.

Чувство тошноты подступило к моему горлу. Хотелось завыть, чтобы не видеть этой картины. Но глаза не могли оторваться от этих мелькавших, как в кинофильме, все новых кадров.

Вот стариек, вероятно из крестьян, лезет в гущу толпы. В руках у него тяжелый сапог. Его гложет одна страсть: «Хучь разок, да вдарить по кумполу кровопийцы!» Лохматый паренек, отчаявшись пролезть к своей жертве, ухватился за ногу, стараясь не то выкрутить ее, не то оторвать от туловища. Партиец с отбитыми внутренностями,* жена которого была изнасилована в кабинете следователя, плачуцим голосом умоляет расступиться, чтобы собственными пальцами «выколоть глаза этой подлющей гадине».

Я закрыл глаза и отвернулся: насилие над человеком было для меня всегда отвратительно. Но насилие над палачами, мучителями людей?!...

Ермаков лежал на полу и тихо стонал: казалось странным, что в нем еще теплилась жизнь. Лицо походило на открытую, развороченную рану: опухло, глаз не было видно, нос был разбит, зубы выбиты, уши надорваны. Одежда превращена в лохмотья, из под которых проглядывало тело, покрытое багрово-синими ссадинами.

Внезапно загромыхал замок. Заключенные отпрянули от

* НКВД практиковало такой вид истязаний: арестованному клади на спину мешок с песком и били по нему резиновыми жгутами. На теле жертвы не было следов побоев, но внутренности его были отбиты.

своей жертвы. Припадок всеобщего безумия прошел: наступило мгновенное отрезвление. Ермаков не слышал шума отворяемой двери. Со страшным усилием поднялся он на колени и едва слышно прошепелявил:

— Простите, братцы... Не знал, что делал... — и не закончив фразы, упал, потеряв сознание.

В раскрытую дверь вошел оперуполномоченный, сопровождаемый тремя конвоирами.

Энкаведист был бледен: он понял всё. Расправа произошла над его коллегой, над таким же палачем, каким был и он. Тревога и страх написаны были на его лице. Видно, хотел он пересилить себя и сдержаться.

— Что случилось? — стараясь сохранить спокойствие, спросил он.

Старостой нашей камеры был член бюро северокавказского крайкома партии, Лиманский. Он вышел вперед и отчеканивая каждое слово, произнес:

— Если вы не уберете сейчас же эту гадину, я не ручаюсь, что он доживет до вечера.

Это было неслыханно-дерзкое заявление. Еще совсем недавно, за подобный ответ НКВД изувечило бы заключенного. Времена, однако, менялись. И не было пророка, который мог бы предсказать в какие дебри ведет курс новой, послеежовской политики. Сейчас летели головы энкаведистов. Никто не мог знать, кто следующий из них займет место Ермакова.

На слова старосты, оперуполномоченный ничего не ответил. Он повернулся к конвоиру, указав на лежавшего в крови Ермакова:

— Уберите арестованного!

Это были единственные слова, произнесенные им. Конвоиры подхватили Ермакова и понесли к двери. Вслед за ними вышел оперуполномоченный. Трудно описать торжество заключенных. Все были уверены, что этот случай пройдет безнаказанно. Так и случилось. Никто не попал в карцер, никто не получил дополнительного срока, никакого расследования не было.

Страх перед кровавой баней — пример Ермакова был налицо — проник в среду энкаведистов: под палачами тогда начала колебаться почва.

Николай Туров

МОЕ УЧАСТИЕ В ПОМЕСТНОМ ЦЕРКОВНОМ СОБОРЕ РОССИЙСКОЙ ПРАВОСЛАВНОЙ ЦЕРКВИ 1917-1918 ГОДОВ.

Февральская революция 1917 г. внесла глубокое потрясение во весь государственный и общественный строй России. Не могла она также не затронуть и положения организации Православной Церкви и ее отношения к государственной власти.

Синодальный строй Православной Церкви в России, существовавший со временем императора Петра Великого, заменил собой старый порядок церковной организации, установленный церковными Соборами и возглавляемый Патриархами. Петру Великому в его громадной работе переустройства и обновления всех сторон государственной и общественной жизни в России пришлось бороться с очень сильным сопротивлением почти всех слоев старого московского общества, в том числе и духовенства. В течение всего своего царствования Петра Великого беспокоила и озабочивала мысль о том, что после него консервативные старые силы в стране снова возьмут верх, сведут на нет все его новшества и реформы и повернут Россию в старое Московское русло. Центром и авторитетом,

Мы с удовольствием печатаем главу из рукописи кн. И. С. Васильчикова «То, что вспомнилось». И. С. скончался в 1969 г. в возрасте 88 лет. Покойный был видным деятелем в дореволюционной России. Он начал службу в 1-м департаменте Прав. Сената. Состоял членом сенатской комиссии в 1909 г. обследовавшей Туркестан. Затем И. С. был Ковенским губернским предводителем дворянства. Был членом 4-й Госуд. Думы от партии октябристов. При Временном Правительстве И. С. состоял Прав. Комиссаром при Главном Управлении Все-росс. Красного Креста и наконец был членом Церковного Поместного Собора в 1917-18 г.г. Рукопись эту мы получили от сына И. С. — кн. Г. И. Васильчикова, за которым сохранены все права на переводы и перепечатку этой рукописи. РЕД.

Copyright by George Vassilchikoff, New York, 1971.

вокруг которого могли бы собраться силы прошлого, мог оказаться Патриарх. Поэтому у Петра Великого созрело намерение заменить единоличное возглавление Православной Церкви коллегией Епископов, сочувствующих его реформам, что он и выполнил в скором времени после кончины последнего патриарха Адриана.

Перестраивая весь государственный аппарат как в центре, так и на местах, Петру Великому приходилось привлекать к работе в нем не одних только людей действительно сочувствующих его реформам, которых было далеко не достаточно, но и людей в душе тяготеющих ко всему старому. Полного доверия к их работе царь очевидно иметь не мог и для того чтобы получать постоянное осведомление о их деятельности и проводить повсюду свои намерения он назначал ко всем центральным и местным правительенным учреждениям агентов центральной власти, получивших название фискалов. При Центральных Правительственных Коллегиях состояли Обер-фискалы. Впоследствии они были переименованы в Прокуроров и Обер-прокуроров. Был такой Обер-фискал приставлен и к Синоду Православной Церкви. Роль его заключалась по Церковному Регламенту лишь в том, чтобы, совершенно не вмешиваясь в чисто церковные дела, ведать канцелярией и хозяйственным управлением Синодального Ведомства и наблюдать за соответствием всех решений Синода существующим государственным гражданским законам. По всем этим вопросам он имел личный доклад государю. Это последнее обстоятельство конечно придало должности Обер-прокурора Синода особо важное значение. Учрежденный Петром для этой цели Синод состоял из постоянных и временных членов. В постоянные входили три митрополита — Петербургский, Московский и Киевский — и еще несколько представителей высшего белого и черного духовенства, особо назначаемых Высочайшим Указом и затем несколько временных членов, вызываемых на один год постоянным составом Синода из числе епархиальных архиереев. Председательствовал в Синоде старейший митрополит.

Петровская реформа высшего Церковного Управления в сущности ввела это управление в общую систему Государственного Управления страной и лишила церковь того положения, которое она занимала при царях, когда важнейшие вопросы Церковного Управления обсуждались и решались на

церковных Соборах и на них же избирался и патриарх, в лице которого сосредоточивалась в годы между Соборами высшая административная церковная власть и авторитет которого, как например при патриархах Филарете и Никоне, почти равнялся авторитету царя. Бюрократический дух, который постепенно все сильней овладевал всеми новыми правительственными учреждениями, завладел также новым Церковным Управлением, как в центре так и на местах, и проявлялся он всего сильней конечно в центре в лице обер-прокуроров, которые по своему положению всегда имели возможность влиять на решение Синода и направлять административную жизнь церкви по своему усмотрению. Исключения бывали лишь тогда, когда среди высших иерархов церкви появлялись личности исключительные по своим дарованиям, уму и авторитету, перед которыми обер-прокурорам приходилось отходить на второй план.

Так было, например, в последнее десятилетие царствования императрицы Екатерины и до первых годов царствования императора Александра I при митрополите московском Платоне (Левшин) и еще более того при совершенно исключительной личности — митрополите московском Филарете (Дроздов), пробывшем во главе московской митрополии во все царствование императора Николая I и во всю первую половину царствования императора Александра II. Наиболее же полного своего проявления бюрократизм в Церковном Управлении и самовластие обер-прокуроров достигло при обер-прокуроре К. П. Победоносцеве. Бывший профессор гражданского права Московского Университета, приглашенный преподавать законоведение наследнику престола цесаревичу Николаю Александровичу и его брату В. К. Александру Александровичу, с воцарением последнего он был назначен обер-прокурором Святейшего Синода, на каковой должности и пробыл все время царствования императора Александра III, а также и половину царствования императора Николая II.

Человек крайних консервативных взглядов, характера твердого и властного, он, будучи по должности членом кабинета министров и имея личный доклад у государя, влиял на все направление внутренней политики государства. В своем же ведомстве влияние и мнение его во всех делах Синода были решающими. При нем более чем когда либо укрепилась и практиковалась вредная система частых передвижений архиереев

из одной епархии в другую в виде поощрения или наоборот. А архиереи со своей стороны применяли то же по отношению к подчиненным им приходским священникам, переводя одних в награду из более бедного прихода в богатый, а провинившихся из богатого в бедный. Зависимость епархиальных архиереев от Синода и приходских священников от своего епархиального архиерея стали абсолютны. Ни епархиальных съездов, не говоря уже о Церковных Соборах, ни приходских собраний не созывалось и с мнением и голосом мирян в церковных делах Синодальная Церковь не находила нужным считаться. Соборного начала, на котором строилась Православная Церковь с древнейших времен и что ее главным образом отличало от церкви Римско-Католической, фактически в синодальный период в Русской Церкви более не существовало.

С создавшимся положением люди истинно церковные не могли примириться и как в среде наиболее просвещенных и независимых в своих взглядах иерархов, между которыми особенно выделялся доктор богословия, архиепископ Волынский, позже Харьковский, Антоний (Храповицкий), так и в церковной литературе все чаще и настойчивей стали высказываться мысли о необходимости перемен и созыва для этого Поместного Собора Русской Православной Церкви. Победоносцева к тому времени уже не было. Преемники же его часто сменялись и не пользовались больше его авторитетом. Об этих течениях церковной мысли и желаниях было доведено до сведения императора Николая II и мысль о созыве Поместного Собора ему понравилась, т.к. напоминала ему близкий его сердцу старый русский Московский быт и эпоху любимого его царя Алексея Михайловича. По его приказанию Синодом было образовано, еще за несколько лет до войны, под председательством члена Синода архиепископа Одесского Платона, так называемое Предсоборное Присутствие, которое должно было выяснить возможность созыва Собора и разработать, применительно к бывшим ранее Соборам, порядок представительства на нем и примерную программу его работ.

Работы Предсоборного Присутствия продвигались весьма медленно, да их и не торопили и лишь Февральская революция 1917-го года заставила работы эти ускорить, т.к. возникла вопрос о совершенно новом положении Церкви в Государстве с предоставлением ей самостоятельно установить форму своего

центрального и местного управления. Прежде всего Присутствию надлежало составить проект избирательного в Собор Положения. При этом, считаясь с тем, что по понятию Православной Церкви «Церковь» составляют не одно лишь духовенство, а духовенство вместе со всем обществом верующих, на Соборе верующие миряне должны были быть соответственно представлены. Так было и на древних Церковных Соборах.

Собор намечался в следующем составе. Все правящие епископы, затем: выборные от Епархии, избираемые на епархиальных собраниях, которые в свою очередь составлялись из представителей приходов, причем на этих собраниях могли быть избраны безразлично лица духовные или миряне; представители главнейших монастырей и Духовных Академий; наконец, представители государственных законодательных учреждений: Государственного Совета и Государственной Думы.

В конце лета 1917-го года положение о выборах на Собор было Синодом утверждено и выборы назначены на конец августа месяца. Также в общих чертах была выработана программа занятий Собора. Вопрос о том следует ли восстановить Патриаршество или же сохранить коллегиальное возглавление церковной администрации Синодом оставлен был открытым. Дело в том, что по этому вопросу в церковных кругах существовало большое разногласие и в особенности в кругах профессуры духовных академий восстановление Патриаршества ощущалось как поворот назад куда-то в старину и не встречало сочувствия.

Летом 1917-го года скончался престарелый митрополит Московский Макарий и возник вопрос о его заместителе. Синодом было решено, как большое новшество, предоставить московской епархии избрать на епархиальном собрании кандидата, который потом был бы утвержден Синодом. Любопытно, что в московских кругах близких к церкви совершенно серьезно стала обсуждаться кандидатура в московские митрополиты мирянина, чрезвычайно популярного в этих кругах, бывшего московского губернского предводителя дворянства, А. Д. Самарина. Конечно в случае его согласия ему пришлось бы принять монашество. Повидимому согласия от него получено не было и на Епархиальном Собрании единодушно выбран был, проживавший в это время в Москве, архиепископ Литов-

ский и Виленский Тихон. Он был ранее архиепископом Ярославским, а еще ранее православным Епископом Северно-Американским и всюду заслужил общую любовь и уважение. Я хорошо знал архиепископа Тихона в бытность его архиепископом Литовским и он, объезжая свою Епархию, прожил как-то несколько дней у нас в Юрбурге. Человек большого ума и житейской мудрости, чрезвычайно простой и приветливый в обхождении со всеми, он производил на всех какое-то особенно обаятельное впечатление.

Выборы на Собор состоялись повсеместно в половине августа месяца. При этом от Государственного Совета выбраны были: профессор Кн. Е. Н. Трубецкой, Гр. Д. А. Олсуфьев и Вл. И. Гурко и от Государственной Думы В. П. Шеин, Е. П. Ковалевский, Вл. Н. Львов, прот. Трегубов и я.

В середине сентября Церковный Собор открылся в большом новом здании Синодального Ведомства в Москве, находящемся невдалеке от Духовной Семинарии. В этой последней были поселены члены Собора. Архиереи — же были размещены по московским монастырям. После торжественного молебна, отслуженного старейшим митрополитом Киевским Владимиром, окруженным сонмом духовенства, он же и открыл первое заседание Собора в большой аудитории Епархиального Дома. В ней места для членов Собора расположены были амфитеатром. Епархиальные же архиереи, числом около сорока, расположились на возвышенной платформе по бокам и сзади стола для президиума. По предложению председателя Предсоборного Присутствия, архиепископа Платона председателем общих заседаний был избран единогласно митрополит Владимир, товарищем же председателя архиепископ Новгородский Арсений. Секретарем Церковного Собора был избран член Госуд. Думы Вл. П. Шеин, а также выбраны были комиссии по проверке полномочий и по внутреннему распорядку. Затем архиепископом Платоном было доложено утвержденное Синодом Положение о порядке работ Церковного Собора, которое Собором было принято к руководству. По этому положению все решения и пожелания принятые на общем собрании членов Собора получали силу Соборного решения лишь после утверждения их Собором всех присутствующих епархиальных архиереев. Общие заседания Собора были публичными. Для публики отведены были места в верхних рядах амфитеатра.

Все первое время общие Собрания Собора были посвящены заслушанию докладов привезенных с собой членами Собора и их обсуждению. Касались они самых разнообразных вопросов церковной жизни. Наблюдая со своего места в амфитеатре за членами Собора и выслушивая их выступления, я мог составить себе довольно точное представление об его составе. Члены Собора, избранные на епархиальных собраниях, представляли в общем довольно серую массу, в большинстве типа соборных протоиереев и церковных старост из среды среднего купечества и зажиточного крестьянства. Интересны по своим докладам, но и подчас слишком говорливы были профессора Академии. К их группе принадлежал также один из самых значительных и талантливых участников Собора, молодой еще инспектор Московской Духовной Академии Архимандрит Илларион. Своими выступлениями всегда умными и красиво изложенными и всем своим внешним обликом он очень скоро приобрел общую симпатию на Соборе. Он был впоследствии митрополитом Крутицким, был сослан на Соловки, где и погиб. Из членов законодательных учреждений запомнился мне профессор философии права Московского Университета Кн. Е. Н. Трубецкой, в каждом горячо сказанном слове которого всегда звучала глубокая вера, патриотизм и искренность убеждения. Среди архиереев лишь немногие выделялись из общего довольно шаблонного уровня. Таковыми несомненно были доктора богословия: упомянутый выше архиепископ Харьковский Антоний и архиепископ Новгородский Арсений. Последний оказался прекрасным руководителем общих собраний Собора. Затем: архиепископ Таврический Дмитрий (из грузинских князей), архиепископ Тамбовский Кирилл, замечательно видный и величественный и притом прекрасный оратор и наконец, епископ Уфимский Андрей (Кн. Ухтомский), привлекший к себе внимание еще в дособорные годы своей независимостью оригинальностью своих суждений.

Бросался в глаза также один епископ, одетый иначе чем остальные. На нем была ряса однобортная с небольшой пелериной, обшитой красным кантом, и небольшой круглый клобук обшитый по борту красным. Это был епископ единоверческой церкви, т.е. части старообрядцев, приемлющих священство, присоединившихся во второй половине 19-го столетия к господствующей Православной Церкви с сохранением древ-

них обрядов. Но лицом несомненно наиболее привлекающим общее внимание был представитель Троице-Сергиевской Лавры схимонах старец о. Алексей. Глубокий старик, он пробыл много лет в затворе в Зосимовской пустыни и лишь по настоятельной просьбе всей братии самой Лавры и всех ее пустынь согласился выйти из затвора и быть ее представителем на Соборе. Вокруг его личности был какой-то ореол святости, который ощущался всеми присутствующими, вызывал невольно по отношению к нему во всех, от мала до велика, чувство глубокого уважения и, даже я скажу, пieteta.

По мере заслушания докладов выяснялось на какие группы надо будет разбить вопросы, подлежащие решению Собором и какие комиссии надо образовать для предварительной их обработки. Это оказались: комиссия по Центральному Церковному Управлению, по Епархиальному и Приходскому Управлению, по вопросам хозяйственным и финансовым, по церковным учебным заведениям, по монастырям, по вопросу о старообрядчестве и сектантстве. Комиссии эти были выбраны и тут же приступили к работе. Я принял участие в комиссии по старообрядчеству и сектантству.

Мне пришлось близко познакомиться со старообрядцами в Литве где мы жили в предреволюционные годы. Они проживали в Виленской и Ковенской губерниях уже с конца 17-го и начала 18-го столетия, куда они бежали, спасаясь от гонений в России. Часть из них проникла даже в Восточную Пруссию, где в районе Мазурских озер было до последнего времени несколько русских старообрядческих селений и даже монастырь. Число их в упомянутых двух губерниях достигало в мое время 100.000 человек. В Ковенской губернии селения их находились в нескольких уездах, в Ново-Александровском же, по соседству с крупным центром старообрядчества Двинском (уже в Лифляндской губернии), они густо заселяли район озер. Занимались они не столько земледелием, т.к. земли у них было мало, как огородничеством и особенно культурой клубники. Ранняя клубника на рынках Петербурга была преимущественно из этих мест. На летний же строительный сезон артели их плотников и каменщиков расходились на стройки по всему краю, причем некоторые, начав с небольших подрядов, затем, широко развив дело, достигали положения крупных подрядчиков, строивших большие мосты, казармы и казенные

здания на пространстве всей России. Таковыми были, например, Виленские братья Пименовы. Все они были старообрядцами безпоповского толка.

Я очень любил посещать их селения, которые среди массы литовского населения Ковенской губернии сохраняли полностью свой старо-русский характер. Жители их, совершенно не смешиваясь с литовским населением, и во внешнем своем виде и в одежде и в убранстве изб и в своем говоре создавали впечатление, что находишься где-то в коренной старой Руси. Бывал я также и в их моленных, в которых нередко можно было видеть действительно ценные старые иконы.

Ежегодно старообрядцы Литвы, Латвии и Эстонии собирались в лице самых авторитетных своих представителей и наставников на съезды в одной из трех столиц. Я бывал на этих съездах и любовался замечательно благообразными и типично-русскими лицами их стариков, их мудрыми суждениями и часто замечательно меткими словечками. Мое близкое знакомство со старообрядцами в Литве отразилось на выборах в 4-ую Государственную Думу. Старообрядцы Ковенской губернии отдали мне все свои голоса, чем обеспечили мое избрание.

В Соборной Комиссии по старообрядческим и сектантским делам председательствовал архиепископ Антоний. Большой знаток этих вопросов и сторонник того, чтобы найден был путь церковного примирения со старообрядцами, который облегчил бы им возможность воссоединения с господствующей церковью, он на каждом заседании комиссии читал нам настоящие лекции. Эти его лекции были захватывающие интересны и я с большим удовольствием посещал заседания Комиссии.

Подошли дни Октябрьской революции. В Петербурге захват власти большевиками произошел в один день и почти без сопротивления. Не то было в Москве. Восстание большевиков началось на окраинах города и оттуда их отряды, состоящие из солдат запасных батальонов и вооруженных рабочих, двинулись к центру города. В центре же на подступах к Кремлю сорганизовалось сопротивление, в состав которого вошли юнкера военных училищ и присоединившиеся к ним офицерские группы. В городе возникло чисто-боевое положение со стрельбой, как ружейной так даже и артиллерийской, при медленном продвижении большевиков от периферии города к центру. И

это продолжалось почти целую неделю. Я проживал в это время в гостинице «Националь» близ Кремля, а так как работы Церковного Собора происходили в районе удаленном оттуда и находящемся ближе к окраинам, то мне пришлось перебраться на жительство в семинарию. Очень скоро наша семинария оказалась в непосредственной близости к фронту наступающих большевиков. Во избежании внезапного захвата как ее так и здания в котором заседал Собор, решено было вокруг обоих зданий установить и днем и ночью караулы из членов Собора. Ими распоряжался и постоянно их проверял молодой епископ Камчатский Нестор, бывший миссионер среди инородцев Северной Сибири. Вместе с тем послана была делегация во главе с архиепископом Платоном в штаб большевиков, для того чтобы их уведомить о заседаниях Собора и обеспечить ему нейтралитет. Этот нейтралитет был большевиками за Собором признан.

Странное создалось в городе положение. С двух сторон шла стрельба. На улицах же не прекращалось движение и люди свободно переходили из одного городского сектора в другой, занятый противной стороной. Патрули той и другой стороны пропускали людей свободно, лишь обыскивая нет ли оружия. Помню как я пошел навестить родственников моей жены, живших на Поварской. Пройдя по переулку к широкой Поварской улице я услышал на ней сильную ружейную стрельбу и увидел кучку людей, стоящих у углового дома и выглядывающих из-за угла на Поварскую. Выглянув и я и увидел, что шагах в двадцати улицу пересекал окоп, в котором сидели солдаты и рабочие, усиленно стреляя по направлению к Арбатской площади и Александровскому Военному Училищу. Стоять нам надоело и вот один из нас закричал сидящим в окопе: «Да перестаньте же стрелять! Нам надо улицу перейти!». В ответ раздалось — «Ну, ладно. Только живее». Действительно стрельба прекратилась и мы улицу перебежали благополучно. Вообще жители Москвы плохо отдавали себе отчет в серьезности происходящего и проявляли какое-то легкомысленное безразличие. А между тем стрельба в городе влекла за собой не мало случайных и напрасных жертв. К тому же безразличию и легко-мыслию можно отнести и тот факт, что активное участие на стороне юнкеров приняли лишь очень незначительные группы

офицеров, между тем как в Москве в это время их находилось много тысяч человек.

Сопротивление юнкеров все слабело и на Церковном Соборе возникло опасение за целость Кремлевских храмов и Патриаршей ризницы при занятии Кремля отрядами большевиков. Снова была послана делегация от Собора в большевицкий штаб и там ей удалось договориться о том, чтобы при каждой колонне, вступающей в Кремль, находились представители Собора, которые немедленно и приняли бы под свою охрану все Кремлевские Соборы и Патриаршую ризницу. Это и было сделано. Когда к концу недели юнкера капитулировали, все святыни Кремля были ограждены от расхищения.

Все эти дни Церковный Собор заседал под трескотню ружейной и грохот артиллерийской стрельбы. Не помню уже сейчас кто первый сделал с кафедры заявление, что теперь, при всем том что происходит, самым главным и срочным делом Собора является восстановление Патриаршества, к чему и надо приступить немедленно, отложив все прочие вопросы. Это заявление было поддержано многими голосами, но нашлись еще колеблющиеся и сомневающиеся, опять из среды академической профессуры. Но вот попросил слово схимонах, старец отец Алексей. Он сказал всего несколько слов, но так просто и с таким чувством глубокого убеждения, что все возражения потеряли сразу всякий смысл. Собрание было охвачено каким-то сознанием правоты и необходимости того, что надо теперь сделать и вопрос о восстановлении Патриаршества был решен единогласно. Затем было решено выборы и интронизацию Патриарха произвести применительно к порядку, существовавшему на древних православных Соборах. По этому порядку Собор прежде всего избирал трех кандидатов. Выборы были произведены в один из ближайших же дней и выбранными оказались в порядке большинства полученных голосов: архиепископ Антоний, архиепископ Арсений и московский митрополит Тихон.

По древнему византийскому обычаю записки с именами трех кандидатов клались в ковчег на алтарь храма Св. Софии в Константинополе и в конце торжественного богослужения в алтарь вводился мальчик младенческого возраста, который и вынимал одну из трех записок. Тот, имя которого было написано на вынутой записке и провозглашался Патриархом.

Когда этот порядок был оглашен на Соборе, то из среды членов Собора раздались голоса: «Зачем нам мальчик, когда среди нас есть Святой человек. Его надо просить вынуть записку». Так и было решено. Записку просили вынуть схимонаха о. Алексея. Конечно первая мысль и общее желание было, чтобы церемония провозглашения Патриарха состоялась в Кремлевском Успенском Соборе, но на это советская власть не согласилась; пришлось остановиться на Храме Христа Спасителя, куда для этого случая была перенесена, с разрешения властей, из Успенского Собора величайшая московская святыня икона Владимирской Божьей Матери.

В назначенный день огромный Храм Христа Спасителя был переполнен народом. Вход был свободный. Литургию совершил митрополит Владимир в сослужении многих архиереев. Пел, и пел замечательно, полный хор синодальных певчих. В конце литургии митрополит вынес из алтаря и поставил на небольшой столик перед иконой Владимирской Божьей Матери, слева от Царских Врат, небольшой ковчег с именами выбранных на Церковном Соборе кандидатов в Патриархи. Затем он встал, окруженный архиереями, в Царских Вратах, лицом к народу. Впереди лицом к алтарю встал протодиакон Успенского Собора Розов. Тогда из алтаря вышел старец о. Алексей в черной монашеской мантии, подошел к иконе Богоматери и начал молиться, кладя земные поклоны. В храме стояла полная тишина и в то же время чувствовалось как наростало общее нервное напряжение. Молился старец долго. Затем встал с колен, вынул из ковчега записку и передал ее митрополиту. Тот прочел и передал протодиакону. И вот протодиакон своим знаменитым на всю Москву, могучим, и в то-же время бархатным, басом медленно начал провозглашать многолетие. Напряжение в Храме достигло высшей точки. Кого назовет? «...Патриарху Московскому и всея Руси *Тихону!*», раздались на весь Храм и хор грянул многолетие! Это были минуты глубоко потрясшие всех имевших счастье присутствовать. Они и теперь через много лет живо встают в моей памяти.

Избранные на Соборе кандидаты на богослужении не присутствовали. Они оставались на своих подворьях. Сразу после богослужения делегация от Собора во главе с митрополитом Владимиром поехала в Троице-Сергиевское подворье оповестить митрополита Тихона о том, что он стал Патриархом.

Патриарх Тихон ответил делегации как в старину, словами: «Со смирением приемлю,ничесо-же вопреки глаголю». И в тот же день уехал в Троице-Сергиевскую Лавру молиться и говеть.

Через две недели состоялась интронизация Патриарха Тихона. На этот раз власти разрешили совершить это церковное торжество в Успенском Соборе, но при условии, чтобы на нем присутствовали по билетам лишь одни только члены Церковного Собора. Я не помню всех подробностей богослужения. Если всякое архиерейское служение Православной Церкви всегда очень красиво и торжественно, то на этот раз оно было и тем и другим еще в большей степени. Стоя в древнем Успенском Соборе с его стенами и колонами, расписанными старыми фресками и с его чудным многоярусным старинным иконостасом, в соборе, где происходило когда-то столько патриарших богослужений и в котором короновались все цари и потом императоры России, я, как и наверно все присутствующие, отрешился от настоящего и уходил мыслями в великое прошлое своей родины, которое было так тесно всегда связано с церковной жизнью.

После литургии Патриарх вышел из алтаря уже не в облачении, а в патриаршей мантии Патриарха Никона и в белом клобуке Патриарха Адриана с алмазным крестом на нем и вышитыми золотом херувимами и с жезлом в руке митрополита Св. Петра. Встав на амвон впереди Царских Врат, он благославил всех присутствующих. Высокого роста, с лицом таким типично-русским, простым и в то-же время значительным, на этом месте, в своем древнем одеянии Российских Патриархов, он был совершенным воплощением великих московских святителей. На молебен после литургии Патриарх встал на старое патриаршее место под сенью у правой передней колоны Собора. Впервые после выше двухсот лет на этом месте снова стоял Патриарх. Расходились мы из Успенского Собора в радостном настроении и с тем чувством, которое охватило нас всех еще в тот день, когда единогласно было принято решение о восстановлении патриаршества и в котором я, по крайней мере, находился все эти дни. Вокруг все рушилось, рвались все старые скрепы, как государственной, так и общественной и даже семейной жизни и вот, тут на Церковном Соборе, мы творим великое историческое дело, мы закладываем фундамент

нового морального и религиозного возрождения России и, восстанавливая Патриаршество, создаем тот центр вокруг которого это возрождение произойдет. Это сознание и это убеждение и теперь, несмотря на все то тяжелое через что пришлось пройти русской Православной Церкви, во мне также твердо, как и в те великие дни.

Работа на Церковном Соборе, главным образом в комиссиях, продолжалась еще несколько недель и затем, в половине декабря, был сделан перерыв до весны и члены Собора разъехались по епархиям.

Собраться снова удалось лишь в конце весны после Пасхи, т.к. всю зиму, после заключения Брест-Литовского мира, из-за массового устремления солдат с фронта скорей по домам и из-за начала гражданской войны, железные дороги были совершенно дезорганизованы и ездить по ним стало просто невозможно. Мне же удалось вернуться на Собор из Крыма, где я проводил зиму с моей семьей, лишь в середине июня месяца. За это лето на Соборе обсуждались и принимались доклады подготовленные комиссиями. Были приняты доклады: о Высшем Церковном Управлении, об Епархиальном Управлении, приходский Устав и т.д. Осталось у меня ярко в памяти мое двукратное посещение, с членами комиссии по старообрядческим делам, старообрядческого Рогожского кладбища под Москвой. Это был центр старообрядчества приемлющего священство (так назыв. австрийского согласия). На нем, кроме двух больших храмов, богодельни и духовной школы, был целый поселок бревенчатых изб, где проживали старообрядческий московский архиепископ и его викарный епископ, духовенство, певчие и старики-начётчики. Ездили мы туда, чтобы выяснить в беседе с старообрядческими духовными руководителями возможность воссоединения их с господствующей церковью.

Беседа состоялась в одной их больших изб с длинными скамьями вдоль стен, на которых расселись вдоль одной стены старообрядческие духовные лица и вдоль другой, напротив их, мы, представители Соборной комиссии. Вся обстановка и лица присутствующих живо напомнили мне те беседы, или вернее споры «о вере», которые происходили в Москве в 17-ом столетии. Но на этот раз споров в сущности никаких не было. Мы им изложили в подробностях весь ход работ Собора и ха-

рактер перемен, произведенных Собором во всем укладе церковной организации. Наше сообщение было выслушано с интересом и с явным сочувствием. Запомнилась мне красавая фраза, сказанная одним из присутствующих старообрядцев: «В вашей новизне старина слышится». Кто же касается возможности воссоединения, то по словам старообрядцев, о нем можно будет говорить лишь после того, как с них будет снята клятва, наложенная на них поместным Церковным Собором 1664-го года. А так как на этом Соборе присутствовали и решения его скрепили двое восточных патриархов, то они считали, что клятва с них для того чтобы иметь силу Соборного решения, должна быть снята Собором с участием тех же патриархов или их уполномоченных представителей. Тщетно старались им разъяснить, что клятва была наложена не на старообрядцев как таковых, а на те старые обряды, которые были признаны Собором неправильными. Они, как всегда придавая особое значение форме, твердо стояли на своем предварительном условии. Конечно для его выполнения надо было списаться с восточными патриархами и затем снова созвать Поместный Собор в его прежнем или уже в новом составе. Все это требовало много времени и дело таким образом откладывалось. В эти дни при посещении Рогожского кладбища мне показали в его храмах много очень редких старых икон и, выслушивая объяснения знатоков, я проникался их красотой, до того мне не совсем понятной.

Работа Церковного Собора была не вполне закончена, когда перед наступлением зимы 1918-1919-го года он был по настоянию властей распущен. Но все главное было, слава Богу, им уже сделано.

Кн. И. Васильчиков

НА СЛУЖБЕ В СОВ. РАЗВЕДКЕ В ТЫЛУ У ЯПОНЦЕВ

С занятием японцами северной Маньчжурии в феврале 1932 г., и главного города Харбина, я по моей специальности инженера-электрика поступил на службу в контору большого предприятия Сергея Николаевича Кондо — православного японца, который имел в Маньчжурии, на станции Яблоня лесную концессию, а в Харбине главную контору лесопильного и лесообделочного завода. Затем, Кондо построил в Харбине самую большую гостиницу «Нью-Харбин» — пятиэтажное здание с прекрасными номерами, ресторанными залами, барами.

Кондо окончил Токийскую духовную семинарию, хорошо говорил по-русски, и был большим руссофилом, что было среди японцев явлением очень редким. Японские военные круги Кондо не доверяли, как, впрочем, они не доверяли и тем японцам, которые были женаты на русских.

Однако, Сергей Николаевич старался заглушить все подозрения щедрыми пожертвованиями на армию. Так, лишь только началась война с США и Англией, он пожертвовал 50 тысяч иен. Тем не менее, на своих концессиях он держал служащих только русских, а рабочих-китайцев, несмотря на то, что постоянно это доставляло ему большие неприятности, т.к. непременно один-два раза в месяц к нему являлись жандармы с подробным опросом: какие русские у него служат, каковы их политические убеждения, нет ли среди них сочувствующих коммунизму и т.д.

Я ведал всей электропроводкой в гостинице «Нью-Харбин», где в подвальном помещении у меня была своя комната с кроватью, письменным столом и двумя стульями, а на лесопильном заводе, где я больше всего оставался, был даже свой кабинет с большой оттоманкой, на которой я спал, если приходилось почему-либо оставаться на ночь.

Рядом был большой кабинет директора завода Иноуэ. Кроме того я ведал электропроводкой трех зданий военной миссии, где помещались 1, 2 и 3-ий отделы. 1-ый отдел ведал прессой и пропагандой, 2-ой разведкой и контр-разведкой, и 3-ий эмигрантскими делами и бюро эмигрантов. Японцы мне в общем доверяли. Этому способствовало главным образом то, что я по рождению был латыш, имел латвийский паспорт и очевидно поэтому они чрезвычайно прозрачно стремились меня использовать в качестве осведомителя, в особенности относительно русских, которые у них служили. Больше всего они следили за 2-ым отделом, где почти исключительно служили б. офицеры русской армии, среди которых было не мало и офицеров генштаба. В этом отделе велась тщательная разведка военных сил СССР.

Надо сказать, что в некоторых случаях японцы бывали очень наивны. Обычно если меня вызывали в какой-нибудь отдел проверить проводку или сделать исправление, ко мне подходил кто-нибудь из японцев (в военной миссии, особенно во 2-ом отделе, почти все японцы говорили по-русски) и начинал: — «Здравствуйте... вссс... как поживаете... я вижу у вас много работы? Ааа... вы знаете г-на Н? Он кажется очень хороший человек?...» — «Да я с ним знаком, а что?» — Японец некоторое время молчит, смотрит на меня, потом, вбирая воздух, спрашивает: — «Как вы думаете, он очень не любит коммунистов?» — «Ну, конечно, не любит Идзуми-сан, иначе он не был бы эмигрантом? Ведь он же пришел с армией Каппеля». Тут японец радостно восклицал: — «Да, да, я знаю с армией Каппеля, я тоже думаю он очень хороший человек». —

Вообще, в японцах иной раз поражало удивительное сочетание необычайной подозрительности, шпиономании и какой-то примитивной наивности.

Я также часто бывал в бюро эмигрантов, помещавшемся в большом здании на Пристани, во главе которого был генерал генштаба Рычков, а после его смерти ген. от кавалерии Кислицин, который умер при очень подозрительных обстоятельствах в конце войны и затем последним ген. Власьевский, известный сподвижник атам. Семенова.

Третий отдел бюро, во главе которого стоял Матковский, сын ген. Матковского, расстрелянного большевиками в Омске, помещался в новом городе рядом с гостиницей Нью-Харбин.

Во всех отделах, и в военной миссии и в бюро эмигрантов, у меня было много приятелей и русских и японцев.

Как японцы постепенно наводняли с. Маньчжурию шпионажем и своими агентами видно хотя бы из следующего факта: в 1921 году японская военная миссия состояла из нескольких унтер-офицеров, одного лейтенанта, капитана во главе и одного русского-переводчика. В 1930 г. начальником военной миссии был уже полковник и 6 человек русских, б. офицеров, а после занятия с. Маньчжурии в 32 г. военную миссию возглавлял ген. майор, миссия уже имела три отдела и 40 чел. русских. К концу войны в 1944-45 гг. в японской военной миссии, в Харбине, было уже 146 человек русских в одном только 2-ом отделе.

Когда советская армия заняла Маньчжурию, все русские служащие были арестованы и отправлены в СССР — уцелели всего лишь несколько человек.

Как я уже сказал, у меня образовался большой круг добрых знакомых и приятелей. Японцы, в противоположность китайцам, не дураки выпить и поэтому очень часто составлялась компания и я, после какой-нибудь очередной проверки проводов, с кем-нибудь из японцев «забегали» в кабачек, где за рюмкой водки обсуждали политические события. Нередко составлялась большая компания из русских служащих миссии — тут мы обычно отправлялись в китайский ресторан где чудесно проводили время за изумительным китайским «чи-фаном». И русские, и японцы считали меня полностью «своим» и были при мне и со мной вполне откровенны. Из японцев особенно любили хорошо выпить Исикава и Фуроки — оба были переводчики из 2-го отдела и хорошо говорили по-русски. Они глубоко презирали, как впрочем все японцы, китайцев, мечтали о завоевании русского Д. Востока «хотя бы до Байкала», и терпеть не могли США. У меня было определенное впечатление, что под влиянием завоевания Маньчжурии, создания государства «Маньчжу-Ди-го» во главе с «императором» Пу-и, у японцев совершенно закружились головы и они потеряли всякое представление о действительности. Я помню какой восторг у них вызвало нападение у сопки Заозерной, а затем у Халтин-Гола-Номонхана. Японцы торжествовали: — «Да, да скоро большевикам конец. Наши войска займут Д. Восток — это будет очень хорошо, потом наши военные говорят — в

России не будет коммунизма, мы будем помогать русскому народу», — повторяли без конца одно и то же переводчики военной миссии. С фронта каждый день поступали победные реляции. Особенно сообщалось о сотнях сбитых самолетов. И вдруг, в один прекрасный день каменные лица и ни слова о боях у Номонхана. А затем целый год возили урны с прахом героев для погребения на родине. Русские эмигранты остроумно прозвали эти урны «Пухи — прахи». Начальник военной миссии ген. Хата устроил по этому случаю — окончание боев у Номонхана — банкет для всех служащих военной миссии. Был, конечно, приглашен и я. Хата первый поднял чашечку сакэ и по-японски всех поздравил с окончанием войны.

Чтобы увековечить это событие японцы воздвигли на площади против Николаевского собора часовню-памятник некоему русскому парнику Натарову, который пошел добровольцем в японские войска и был убит под Номонханом.

Ну, а затем в военной миссии ревностно принялись изучать причины японского разгрома. Была выписана очень хорошо изданная книга в красном коленкоровом переплете тисненном золотом «Как мы били самураев». Книга состояла из заметок, писем, статей участников боев и японцы тщательно все это переводили, а русские служащие составляли списки фамилий бойцов и названия воинских частей. Все делалось в полном молчании и о поражении, разумеется, не было сказано ни слова.

Однако, я видел, что настроение японцев заметно изменилось, разговоры о «завоевании» Дальнего Востока как-то прекратились и все внимание было перенесено на войну в Китае.

«Да, да конечно, надо сначала кончить войну в Китае, — говорили они, — Чжан-Кай-ши очень помогают СССР и США, но это ничего — мы победим».

Совершенно исключительное впечатление произвел «пакт», заключенный между Сталиным и Гитлером. Японцы словно окаменели, а русские, служащие военной миссии, открыто возмущались и утверждали, что «все равно из этого ничего не выйдет».

Как бы то ни было наступил 1939 год. Я на всю жизнь запомнил этот день 1-го сентября. Стояла чудесная погода маньчжурской золотой осени. Около 10 часов утра по улицам

вдруг побежали китайцы-газетчики с телеграммами: — «Война: Германские войска перешли границу Польши и молниеносно наступают!»

С этого момента мне часто приходилось кривить душой и испытывать моральные мучения. Японцы при всяком удобном случае спрашивали меня о настроении русских — они, конечно, были на стороне немцев, а русские-служащие миссии — захлебывались от восторга и все свои надежды на свержение совладасти возлагали на Гитлера. Они, в большинстве, была уверены, что одной Польшей дело не кончится. Я же был другого взгляда. Мы, латыши, хорошо знали немцев и для нас хуже немцев ничего не могло быть. А победа Гитлера означала, что вся Прибалтика окажется в руках немцев.

События разворачивались быстро. Выступила Англия и Франция. Польша была разгромлена в две недели, а затем, после 8 месячной «передышки», в 5 недель наголову разбита Франция. Англичане едва ушли через Дюнкерк. Японцы были в восторге и захлебывались от злорадства. Вбирая воздух и давясь от смеха: — «Вс... Англичане... ааа... Дюнкерк... холосо». — А 22-го июня 41 года те же газетчики-китайцы неслись по улицам Харбина с телеграммами возвещавшими об объявлении Германией войны СССР. Японцы ликовали, радостно-торжественно глядели русские — служащие военной миссии и разных японских учреждений, но, однако, надо сказать, в массе своей русское население далеко не разделяло этой радости.

Радио, газеты ежечасно, каждодневно сообщали о стремительном наступлении немцев. Танки Гудериана неслись к Москве. Японцы торжествовали. Однако, под Москвой произошла какая-то задержка. Несмотря на строжайшее запрещение все таки многие слушали Москву-сводку ТАССА. Слушал конечно и я. Для меня это не составляло никакого труда, т.к. в кабинете Иноуэ, у нас на заводе, было радио и он сам почти всегда слушал сообщения из Москвы. Японцы несколько приутихли.

И вот, через шесть месяцев после начала войны, чистая случайность, как мне тогда казалось, изменила всю мою дальнейшую жизнь. Мне как-то позвонил по телефону мой друг и земляк, латыш В. Он приглашал меня с женой и сыном на обед. В. имел на Пристани свой мануфактурный магазин и его частыми клиентами были служащие советского консульства.

Дело в том, что В. его жена и сын 22 летний парень — ровесник моего сына — были, как их называли в Харбине «Старыми советскими гражданами» т.к. у них с 24 г. была квитанция на получение совпаспорта. Нас сближало еще и то, что и мой сын и сын В. оба учились в Харбинском политехническом институте на одном факультете.

Японцы всячески притесняли «старых советских» но на моем друге это никак не отражалось — у него был собственный дом и магазин и он был достаточно обеспечен. Я же никакого паспорта кроме латвийского не имел, и служа у японцев, никакого дела с совконсульством не имел.

На обеде оказалось довольно многочисленное общество — все «старые советские» и среди них трое из советского консульства. Один из них был вице-консул Михайлов. Он оказался моим соседом. Была обильная закуска, хорошая выпивка и отличный обед, затянувшийся до полуночи. Двери были плотно закрыты и то и дело поднимали рюмки и стаканы за победу, за союзников, за героическую защиту Москвы и т.д. Когда уже все были основательно навеселе, Михайлов начал меня расспрашивать, где я работаю, давно ли служу у японцев и неожиданно вдруг заявил, что он очень бы хотел со мной поближе познакомиться и хорошо было бы нам где-нибудь встретиться. Затем, когда завели викторолу мы с Михайловым отошли к окну и тут он начал мне говорить о том, как русский народ героически сражается, как все должно быть направлено на то, чтобы покончить с Гитлером и т.д.

В общем, я на свидание согласился. Впоследствии я, между прочим, узнал от того же моего земляка В. что во многих квартирах «старых советских» по просьбе консульских служащих устраивались такие встречи с эмигрантами для знакомства с настроением и, конечно, для ведения среди эмигрантов соответствующей пропаганды. Эти «старые советские» постоянно приглашались и в совконсульство на различные приемы которые там присходили, на елку на Рождество (Новый год), на 7-ое ноября.

Между тем, пока все шумно разговаривали, а кое-кто потихоньку даже напевал какие-то песенки, Михайлов назначил день встречи — на послезавтра — и час, на нашем берегу в конце улички. Я жил с семьей за Сунгари. Решено было, что

я буду на месте ровно в 10 вечера. В этот час берег совершенно пустынен и ни одной живой души не встретишь.

Было довольно поздно, когда мы начали прощаться и осторожно, по одиночке, стали расходиться. При японцах жизнь города замирала рано. В 6 час. японцы ужинали, в 8-9 уже ложились спать. Кино кончалось в 10 час. Театр, концерты были редкостью и обычно к 9 час. город уже затихал.

Жене я рассказал о нашем разговоре с Михайловым только когда мы пришли домой — я не хотел, чтобы сын знал об этом.

Поначалу жена пришла в полное смятение. Мы всю ночь не спали. — «Боже тебя сохрани, — говорила она, — ни под каким видом не ходи ни на какие свидания. Они же тебя могут предать, ты окажешься всецело в их руках, разве можно с ними иметь дело». — Как бы-то ни было я решил пойти на свидание. Чем я рисковал? Ну, и не скрою был захвачен патриотическими чувствами, как многие. Да и работать против немцев и японцев я находил благим делом. «Только ни под каким видом не бери от них денег, уж если ты решил им помогать, то помочь должна быть чисто идейной, ни в коем случае не связанная с материальными интересами», — говорила мне жена.

Итак, в назначенный час, я стоял в тени последнего дома на нашей уличке и вглядывался в мерцающую, синеющую даль ледяного покрова Сунгари. Была ясная, морозная январская ночь. Ярко сияли звезды. В такую ночь перед лицом бесконечного, невольно предаешься размышлению. Вспомнилась молодость, Латвия, наша ферма, родные поля, наше Балтийское море. Потом русская гимназия, Петербург, институт. Вот я получаю звание инженера-электрика, женитьба на русской. Почти четыре года на фронте.

Я так замечтался, что не заметил как ко мне подошел человек. Действительно это был как будто призрак: он шел то исчезая, то как-то смутно появляясь ...И вдруг в нескольких шагах от меня вырос Михайлов.

Эта способность так необыкновенно, скрытно, почти невидимо ходить, меня всегда поражала в Михайлове. Надо думать, он прошел хорошую школу, чтобы уметь так изумительно скрываться.

«Привет т. К-н, проговорил Михайлов, — что боитесь? Не доверяете? Вы должны помнить, что мы работаем для ро-

дины. Вас не оставят, о своей судьбе вы можете не беспокоиться... Нас сейчас интересует работа военной миссии, осветите нам работу второго отдела, откуда они получают сведения? Что им известно о нашей дальневосточной армии? Вам хватит двух недель? Ну, скажем, встретимся тут же через две недели в 10 час. вечера — согласны?» — Пока он говорил мы медленно шли по улице, кругом было тихо и пустынно. — «Ну и так т. К-н, действуйте, мы будем вам хорошо платить за работу, об этом не беспокойтесь» — «От платы, т. Михайлов, позвольте отказаться, я считаю, что работа идейная и рисковать жизнью за деньги я не хочу и не могу и потом... я не буду чувствовать себя связанным». — «Об этом вы не думайте, я понимаю, вы нам не доверяете, но, повторяю, о своей судьбе и судьбе вашей семьи не беспокойтесь — понятно? А насчет денег, что отказались, так это хорошо, но помните — если будут нужны, вы мне скажете». — «Благодарю вас, т. Михайлов, но об этом не может быть речи».

«Ну теперь надо расставаться. Моя машина на том берегу. Итак, через две недели в 10 час. вечера. Не забудьте. Я непременно хочу побывать и у вас, познакомиться поближе с вашей женой... ну, это потом надо будет устроить... ну пока». — Михайлов говорил быстро, все время вглядываясь в глубину улицы. Он быстро протянул мне руку, отошел от меня и так же незаметно исчез, как появился. Я пошел домой мучительно раздумывая. Мне было ясно, что задание, которое я получил было своего рода испытанием, дальше наверняка буду интересоваться более серьезными вещами...

Жену я застал в большом волнении, она очень беспокоилась за меня. Сын был в своей комнате, готовил очередной зачет. Ему, конечно, мы ничего не говорили. Он и без того был так патриотически настроен, что его все время приходилось сдерживать и напоминать, чтобы был осторожнее.

Так началась моя работа в советской разведке в тылу у японцев. Две недели, почти каждый день, происходили у меня встречи со служащими военной миссии 2-го отдела. Это все были офицеры б. царской армии, непримиримо настроенные против большевиков. Они ничего не хотели слушать и принимать во внимание: — «Победа Гитлера спасет русский народ от коммунизма», — твердили как заученный урок. — «Немцы захватят Украину? — возражали им — «Ну, что-ж пускай, —

отвечали они. Чтобы спасти организм от заразы, отсекают гангренозную руку или ногу зато человек жив остается. Обойдемся и без Украины, зато немцы наведут порядок». — «Ну, а если японцы захватят Д. Восток?» — «Японцы? Этих бояться нечего, у них ничего не выйдет, а займут — так их быстро изживут... японцы не страшны». — Вот каковы были настроения этих капитанов, полковников и генералов б. царской армии. Между прочим, весьма характерно, что все эти люди, служа у японцев, относились весьма скептически к их талантам и «великодержавию великого Ниппон».

Приходилось бывать в кабачках и за рюмкой водки узнавать о работе того или другого отдела. Приходилось «забегать» к японцам будто для того, чтобы сообщить какую-нибудь последнюю «новость», слышанную на улице и за разговором узнать, что думают японцы относительно войны, Германии, положения в СССР и т.д. Все это не представляло для меня особого труда, потому что я был вне подозрений.

Японцы, с которыми я каждый день встречался, все как один говорили, что гибель США предрешена, что США будут разбиты. — «Ведь вы понимаете К-н-сан, что у американцев кроме интересов материальных ничего нет. У них на первом плане доллар, а у нас, японцев — дух». Я обыкновенно молчал, только кивая головой.

25-го января, в день Татьяны, я опять встретился с Михайловым. Он также незаметно вынырнул из тени, но на этот раз быстро сунул мне в руку тоненькую трубочку из папиросной бумаги, схватил мою записку и шепнув: — «за мной следят, идите прямо, второго в 10 с половиной, записку уничтожьте» — исчез в темноте.

Я пошел домой. В записке стояло: — «Осветите работу в школе диверсантов». Это задание было трудное. Такая школа существовала. Японцы основали ее вскоре после Халтин-Гола. В этой школе обучались около 100 японцев русскому языку и с десяток русских, сугубо правоверных, которые должны были засыпаться на территорию Д. Востока СССР под видом «коммунистов». Затем была довольно глупая, из нее ничего не вышло, кроме того, что несколько русских молодых людей — горячих голов перешли границу, были схвачены и расстреляны. Тем не менее консульство было очень обеспокоено этой школой. Преподавателями были 6 человек, б. русских офицеров

царской армии, служащих военной миссии. Это были люди мечтавшие о победе Гитлера и Японии. Они пользовались полным доверием, насколько это можно у японцев, посылались в командировку в Японию, выступали в Токио в военной академии с докладами о положении в СССР, о неминуемой победе Гитлера. Кроме этой школы «диверсантов» была еще открыта школа военных переводчиков, где обучались унтер-офицеры русскому языку на случай оккупации русского Д. Востока.

Мне удалось очень подробно все узнать и описать. В назначенный день 2-го февраля мы встретились в условленном месте и я передал записку. На этот раз Михайлов был спокоен и неожиданно сказал: — «Как у вас дома? В следующий раз я хотел бы побывать у вас, давайте встретимся 5-го в 10 час. на этом же месте». В назначенный день и час я стоял на берегу и гляделся в быстро приближающуюся точку — «толкай-толкай» (лодка с китайцем-лодочником).

Мы прошли к нам. Нас встретила жена. Михайлов, видимо, был не совсем спокоен, попросил потушить лампу и оставить свет только в углу на этажерке. Сразу спросил, где сын? Мы ответили, что уехал в город к товарищу готовиться к зачету и у него будет ночевать.

Очень пытливо осматривая нашу комнату, он еще раз спросил, нет-ли кого в других комнатах, потом начал убеждать меня побывать с ним в совконсульстве: — «Боитесь? Думаете у нас подвалы ЧЕКА? Исчезните? Это ведь всё выдумки наших врагов». — «Ну, как выдумки, — сказала жена, — ведь-люди то у вас исчезали? А наши железнодорожники, которые поверили вам и поехали в СССР — где они теперь?»

Лицо Михайлова стало на минуту жестким, но он быстро овладел собой: «Все на свободе. У нас, вообще, полная свобода, кто это вам все наговорил?» — «Свобода! А критиковать правительство можно? Можно, например, говорить, что вы недовольны теми или другими мероприятиями Сталина?» — продолжала жена. — «Ну, отчего же, критикуйте пожалуйста. Это никому не возбраняется» ... Вскоре Михайлов как бы спохватился: — «Двенадцатый час. Мария Александровна, вы нас извините, может быть на минуту оставите нас вдвоем?» Жена вышла, а он мне передал задание: — «Какие работы сейчас ведет Кондо? Какие выполняет заказы на армию?» — Затем он стал прощаться. Вошла жена. — «Итак, — сказал он, —

в пятницу в 9 с половиной вечера в Новом Городе на углу Садовой и Хайларской».

Я приготовил сообщение о заказах армии. Завод наш изготавлял в большом количестве сани для армии, перевозочные средства, начиная с двухколок и затем детали для постройки бараков — стены, рамы и пр. Около девяти вечера мы с женой вышли из дома. Сыну сказали, что идем к знакомым и вернемся поздно. На берегу сели в «толкай-толкай», плотно закутались полостью и быстро заскользили по льду Сунгари, подгоняемые бамбуковым шестом, которым китаец за нашими спинами быстро и равномерно отталкивался. Вот и тот берег, Пристань. Решили идти пешком. В это время в трамваях много народа, могут случайно встретиться знакомые — начнутся распросы: куда, да зачем и т.д. Путь, правда, был не близкий — через всю Пристань, затем Новый Город, в конце Садовая. Михайлов очевидно и назначал это место, т.к. эта улица была всегда пустынна, а по вечерам в особенности. Нигде ни души, разве попадется какой-нибудь случайный прохожий.

Когда мы подходили к условленному месту на углу Садовой и Хайларской, то увидели большую черную машину и около нее Михайлова: — «Ну, вот хорошо, — быстро сказал он, вместо всякого приветствия, — садитесь скорее»...

Мы понеслись по Садовой. В конце этой улицы было консульство СССР. С противоположного угла улицы, яркий луч прожектора из высокой будки, освещал решетчатые, чугунные ворота с блестящим гербом СССР. — «Опуститесь вниз», — сказал Михайлов и сам сел боком, загораживая нас. Мы влезли в ворота, которые словно по волшебству распахнулись перед нами и сейчас же закрылись. Мы были на территории СССР. Было немного не по себе. А вдруг не выйдем? Что если нас отсюда не выпустят? — мелькнуло в голове. Мы вышли из машины. Перед нами большое двухэтажное здание консульства, влево стояло длинное, тоже двухэтажное здание-флигель. По наружной лестнице мы поднялись во второй этаж. И оказались в длинном зале, по стенам которого, до потолка, стояли книжные полки, а в конце был экран. Стоял круглый стол, на нем две бутылки вина, большая ваза с фруктами, бокалы, сигареты. Три мягких кресла. Михайлов пригласил нас сесть. Свет погас и зашуршал кинематограф. Первый фильм был: «Парень из нашего города».

После фильма был показан хор красноармейцев на фронте, в боевой обстановке. Пел хор прекрасно. Наконец, какой-то артист во фраке, с большим подъемом, читал стихи Симонова. Все было проникнуто глубочайшим патриотизмом и этот патриотизм захватил и нас. Мы пили кахетинское вино, много курили, жена с удовольствием ела фрукты, которые при японцах были редки и дороги.

В первом часу сеанс был окончен. Расчет — возбудить в нас патриотические чувства был достигнут. Мы на темном дворе также сели в машину, опустились ниже сиденья, в чрезвычайно неудобной позе, Михайлов сел боком и машина, взяв с места, вылетела из таинственно распахнувшихся ворот.

Недалеко от берега Сунгари, в темном переулке, мы высадились. Михайлов назначил очередную явку и мы, потрясенные и взволнованные, пошли домой. Ночь мы не спали. Теперь мы были полностью с СССР — это была наша страна, наша родина, мы служили общему делу вместе с союзниками.

Через несколько дней, как обычно в 10 с половиной вечера мы встретились с Михайловым на прежнем месте. На этот раз он передал мне миниаторный, очень сильный фотоаппарат и просил сфотографировать все чертежи, проекты, планы, которые имеются у Кондо на сделанные заказы для армии. Дело было и сложное и опасное, однако оно облегчалось тем, что сторожа были китайцы. Надо сказать, что у китайцев совершенно отсутствует шпиономания, затем они в огромном большинстве в душе ненавидели японцев и, наконец, за долгую нашу службу вместе, китайцы ко мне очень привыкли, полностью доверяли и я в контору мог входить совершенно свободно когда мне угодно.

Вопрос был лишь в следующем: надо было сделать ключ к письменному столу директора Иноуэ, затем сфотографировать соответственные бумаги. Я несколько дней думал как это лучше сделать — днем или ночью? На всю операцию у меня было две недели. Работать днем, конечно, было легче, но много рискованнее. Дело в том, что Иноуэ два раза в неделю — по средам и пятницам — являлся в 11-11 с половиной утра, т.к. в эти дни он бывал в военной миссии и в конторе никого не было: тут были только кабинет Иноуэ и моя комната с моими инструментами. Бухгалтерия находилась при заводе во дворе. Правда, днем в контору часто заходили служащие

китайцы и русские. Среди служащих на заводе было двое русских, в качестве надсмотрщиков специалистов по фанере. Вот этих-то русских я больше всего и опасался. Отношения у нас были хорошие, но оба были ярые антисоветские.

После долгих размышлений я решил снимки сделать ночью. С ключем дело обошлось легко — мне не пришлось делать никакого слепка, удалось просто подобрать в отсутствии Иноуэ подходящий ключ из моей обширной коллекции. Дома я предупредил, что ночевать не буду. Весь день я провел в отеле «Нью-Харбин» и только под вечер зашел на завод, когда все расходились.

Иноуэ, который тоже собирал свои бумаги в портфель, я сказал, что останусь на несколько часов, чтобы проверить провода рабочего тока, что я хотел давно сделать, но днем не успел, т.к. был занят в отеле. Может быть придется даже и переночевать здесь, добавил я. — Да, да конечно, если это надо... — сказал Иноуэ.

Для вида я обошел завод, осмотрел машины и электропроводку, затем зашел в барак к китайцам сторожам, которые жили с семьями в двух небольших квартирках. И вернулся к себе. Чтобы убить время я стал подробно рассматривать карты: германский фронт на западе у Сталинграда и карту военных действий на востоке — в Тихом океане. Был 43-й год, бои шли в самом Сталинграде. Я сидел за столом Иноуэ. Странное дело: как ни трагично, казалось, складывалось положение у Сталинграда — я никак не верил в победу Гитлера.

Я думал о многом и не заметил, как стрелка стенных часов подошла к 9. Пора была начинать. Сегодня дежурным сторожем был Миша, у него были контрольные часы. Я ему сказал, что буду в конторе и что он может не заходить. Я открыл средний ящик стола. Там лежали несколько плотно скатанных рулонов чертежей. Начал их раскатывать. Это были чертежи саней-розвальней, размеры полозьев, стоек, оглоблей, стояли цифры в тысячах и столбцы иероглифов — очевидно пояснительные надписи. Затем, было несколько рулонов с чертежами частей разобранных деревянных бараков и с образцами печек и дымоходов к ним. Сомнений не было — это все были заказы для квантунской армии на случай похода зимой в Сибирь.

Все это требовалось снять. Прикреплять рулон кнопками было нельзя, остался бы след от кнопок. Приходилось каждый

рулон раскладывать и по углам класть тяжести: ключи, клещи, коробочки с гвоздями. Все это было в моем хозяйстве, в моей комнате. Рулонов было 22 штуки. Снимать их много времени не отнимало, но раскладывать каждый рулон было сложнее и я очень опасался, что мне не хватит ночи. У меня были патроны с магнием и револьвер с рефлектором. Я наставлял аппарат и нажимал курок, происходила яркая вспышка. Окно я плотно закрыл гардиной. Но не успел я сделать 7 снимков, как в дверь раздался стук. Это был очень рискованный момент. В одну минуту я свернул рулоны и сунул их в стол, сгреб по карманам тяжести и пошел открывать дверь. Стук повторился. Я открыл дверь — передо мной стоял Миша. Он говорил на том русско-маньчжурском диалекте, который так укоренился в Маньчжурии. — «Моя думай, шибко светло в комнате, его мал-мала видно в окно, моя боится пожар-ю, моя думай ваша спи». — Я его успокоил, сказал, что свет был от замыкания, когда я проверял рубильники. Миша вошел и явно был распределен к беседе. Получив сигарету, он сел и с удовольствием закурил. Начал он на свою любимую тему: — «Его японские люди шибко сворочи-ю», — говорил он затягиваясь сигаретой. — «Его ничего китайским людям не давай — 15 дзинь чумиза (дзинь — 500 грамм), 15 дзинь гаолян, мал-мала бобовое масло-ига раз в месяц. Ваша как думай его Америка победит?» — Все китайцы всегда возлагали свои надежды на США. К СССР относились скептически. Америка китайца пленяла своим богатством, в СССР же, по их мнению, было много бедных, хотя о победах советских отзывались с уважением. С истинным восторгом китайцы всегда говорили о жизни в Маньчжурии при русских: — «Русские люди шибоко хо. Когда русские живи Маньчжурия, все живи хорошо. Русские живи и китайцы живи. Русский человек сам фацай-ю («фацай»-прибыль, достаток) и его китайским людям тоже фацай давай («ю» — глагол иметь). На эту тему Миша, который знал меня с 22 года и мне полностью доверял, мог со мной говорить без конца, особенно если он пускался в воспоминания о прежней жизни в Маньчжурии.

Он родился в Маньчжурии и пришел в Харбин 22 летним парнем, стал разносчиком овощей и фруктов — его клиентами были русские. Это было в 1910 году. Уже через 6 лет Миша имел в компании с двумя китайцами, свою мелочную лавку

а к приходу японцев в 32 году, Миша уже был «купец» и жил с достатком. При японцах дела пошли плохо, начали душить налоги, русские стали беднее и много хуже стало с товаром. А когда началась война, наступило полное разорение — товара не было, торговать было нечем, пришлось снова стать разносчиком, но торговать из-под полы запрещенными продуктами: салом, мясом, рисом. Это могло кончиться японским застенком, пытками и смертью: японцы замучивали за горсть риса. И Миша пошел в сторожа. Я его давно знал, т.к. был постоянным покупателем в его лавочке, китайцы-торговцы на всю жизнь сохраняют теплые чувства и привязанность к тем, с кем были так или иначе связаны коммерческими делами и, в особенности, к бывшим клиентам, которые давали им «фацай».

Был второй час ночи. Миша разошелся, пустившись в воспоминания. Однако, надо было кончать: — «Миша, а ты не пропустил время?» — спросил я. Миша спохватился открыл крышку футляра часов и вскочил. — «Ну, ты делай свой обход и можешь сюда не заходить. Я скоро кончу и лягу спать», — сказал я. Лишь только Миша исчез, я плотно закрыл двери, принялся за работу. На этот раз мне никто не мешал. К 6 с половиной утра все было сделано. Еще стояла ночь. Я прилег на диван и крепко заснул до 9 час. Инуэ еще не приходил. Миша принес мне чайник, булку и молоко.

Мы встретились с Михайловым, как было условлено, опять на нашем берегу в 10 час. вечера. Я передал сверток с пленками и аппаратом. Тут Михайлов стал настаивать, чтобы я вместе с ним сейчас же поехал в консульство. — «Пока будут проявлять пленку, мы посмотрим фильм, надо сейчас же выяснить как вышло?» — «Но, т. Михайлов, жена будет очень волноваться. Ей и так наши свидания дорого стоят». — «Ничего, ничего, пускай потерпит, зато потом мы вас наградим, можете не беспокоиться». — Он так настаивал, что скрепя сердце пришлось согласиться. Сейчас это было особо опасное предприятие, п.ч. японцы уже несколько месяцев назад установили особо строгую слежку за консультскими чинами.

Это весьма нервировало советских чиновников и они были убеждены, что Япония готовится напасть на СССР. Из Москвы даже пришло распоряжение отправить все семьи в Москву.

Подъезжая к консульству, мне пришлось опять опуститься ниже сиденья, Михайлов сел боком и машина, ярко освещенная

лучом прожектора влетела в ворота. Мы поднялись по лестнице и вошли в тот же зал. Также стоял стол, но накрытый на двух из чего я заключил, что Михайлов уже заранее решил меня привести в консульство. Он усадил меня, протянул сигареты, налил вина и сказав: — «Ну я сию минуту» — взял мой сверток и исчез. Я сидел, курил и размышилял — удивлялся тупости японцев: подозрительный, лукавый народ, а что делается у них под носом не видят. Затем мне вдруг пришло в голову, что может быть у Михайлова все заранее подготовлено и в дни когда кого-нибудь привозили в консульство — я был убежден, что не мы одни попали сюда таким же образом — в будке сидели японцы подкупленные консульством?

Минут через 20 пришел Михайлов. Он был очень доволен — все снимки прекрасно вышли. «Завтра наш переводчик переведет текст — всё вышло очень отчетливо», — заявил он. — «Ну а теперь посмотрим картинку», — и он сел в кресло. Свет погас. Первый фильм был очень смешной: в цирке собачка изображала Гитлера, Геринга, Гебельса... потом шли отрывки из опереты «Сильва». Тут Михайлов впал в сентиментальное настроение и все время умиленно шептал: — «А ведь хорошо, очень хорошо, не правда ли?» — Наконец, была показана школа танкистов и разные маневры с танками. Михайлов совсем расчувствовался, усиленно подливал вино и, казалось, совсем забыл о времени, а между тем шел уже второй час. Я ему напомнил: — «т. Михайлов, мне пора», — на это он мне ответил своим обычным приемом: — «А что боитесь? Страшно?» — На него иной раз находил какой-то стих bravады и он как будто слегка издевался — «Боитесь? Страшно?» — что меня всегда злило, тем более, что я сам видел его несколько раз растерянным и испуганным. — «Ничего я не боюсь, — сухо сказал я, — а просто считаю, что рисковать глупо». — «Хорошо, хорошо, — ответил он, — сейчас едем». — И словно я предчувствовал, что мы попадем в серьезную переделку: только что мы выехали из ворот, как за нами ринулись два мотоциклиста. Я быстро опустился вниз. Машина была с задним стеклом и нас сквозь просвечивали фары мотоциклетов. Началась бешеная гонка. Консультский шофер был на высоте — он мчался по улицам, на всем ходу сворачивал, влетал в узкие переулки...

Я уже начинал думать, что наше дело безнадежно. Ми-

хайлов сидел бледный и все время оборачивался назад: — «Может быть вам придется заночевать в консульстве, если только не оставят они нашу машину», — говорил он. В это время шофер круто свернул направо и мы понеслись вниз к Фудацзяну (китайский город рядом с Харбином). Там была масса узеньких темных улочек и весь рассчет его, повидимому, был основан на том, чтобы «затеряться» в этом лабиринте. Едва мы влетели в город, как он начал, с необычайной ловкостью поворачивая на всем ходу, почти на месте, нырять в темные китайские переулки. Мотоциклеты с грохотом проносились мимо, чтобы через несколько секунд вынырнуть из-за угла и нестись снова за нами.

Фудацзян был совершенно пустынен — ни одного проходящего, ни одного полицейского и никогда никаких ни грабежей, ни убийств — таков Китай.

У меня между тем наростало чувство злобы против Михайлова. Мне казалось, что он был виноват в том, что мы попали в такое положение. Он знал, что у консульства дежурят мотоциклеты, что японцы усиленно принялись за слежку и он не должен был меня уговаривать ехать в консульство.

Словно угадывая мое настроение он вдруг сказал: — «Послезавтра до 12 позвоните в консульство, скажите только одно слово «привет» — понятно?» — Я молчал. — «Что страшно, боитесь?» опять заговорил он. — «И не страшно и не боюсь, ответил я, — но только очень неосмотрительно и глупо». — «Ну, в крайнем случае переноочуете у нас, во всяком случае про телефон не забудьте» — Тут я вдруг почувствовал насколько Михайлов человек без всяких чувств. Если меня завтра повесят — ему будет решительно все равно — его главная забота не «засыпаться» самому — тогда его карьера кончена — думал я.

В это время наш шофер с ловкостью нырнул в один заулок, круто повернув в совершенно темный переулок и еще раз в какую-то уличку. Мотоциклы проносились мимо. На полном ходу, шофер со скрипом затормозил и, полуобернув голову к нам, прошептал: — «Скорее, товарищ, скачите». — Я ни секунды не теряя распахнул дверцу и почти на четвереньках выбросился из машины.

Быстро вскочив я тут же бросился в простенок между двумя фанзами. Это было как раз во время — через полминуты

пронеслись мотоциклеты, вслед за удалявшейся консультской машиной. У меня вырвался вздох облегчения. Вынул сигареты и осторожно закурил. Где-то лаяли собаки. Гулко доносился шум удаляющейся машины и грохот мотоциклетов. Тут я еще раз подумал, что хорошо, что в Китае нет ни грабежей, ни убийств. Весь Фудацзян спал, погруженный в кромешную тьму, только большие улицы были скучно освещены редкими фонарями.

Я решил выйти на набережную и идти по берегу Сунгари до того места, где напротив был «Затон» — там перейти Сунгари и направиться домой. Измученный и морально и физически в 7-м часу я добрался домой. Бедная жена была в таком нервном состоянии, что открыв мне дверь разрыдалась. Она, как мне сказала, «чувствовала» что я поехал в консульство и думала, что я попался. — «Им верить нельзя», — твердила она, — они могут предать и глазом не моргнут, и сына загубишь, и я пропаду вместе с вами».

Я прошел в спальню и лег на кровать. Выспавшись, я отправился в город к себе на завод, по дороге зашел в «Модерн» и из телефонной будки позвонил в консульство. «Привет», сказал я и через минуту услыхал голос Михайлова. Он назначил свидание на следующий день в Новом Городе на углу Лаоянской и Почтовой улиц. Это было глухое место и в поздний час всегда безлюдное.

День я провел в конторе, обедал в китайской харчевне, затем вернулся на завод и завалился спать у себя на диване, поручив Мише разбудить меня в 9 с половиной вечера. С Мишей было очень хорошо — он никогда ничему не удивлялся и ни о чем не расспрашивал.

Ровно в 10 я был на месте и сейчас же увидел фигуру Михайлова то исчезающую в тени домов, то на секунду появляющуюся. Подойдя ко мне, Михайлов протянул руку, крепко пожал, сказав: — «Ну, привет. Видите все обошлось, а минутами было неважно. Они нас проводили до самых ворот — мы им здорово нос натянули». — Он был на этот раз дружески настроен и, видимо, я теперь заслужил полное доверие. Прежде всего он начал с того, что заранее явок больше назначать не будет. Я должен звонить по телефону из разных мест и говорить только одно слово «привет». Звонить надо или до часу дня, или от 5 до 6 вечера. Разговор был короткий — Михайлов

назначал день недели и место, а час всегда был раз и на-всегда установленный — зимой до 1-го марта 10 час. а с марта и до 1-го ноября 11 вечера.

Следующее задание Михайлов задал — подробно обмерить все комнаты в здании, которое занимало Бюро эмигрантов. Это была довольно большая и сложная работа. Здание было большое, трехэтажное с большими комнатами, коридорами, залами. Тут, как я говорил, помещались 1-ый и 2-й отделы, а 3-й находился в Новом Городе. Я сказал, что необходимо проверить проводку, и шаг за шагом измерял квадратуру комнат, потом заходил в уборную и там записывал цифры. Так продолжалось более двух недель. Тут были все знакомые, с многими весело болтали, во время перерыва заходили с некоторыми в китайскую харчевню, выпивали рюмку водки под китайские пельмени. В большинстве случаев я «угощал»...

Когда я закончил эту работу, при очередном свидании я получил такое же задание в отношении «Нью-Харбин». Звонил я всегда из разных мест — гл. образом из гостиниц — на Пристань — «Модерн», в Новом городе — «Ориант» и «Гранд-Отель», раз даже позвонил от нас из кабинета Иноуэ, когда в пятницу он пришел только в двенадцатом часу.

Работа в «Нью-Харбине» никакого труда из себя не представляла, потому что я там был свой человек и мне только стоило сказать заведующему Идзуки-сан, что надо проверить провода и счетчики, как он сейчас же согласился и даже предлагал помощников, от которых я вежливо отказался. Но зато работы было очень много. Номера, коридоры, холлы, залы, бары были очень многочисленны в этом большом пятиэтажном отеле. И время на это ушло не малое.

Я долго не мог понять зачем консульству нужны были все эти сведения и только когда пришла совармия я понял в чем дело. В «Нью-Харбин» разместился штаб армии Малиновского, а в здании где было бюро по делам эмигрантов оказалось тоже бюро, но советских граждан.

Между тем, под Сталинградом, армия фон-Паулуса полностью попала в плен. Небывалый военный разгром ошеломил японцев. Они как всегда в таких случаях окаменели. Зато, представители военной миссии и единственная на русском языке профашистская газета «Харбинское Время» усиленно подчеркивали, что сталинградское поражение не более чем

«эпизод» в ходе войны, что всегда могут быть наряду с удачами и неудачи и что на общий ход военных действий этот «эпизод» никакого влиянияказать не может.

В сов. консульстве чрезвычайно интересовались и настроением эмиграции, и настроением японцев. Михайлов просил «подробно осветить», как русское население отнеслось к воззванию архиепископа Мелетия, какое впечатление произвел отказ последнего взять обратно послание. Дело в том, что новый начальник военной миссии ген. Дои отдал приказ, чтобы в церквях возносили молитвы в честь японской богини Аматерасу-оомигами, а храму Дзинцзя, выстроенному на площади против православного св. Николаевского собора, кланялись — все русские прохожие, включая школьников и священников.

У Мелетия представители от военной миссии просидели пол-дня, уговаривая его взять обратно воззвание в котором говорилось, что по закону христианской религии всякое поклонение идолам — греховно.

Затем, очень интересовались епископом Нестором и отношением к нему русского населения. Все это было не так трудно «осветить», зато с японцами дело обстояло многое сложнее. Они молчали — это всегда служило верным признаком, что дела идут у них плохо.

Кроме того, положение вообще стало каким-то тревожным. Ни один сов. консульский автомобиль, ни один пеший чиновник консульства не оставлялся без «охраны», за ними следовали по пятам. Стоит на китайской у магазина советская машина с красным флагом, за ней тут же машина с 3-4 японцами из жандармского управления. Они ждут когда консультские чины выйдут, чтобы следовать за ними. Теперь Михайлов даже и не знался, чтобы «приглашать» меня в консульство, а сам иногда приходил пешком на свидания, которые теперь всегда происходили в Новом Городе на разных улицах. Он как-то ухитрялся выходить из консульства незамеченным.

В городе совершенно прекратился церковный звон, фабричные гудки, сирены во время маневров, которые тоже прекратились. Никто ничего не понимал. Как всегда росли всяческие слухи. Говорили, что это «траур» по случаю Сталинграда, другие уверяли, что колокольный звон мешает японцам работать. Я всячески пытался узнать в военной миссии в чем дело: русские отговаривались незнанием, а японцы вбирали воздух,

что они всегда делали, обдумывая ответ и раздельно произносили: — «Да оо...ченны странно, о...че...нь страа...нно, нам это не...известно». — Спрашивал Михайлова. Михайлов пожимал плечами: «А черт их знает чего они испугались».

И вот только недели через две все выяснилось. Выходя из магазина Чурина, куда зашел, приехав из-за Сунгари, чтобы идти к себе на завод, смотрю мне машет Боков. Бокова я знал еще со времен гражданской войны. До революции он служил в полиции, в гражданской войне был у Семенова в Чите, в японской разведке, а затем и в Харбине. Его русские называли «ober-стукач». Он принадлежал к той группе про которую я уже говорил. Эти стукачи занимались «крупными» делами: следили за консульскими чинами, шантажировали богатых евреев, писали сводки о настроениях эмиграции. Ко мне он питал почему-то особую симпатию и, конечно, полностью мне доверял, зная, что я служу у японцев.

Я подошел к Бокову. Он, подавая мне руку, потянул меня немножко в сторону и, оглядевшись, сказал: — «Слыхали? Вчера ночью японцы молодого Гантимурова поймали?» — «Как поймали?» — «А вы что не знали?» — «Ничего не знал» — «Да ведь колокольный звон и все гудки запретили — знаете почему? Японцы засекли радио-передачу. Было обнаружено, что где-то имеется радио-передатчик, понимаете? Вот все шумы и прекратили. И, представьте, засекли ведь! Станция оказалась в районе Модягоу, где-то около дома Милосердия. Вчера в 12 ночи японцы бросились туда. Первым делом в дом Милосердия. Открыл им дверь сам Нестор. Они его отнихнули и принялись за обыск — конечно, ничего, ринулись в дом напротив — там им долго не открывали. Начали ломать двери. Ударили хозяина, все перевернули вверх дном, переломали вещи, разбили окна на веранде — ничего. А рядом, через дом, Гантимуровы — отец, мать, дочь и сын молодой инженер — знаете его? Как кончил политехникум поступил к японцам на радио-станцию, а когда началась война побежал в советское консульство — захотел ехать добровольцем в СССР. Ну, а ему сказали, что и здесь будет нужен. И вот, оказывается, ему консульство оборудовало на дому, в подполье, передаточную станцию и он занимался передачей сводок, которые давало ему консульство. Тунда? («Тунда» по-китайски — понимаете?). Долго японцы ловили, наконец запретили все звуки — и район

обнаружили. Вчера, когда наконец японцы к нему ворвались, Гантигуров вылезал из подполья. Его тут же схватили и начали избивать. Он упал, его топтали ногами и в машину втащили уже труп. Начальник военной миссии, генерал, сегодня утром лично приезжал к Нестору с извинениями, а соседям вручил 100 иен за учиненный разгром. Там они ужас что натворили, я думаю не на 100, на всю тысячу причинили убытка, да еще физиономию набили» — Боков рассказывал и весело смеялся.

Я не удержался — «А вы не находите, что это безобразие?» — «Ничего, батенька, лес рубят щепки летят. Этих советчиков душить надо, вот что. Нестор, говорят перетрусил — во как!» — «Ну, а что ж смотрело совконсульство, как же оно не предупредило своего агента? Ведь две недели не было звона, неужели это не вызвало ни у кого никакого подозрения? Ведь консульство могло предупредить Гантигурова? И, наконец, он сам, занимаясь передачами как он не мог догадаться? Он же должен был приостановить передачу». —

«Консульство? Да им, батенька, наплевать. Я прежде всего думаю, что может-быть они не догадались, а затем не хотели прерывать сообщений, а попался, ну, и черт с ним. А что ваши японцы говорят?» — «Да не знаю, я еще никого не видел». — На этом мы расстались. Разговор этот на меня произвел сильное впечатление, впервые у меня зародилось сомнение в тех, с кем я связал свою судьбу.

Мне пришлось много поработать над тем, чтобы подробно описать настроение эмиграции. Дело в том, что эмиграция была главным образом сосредоточена в Харбине и состояла из нескольких, совершенно различных национальных групп: великороссы, украинцы (две группы: — самостийники и большая за федерацию с Россией), татары, армяне, евреи. Евреи почти все за исключением 1-2 человек, были полностью настроены против Германии и ее союзников, и за СССР, США и Англию. Армяне были тоже против немцев. Русские очень разделились — средний класс и более простой люд: бывшие солдаты, мастеровые, крестьяне, огромное большинство б. служащих КВЖД — почти поголовно были патриотически настроены. Так же были настроены учителя, т.е. вообще педагогиче-

ский мир; были, однако, единицы непримиримо настроенные. Зато, главная масса б. офицеров, особенно служащих в разных отделах военной миссии, в японских учреждениях, в бюро эмигрантов были горячие поклонники Гитлера.

Но вот молодежь, и русская и национальных меньшинств, особенно после Стлинграда была на 95 если не на все 99 процентов, настроена просоветски.

Записка моя вышла довольно пространная — в 60 листов бумаги, написанных от руки. Все это я при очередном свидании и передал Михайлову. Тут же я не утерпел и спросил его про Гантигурова: — «Товарищ Михайлов, а вы знаете почему был запрещен колокольный звон?» — «Мы этим не интересовались», — ответил он. — «Да, но это стоило Гантигурову жизни, он ведь самоотверженно служил СССР. Я думаю вы об этом знали?» Лицо Михайлова стало жестким и неподвижным: — «Я не знаю, этим ведал другой товарищ», — ответил он, — о себе вы, во всяком случае, не беспокойтесь. Я уже не раз говорил вам, можете быть уверены, мы вас не оставим». —

(Окончание следует)

И. С. Ильин

БЕРЛИН 1942 ГОДА

Я приехал в Берлин в середине мая 1942 года. Это был момент наибольших успехов Германии в войне. В Африке Роммель подходил к границам Египта, а в России завершалось очищение от советских войск Керченского полуострова и подготавлялось грандиозное окружение трех армий Тимошенко под Харьковом. Звезда Гитлера приближалась к своему зениту и ничто не предсказывало близкого и страшного конца его грандиозных планов. Берлин в это время был действительно столицей Европы и многим казалось, что в самом скором времени он станет столицей мира. Германия и Япония были увенчаны славой непрерывных побед, и военное их могущество представлялось непреодолимым. На их небе, казалось, не было ни одного облачка, а небо их противников было затянуто грозовыми тучами. Гитлер для немцев был полубогом, вершащим судьбы народов на тысячелетия вперед, и одно мановение его руки сотрясало мир. Кто мог себе представить, что всего три года спустя над крышей рейхстага будет развиваться советский флаг, а под развалинами пылающей имперской канцелярии будет лежать обугленный труп Гитлера?

Берлин в то лето имел вид совершенно мирного города. И даже не верилось, что на востоке Европы шла смертельная борьба и широким потоком лилась человеческая кровь. Магазины еще были полны первоклассными товарами и многое еще можно было получить даже без карточек. Театры и кино были переполнены настолько, что достать билеты можно было только за несколько дней, да и то с большим трудом. Курфюрстенштадт и Унтер-ден-Линден в вечерние часы были запружены тысячами элегантных мужчин и дам. Среди военных преобладали отпускники и штабные центральных военных учрежде-

Эта рукопись — глава из подготовленной к печати книги «Великий мираж». Книга напечатана не была. Писалась она в 1945 году в Германии по личным впечатлениям. Нужных документов у автора под руками не было. Другие главы этой рукописи были недавно изданы отдельной брошюкой в изд-ве СБОНР, в Канаде.

ний, в новых, хорошо сшитых формах, с обязательными кортиками и даже длинными штабными саблями. Армия победителей блистала своей прославленной прусской выправкой, чистотой и образцовой дисциплиной. Изредка попадалась желтая форма африканского корпуса Роммеля. На обладателей ее смотрели с особенным уважением и восхищением: эта была гордость германской армии, наследники египетской армии Наполеона.

Метро и городская электрическая железная дорога были переполнены и на вокзале Фридрихштрассе во всех направлениях лился такой громадный человеческий поток, которого я не видел даже в Москве на станции метро «Охотный ряд». По многим линиям поддерживалось напряженное автобусное движение и только автомобилей на улицах было очень мало; на многих, никогда наиболее оживленных, улицах Берлина можно было совершенно спокойно ходить по середине мостовой. В этом наиболее явственно сказывалась война. Рестораны и кафэ во все часы дня были переполнены нарядной публикой. Почти каждый вечер радио передавало очередное чрезвычайное сообщение Германского Верховного Командования о новой победе, но эти сообщения стали привычны.

Несмотря на войну и на затемнение, уличная жизнь Берлина продолжалась до глубокой ночи. Английские и американские самолеты тогда еще залетали редко и небольшими группами, и немцы верили словам Геринга, что противнику никогда не удастся совершить крупный налет на Берлин. Рестораны официально работали до 11 часов вечера, но еще долго после полуночи в них можно было встретить постоянных гостей. Часто почти до рассвета можно было слышать песни запоздавшихочных гуляк и видеть в садах и скверах обнявшиеся парочки. Отпускники с фронта не хотели терять времени даром.

Мне, как и всем другим, кто впервые вырвался за пределы Советского Союза, многое казалось непонятным и невероятным за границей и в Германии в частности. Мы продолжали смотреть на все советскими глазами и преломлять все явления в свете привычной советской призмы. Нам было странно наблюдать спокойную посадку в трамваи и автобусы, без обычной у нас давки, толкотни и ругани, и казалось совершенно невероятным, когда кондуктор сходил на остановках

и помогал женщинам вносить в вагон коляски с маленькими детьми. У нас отводились специальные места в трамваях для женщин с маленькими детьми, но сколько труда стоило уговорить какого-нибудь нахала встать и освободить такое место. В Германии таких особых мест не было, но женщинам и старикам не приходилось стоять, им уступали места без напоминания. Гораздо позже, уже перед самым концом войны, грусть и хамство господствовали также и в германских поездах и трамваях, но это было уже вызвано нечеловеческим напряжением и усталостью всего народа. У нас же это напряжение и усталость дошли до своих крайних пределов еще задолго до начала войны.

Мы никак не могли привыкнуть, что при входе в магазин, покупатели здороваются с продавцем и тот благодарит их за покупку. Такая вежливость казалась нам совершенно излишней и даже несколько приторной. Мы хорошо помнили, как всегда ругались и стремились обмануть друг друга наши продавцы и покупатели и нам становилось смешно при одной мысли, что наш продавец мог бы поблагодарить за совершенную у него покупку. Смешно и немного больно. Это заставляло нас смотреть иными глазами на частную торговлю, которая, как нам внушали годами, основана будто бы только на взаимном обмане. Нам казалось непонятным, как могут магазины, рестораны, кино, театры и даже оптовая торговля принадлежать частным лицам и благополучно вести свои дела. Ведь нам внушали годами, что в эпоху империализма тресты и картели почти задушили во всех капиталистических странах, и в том числе и в Германии, всю мелкую и крупную частную торговлю и инициативу, а те мелкие частники которые еще не задушенны, стоят на грани полного разорения. Только гораздо позже мы оценили все преимущества частной торговли и поняли, что без нее немцам никогда бы не удалось так идеально наладить во время войны свою карточную систему.

Нас удивляла чистота на улицах и хорошее состояние немецких домов, исправные лифты, чистые ванные с горячей и холодной водой, образцово оборудованные кухни, предусмотрительная обдуманность всех хозяйственных мелочей и даже коврики и половики на лестницах. От всего этого мы давно отвыкли у себя на родине и радовались, как дети, неожиданно приобретенным удобствам. Очень скоро многие из

нас стали забывать, в каких условиях они жили дома и даже доказывали, что все эти удобства были и в советских городах. В этом сказывалось оскорбленное чувство национальной гордости и стремление показать свою страну в лучшем свете, чем она была в действительности. Только в разговорах между собой бывшие советские граждане признавались, какие горькие чувства вызывает у них созерцание благоустроенности и заужиточности населения страны несравненно более бедной, чем наша. Наша собственная нищета, грязь наших городов и запущенность наших домов особенно остро и болезненно воспринимались теми из нас, кому после пребывания в Германии приходилось возвращаться к себе на родину. Сейчас нам стало понятно почему советская власть так беспощадно преследовала всех тех, кто побывал за границей. Эти люди, с советской точки зрения, были заражены капиталистическим ядом и все, без исключения, подлежали изоляции от остального населения, как носители этой заразы.

Зажиточность германских крестьян казалась нам невероятной и все они, по советским понятиям, должны были быть отнесены к категории кулаков. Ведь даже одна корова и два десятка домашней птицы считались у нас громадным богатством. А тут мы видели у крестьян двухэтажные дома, с электрическим освещением и водопроводом, радио-аппараты, хорошую мебель и всевозможную посуду, большое количество одежды и обуви, почти ничем не отличающейся от одежды и обуви горожан. Состояние коров, лошадей и прочего домашнего скота, даже в последние годы войны, было превосходным и вызывало у нас зависть и восхищение. Невольно у каждого из нас постоянно возникал один и тот же вопрос: зачем было делать революцию, когда при частной собственности можно жить так хорошо? Мы искали везде пролетариат, об ужасных условиях жизни и нищете которого так много писали наши книги и газеты, и к нашему удивлению нигде его не находили. Во всяком случае того пролетариата, который был создан в нашем представлении трудами Карла Маркса и советской пропагандой. Все те, кого мы видели вокруг, скорее всего подходили к марксистскому определению мелкой буржуазии, но во всяком случае не к угнетенным и эксплуатируемым. Так ежедневные впечатления реальной жизни разбивали

на каждом шагу в сознании советских граждан, внедренные годами, установки марксистской теории.

Но больше всего нас поражала полная свобода и беспрепятственность передвижения не только внутри городов, во всякое время дня и ночи, но также и по всей Германии. Те советские граждане, которым удалось избежать лагерных условий, совершенно свободно ездили по всей Германии и никто им никаких препятствий не ставил. Для этого требовалось только иметь документ об исключении из положения «Остарбайтеров». Я сам в 1942 и 1943 гг. по чисто личным причинам и просто из любопытства ездил по несколько раз из Берлина в Вену, Дрезден, Мюнхен, Линц, Данциг и Кенигсберг и другие города, имея при себе только старый и давно просроченный служебный документ, а многие другие ездили и вообще без всяких документов. Поезда были всегда наполнены иностранцами всех национальностей и контроля никто не опасался. Мы вспоминали при этом, как в нашей «самой свободной в мире» стране, даже в мирное время, никуда нельзя было поехать без специального командировочного предписания или какого-либо другого соответствующего документа. Когда летом 1944 г. после высадки союзников в Нормандии были опубликованы в Германии ограничения поездок по железной дороге, они нам казались анекдотичными; так много в этих ограничениях было всевозможных исключений по мотивам чисто личного характера. Но в 1942 году еще никаких ограничений не было и все ездили совершенно свободно.

То же самое относилось к ночному хождению иностранцев по городу. Однажды, вскоре после моего первого приезда в Берлин, поздно ночью мне пришлось провожать одну русскую даму, с которой меня случайно познакомили в тот день в ресторане. Жила она очень далеко, где-то на окраине Берлина и нам пришлось около 40 минут ехать в метро до конечной остановки Крумме Ланке, затем 15 минут на автобусе и еще примерно 10 минут идти пешком по каким-то неизвестным мне улицам. Возвращаясь обратно в полной темноте и разыскивая остановку другой автобусной линии, т.к. к этому времени поезда метро уже не ходили, я раздумывал, в каком странном положении я окажусь, если меня задержит какой-нибудь случайный полицейский. Я не знал фамилии и адреса дамы, которую провожал и даже названия той части города, где я в

данный момент находился. Мне было известно только, что я должен как-то добраться до Курфюрстендумм, откуда я уже мог найти дорогу домой. Это я и объяснил на довольно плохом немецком языке кондуктору подошедшего автобуса. В почти пустом автобусе сидели два полицейских, слышавших мое объяснение с кондуктором, но ни один из них не обратил на меня ни малейшего внимания.

Сидя в автобусе, я вспоминал один неприятный, но весьма характерный случай, произшедший в Ленинграде за два года до войны с одним моим знакомым, майором Красной Армии и старым членом коммунистической партии. Как-то вечером он шел на именины к одной своей старой приятельнице и по ошибке зашел в подъезд соседнего дома, имевшего случайно точно такой же фасад, как и дом, в который он направлялся. В этом доме, на его беду, помещалось немецкое консульство. На лестнице он заметил свою ошибку и повернул обратно, но было уже поздно. Как только он вышел на улицу, к нему подошел какой-то штатский и предложил следовать за ним. Моего знакомого провели в подъезд соседнего дома, где, как выяснилось, помещался ночной пост НКВД, следивший за немецким консульством. Приведший его агент позвонил куда-то и с торжеством передал, что задержал шпиона, переодетого в форму командира Красной Армии. Через несколько минут подъехал закрытый автомобиль и «шпиона» с тортом и букетом цветов повезли в ленинградское областное отделение НКВД, где и продержали до половины следующего дня. Выпустили его только после того, как навели подробные справки в Генеральном Штабе Красной Армии, где он в то время служил. До этого ни документы о его высоком служебном положении, ни билет старого члена партии никакого впечатления не производили и его в глаза именовали не иначе, как шпионом. Вспоминая всё это, я живо представлял себе, что было бы, если бы в такое положение, как я, попал какой-нибудь немец или вообще иностранец в Советском Союзе, и где он провел бы остаток ночи?

Немецкая полиция, по моим наблюдениям, во многих городах Германии, и особенно в Берлине, относилась к громадному количеству иностранцев как к некоему стихийному бедствию и заботилась только о том, чтобы они не творили особых безобразий. Неудивительно, что при таких условиях

десятки тысяч бывших советских граждан, имевших счастье получить право жить на частных квартирах, видели Германию и немецкий народ совсем в другом свете, чем миллионы их сограждан, сидевших в лагерях за колючей проволокой. Первые сравнивали Германию с Советским Союзом и она им казалась чуть ли не самой свободной в мире страной, а вторым она представлялась сплошным концлагерем.

Попав в Берлин, я, как и сотни других бывших советских граждан, вполне естественно, больше всего интересовался жизнью и деятельностью русской эмиграции в Германии и тем, что делают немцы на фронте идеологической борьбы против большевизма. В занятых немцами областях Советского Союза идеологическая сторона их пропаганды против большевизма была очень слаба, но мы все думали, что это только явление местного характера и что в Берлине в этом отношении ведется большая работа. Но, с первых же шагов, нас постигло горькое разочарование.

Начну с того, что до предоставления нам права жить на частных квартирах, каждого из нас вызывали в Гестапо или СД и настойчиво «рекомендовали» держаться подальше от русских эмигрантов и не устанавливать с ними никакой связи. Таким образом немцы хотели воспрепятствовать объединению русских у себя в тылу. Кроме того нам давали подписать несколько комичное обязательство, что немецкие женщины остаются для нас неприкосновенными и что мы не будем их разворачивать. В этом последнем случае немецкие власти не имели особых причин для беспокойства и вышеупомянутое обязательство было совершенно ненужным, т.к. при установлении близких отношений с иностранцами атакующей стороной очень часто бывали немецкие женщины. Совета же не устанавливать связи с русскими эмигрантами никто из нас выполнять не собирался и мы только стремились делать это незаметно для немецких властей.

В жизни русской колонии в Германии наблюдался полный застой, особенно неестественный во время решающей борьбы против большевизма. Все русские эмигрантские организации были запрещены и некоторую деятельность проявлял только Национально-Трудовой Союз Нового Поколения. Но и эта организация была позже запрещена и ее руководители арестованы. Освободить их удалось генералу Власову только в кон-

це 1944 г., к этому времени вся организация рассыпалась. Устраивать какие либо собрания всем русским, как старым эмигрантам, так и приезжающим из занятых немцами областей Советского Союза, было категорически запрещено. Единственными местами встреч оставались несколько русских ресторанов в западной части Берлина, в районе Виттенбергплатц и немногие русские церкви. Рестораны были всегда переполнены, но среди гостей неизменно присутствовало несколько агентов Гестапо, а около русского собора и церкви на Находштрассе, где каждое воскресенье собиралось большое количество русских, немецкая полиция запрещала останавливаться и собираться группами. «Ост-арбайтерам» немецкие власти вообще запрещали посещать русские церкви, хотя это было бессмысленно со всех точек зрения.

Русская музыка и вообще русское искусство были запрещены и даже в русских ресторанах оркестр не имел права исполнять произведения русских композиторов. На всю Европу, за исключением Балкан, издавались только две русские газеты: «Новое Слово» в Германии и «Парижский Вестник» во Франции. Последний был разрешен к распространению только в пределах Франции и оставался чисто эмигрантским органом, с очень ограниченным числом читателей, заполнялся исключительно материалом местного характера или какими-то архаическими воспоминаниями о жизни в дореволюционной России и, конечно, не мог претендовать на серьезную политическую роль. Оставалось одно берлинское «Новое Слово». Но эта газета находилась под строжайшим контролем германского Восточного министерства и ей вплоть до 1944 г. даже не разрешалось упоминать слово «русский», не говоря уж о какой-либо серьезной национальной русской пропаганде. Фактически это была чисто немецкая газета, только на русском языке и заполнялась она материалом такого сомнительного свойства, что заслужила самую отрицательную оценку со стороны всех русских, находившихся в Германии. Бездарность и полная политическая беспомощность «Нового Слова» даже вошла в поговорку и никто не удивлялся глупейшим статьям, помещавшимся в этой газете, тем более, что многие знали, что большинство таких статей были написаны или продиктованы господами Лейбрандтом, Дрешером, Миддельгауптом или им подобными чиновниками Восточного министерства и только пе-

реведены на русский язык. Было много попыток превратить «Новое Слово» в серьезный русский политический орган, но все они наталкивались на самое ожесточенное сопротивление министерства Розенберга и ни к каким результатам не приводили. До самого конца 1944 г., т.е. до создания комитета генерала Власова, во всей Европе не было ни одной газеты, которая могла бы претендовать на роль русского печатного органа.

Еще плачевнее была пропаганда при помощи книг и брошюр. Авторам платились громадные деньги за работы по разоблачению теории и практики большевизма, и было написано большое количество серьезных и ценных трудов, разрабатывавших весьма основательно наиболее актуальные проблемы. Но все рукописи должны были проходить так много цензурных инстанций и так долго залеживались в столах и сейфах различных немецких ведомств, что теряли свою актуальность и большую частью совсем не печатались, хотя гонорары их авторам выплачивались регулярно. Полтора или два десятка тоненьких брошюр весьма сомнительного качества — вот жалкий итог почти четырехлетней работы сотен людей в штабе Розенберга, Восточном министерстве, министерстве пропаганды, СС, Верховном Командовании Германской Армии и других организациях, заведывавших германской пропагандой на восток. Я как то слышал утверждение лондонского радио, что 75% всей германской пропаганды поглощается самим аппаратом пропаганды. По тем наблюдениям, которые мне удалось сделать, этот процент в отношении пропаганды на восток может быть смело повышен до 90%. Немецкие цензоры всех ведомств и рангов дрожали над каждым словом и согласны были скорее замариновать десяток важнейших и актуальных работ, чем пропустить одну фразу, на которую могло косо посмотреть их начальство. Поэтому вся вышедшая в свет продукция германских органов пропаганды на восток была жалкой, беззубой и очень слабой в теоретическом отношении.

В связи с этим весьма характерно, что вся германская пропаганда на восток была чисто отрицательной. Немцы позволяли как угодно ругать и критиковать большевизм и советскую власть, но решительно противились всякой попытке противопоставить большевизму какую-либо другую идеологию

— или обоснованную теорию. Они точно также категорически воспрещали переводить на русский язык или публиковать в отрывках печатные труды или сборники речей вождей германского национал-социализма, а между тем именно этим все бывшие советские граждане особенно интересовались. Нам было понятно, почему в Советском Союзе были запрещены такие книги, как «Моя борьба» А. Гитлера или «Миф XX столетия» А. Розенберга, но мы никак не могли понять, почему в Германии эти книги тоже должны были оставаться для нас под семью замками. Стремление немцев скрыть таким образом от русских истинные цели и намерения германского правительства на востоке было политикой страуса, т.к. все равно те, кому было нужно, эти книги прочли на немецком языке и прекрасно усвоили идеи и мысли их авторов.

В то время как немцы вели эту игру в прятки с официальной, государственной пропагандой, в частных русских библиотеках Берлина, Вены, Мюнхена, Дрездена, Кенигсберга и других городов, где были абонированы десятки тысяч русских людей и в том числе «Ост-арбайтеры», хотя и незаконным путем, можно было встретить такие произведения советской художественной литературы, как «Хлеб» А. Толстого, «Цемент» Гладкова, «Поднятая Целина» Шолохова и многие другие, в которых прославлялась не только советская власть, но даже Сталин лично. Эти книги годами стояли на полках и выдавались беспрепятственно всем, кто хотел, и никто из немецких властей не догадался обратить на это внимание. Этот факт также не вплетает лишних лавров в венок политической мудрости Геббельса и его коллег.

Зажимая всячески русскую национальную пропаганду и обставляя ее бесчисленным количеством разного рода ограничений и препятствий, немцы всеми мерами поддерживали и раздували пропаганду отдельных национальных групп. При этом немцы благосклонно пропускали в газетах и журналах этих групп самые бредовые фантазии и самые дикие антирусские измышления, категорически запрещая в русской прессе какую-либо полемику или разоблачение всего этого вздора. Я до сих пор не могу забыть опубликованных летом 1942 г. в газете «Казачий Вестник» статей, в которых делалась попытка доказать историческое существование независимого казачьего государства «Казакии», будто бы порабощенного когда-то

Москвой, при чем претензии автора простирались достаточно далеко, захватывая всю Украину и доходя до Брянска, Курска и далее на восток до Урала. Другие мудрецы на страницах этой же газеты писали о каком-то самостоятельном казачьем языке, происходящем, будто бы, от тюркской группы языков и не имеющем ничего общего с русским. Самое любопытное в этих рассуждениях было то, что они были написаны на чистом русском языке и помещены в казачьей газете, издававшейся также на русском языке. Я слышал, впрочем, что автор этой теории и сам не знал никакого другого языка, кроме русского. Подобных примеров можно привести много и всегда авторы этого вздора находили самую активную поддержку у немцев.

Но область анекдотов не ограничивалась только страницами некоторых газет и журналов, а переносилась также и в жизнь. Немцы до самого конца войны старательно поддерживали и культивировали различные нежизненные и явно беспочвенные национальные группы и группочки, вплоть до самых микроскопических. Почему? Около этого кормилось и спасалось от военной службы всегда вполне достаточное количество немцев разных рангов. Пользы от них никакой не было и быть не могло, но это мало кого заботило, а личная выгода для многих была и довольно большая.

Когда был создан Комитет Освобождения Народов России под председательством генерала А. Власова, то все эти группировки стали в резкую оппозицию к нему (конечно не без поддержки немцев). Заигрывание немцев с различными национальными группировками и поддержка ими всевозможных направлений и течений, как бы слабы они не были, проводилась так настойчиво до самого конца войны, что не оставалось сомнения в преднамеренности подобной политики. Гитлеровское руководство Германии боялось всякой сильной России и объединение народов России казалось ему одинаково ненавистным и опасным, независимо от того, происходит ли оно под флагом коммунизма или на демократической платформе комитета генерала Власова. Немцы упорно не хотели понять, что победить большевизм можно только объединив все народы Советского Союза и отбросив безумную фантазию о их порабощении.

Первое же мое знакомство летом 1942 г. с людьми, ру-

ководившими в Берлине немецкой политикой на востоке показало мне их полную неосведомленность и неподготовленность. Ближайшие сотрудники Розенберга, такие как Лейбрандт, Миддельгаупт, Дрещер и многие другие почти совсем не знали особенностей экономики Украины, Белоруссии и центральных областей Европейской России и не имели никакого понятия о советской политике в этих республиках и областях. Большая часть из них даже не говорили на русском языке и все их сведения были почерпнуты только из иностранных газет, да и то относились, главным образом, к первому периоду советской власти. Эпоха, следовавшая за коллективизацией и индустриализацией страны оставалась для них книгой за семью печатями и они даже не стремились ее изучить. Единственным источником информации и непрекаемым авторитетом по всем вопросам, касавшимся Советского Союза был проф. Менде и небольшая группа его сотрудников из Германского института научного изучения заграницы, но и эти люди были крайне слабо ориентированы в вопросах советской политики и экономики.

Начальник восточного отдела министерства пропаганды д-р Тауберт, маленький, неприятный, но очень энергичный человек, не знал русского языка, не читал никогда большинства писаний Ленина и Сталина, не говоря уж об остальных руководителях советского правительства, совершенно не знал особенностей советской пропаганды и все свои действия основывал на опыте борьбы национал-социалистов с германской коммунистической партией, хотя это, конечно, имело очень слабое отношение к политическим особенностям внутри Советского Союза. Остальные его сотрудники были еще слабее в теоретическом отношении и также в большинстве не знали русского языка. Все они питались только сведениями, полученными из вторых рук и относились к ним поверхностно и невнимательно.

Всю германскую антикоммунистическую пропаганду в Европе координировало и направляло дочернее учреждение восточного отдела министерства пропаганды, носившее громкое название «Антикоминтерн». Может показаться смешным, но руководители этого учреждения не читали устава Коминтерна и постановлений его конгрессов и имели весьма смутное представление о том, какие занимают должности и какие вы-

полняют функции такие люди, как Мануильский, Жданов, Шверник, Маленков, Андреев и каковы взаимоотношения между секциями Коминтерна и между советским правительством и Исполкомом Коминтерна, т.е. не знали таких вещей на которые в Советском Союзе может ответить каждый школьник. Фактически вся работа этого учреждения держалась на одном начальнике его отдела печати г. К. Домбровском, человеке большой эрудиции и громадной трудоспособности. Но он не был членом национал-социалистической партии и потому к мнению его далеко не всегда и не все прислушивались. Да, кроме того, что может сделать один человек против целой толпы сановных невежд, не интересующихся ничем, кроме карьерных соображений?

Кроме этих организаций, пропаганду на восток вели еще Главное управление СС и Верховное командование германской армии, через отдел поковника Мартина. Все эти ведомства работали совершенно самостоятельно, не координировали своих действий друг с другом и часто даже не знали, что делает параллельная пропагандная инстанция. Русским сотрудникам каждого из этих ведомств было даже строжайше запрещено иметь какую-либо связь с такими же сотрудниками других параллельных ведомств или обращаться туда по каким-либо вопросам. Все немецкие центральные пропагандные и политические организации жесточайшим образом конкурировали одна с другой и ничто не могло доставить их начальникам такого удовольствия, как зрелище провала очередной акции соперника. Особенно сильна была вражда между министерством пропаганды и восточным министерством, а также между главным управлением СС и Верховным командованием. Склоки, интриги, клевета и взаимная подсидка — вот обстановка, в которой творилась германская политика и пропаганда в Берлине вообще, а на восток в особенности.

В результате, вместо серьезной работы по изучению политики советской власти и разоблачению теории и практики большевизма, к чему были все возможности, немецкая пропаганда прыгала с одной темы на другую и ни в одном вопросе окончательно большевизма не разоблачила и ни в чем не смогла убедить тех, кто сомневался. Геббельс был сторонником сенсаций и дешевых эффектов в пропаганде и в угоду ему во всех немецких пропагандных органах прочно утвердился

принцип, что правда это не пропаганда. Стремясь выслужиться перед начальством, чиновники всех пропагандных ведомств наперебой изобретали самые невероятные фальшивки и поставляли для печати самые фантастические толкования действительных фактов, приплетая к истине ложь в любых пропорциях и заботясь только о том, чтобы начальству эта версия не показалась скучной.

Дело усложнялось еще тем, что немецкая пропаганда имела несколько совершенно различных направлений и основных линий: одну на запад, с основной задачей запугать Европу большевизмом; другую для Германии и здесь установки менялись в зависимости от момента и общего положения, но в общем наиболее откровенно говорилось об истинных захватнических устремлениях германского руководства; третью для занятых восточных областей, с основной целью показать благородство Германии и изобразить ее освободительницей народов Советского Союза от большевизма; четвертую для советского тыла, с основной задачей — доказать, что западные союзники предают своего советского союзника и совершенно не стремятся ему помочь. Наконец была еще пятая — секретная линия; пропаганда по этой линии велась при помощи различных засекреченных радиостанций, работавших от имени несуществующих политических группировок и направлений. Были такие секретные станции на английском, немецком, французском, шведском и русском языках. Никаких пределов вранью этих станций не ставилось и от них только требовалось, в целях большей правдоподобности, чтобы они примерно на 40% ругали немцев, а на 60% ту страну, к которой были обращены.

Эфир был всегда наполнен потоком лжи на всех европейских языках, особенно на коротких волнах. Все это создавало такую путаницу, в которой теряли ориентацию даже сам Гебельс и его ближайшие помощники, а рядовые сотрудники министерства и его учреждений зачастую вообще не могли понять какое сообщение соответствует истине, а какое придумано в этом же министерстве. Усложнялось дело еще тем, что при постоянных перетасовках в аппарате министерства одни и те же сотрудники по несколько раз перебрасывались с одного направления на другое и с официальной линии на секретную и при этом совершенно запутывались.

Самое неумное во всем этом было то, что советская действительность была во много раз ужаснее того, что писалось в немецких газетах, но только эта действительность была гораздо проще и не могла так дразнить воображение любителей сенсаций. Изучить и правильно осветить ее немцам было очень легко, но они этого не сделали и не исчерпали даже сотой доли тех возможностей, которые у них были. Я, например, почти не встречал на страницах немецких и выходивших в Западной Европе газет тех вполне достоверных ужасных фактов, которые были опубликованы в газетах, издававшихся в занятых немцами областях Советского Союза.

Н. Градобоев

ИЗ ДАВНИХ ЛЕТ

СТРАНИЦЫ ВОСПОМИНАНИЙ

ОПЯТЬ В ЛОНДОНЕ

Радикальная русская и русско-еврейская колония в Лондоне осенью 1907 года имела совершенно другой характер, чем летом 1905 года. Тогда у еврейских социалистов был свой большой Народный дом, где была богатая русская библиотека; печаталась еженедельная еврейская социал-демократическая газета «Ди Нойе Цайт», которую редактировал великоросс Бек. В Народном доме бывали собрания, лекции, концерты; собрания всегда были переполнены людьми всех возрастов и национальностей. Теперь же, осенью 1907 года, от всего этого почти ничего не осталось. Газета давно закрылась, закрылся и еженедельный журнал, выходивший после закрытия газеты. Бек вернулся в Россию. Старый народоволец Теплов со своей библиотекой куда-то перебрался, а новый Народный дом в будние дни почти пустовал. Только по субботам и воскресеньям там происходили лекции и любительские спектакли.

Еще перед моим побегом из России, я получил от одного из друзей-бундовцев адрес доктора Наделя, представителя «Бунда» в Лондоне. И по прибытии в Лондон, несколько раз его посетил. В Лондон я приехал через несколько месяцев после того, как там закрылся знаменитый четвертый или пятый съезд РСДРП, в котором участвовали не только большевики и меньшевики, но и «Бунд», «Социал-демократы Польши и Литвы», а также Латышская с.д. партия. Там были почти все лидеры всех четырех партий и фракций: Плеханов, Ленин, Мартов, Аксельрод, Потресов, Дейч, Троцкий, Дан, Церетели, Мартынов, Зиновьев, Каменев, Красин, Н. Рожков, М. Покровский, А. Богданов, Максим Горький, Гр. Алексинский, Р. Абрамович, М. Либер, Вл. Медем, Д. Заславский, Роза Люксембург, Тыш-

* См. кн. «Н. Ж.» 98, 99, 100, 101.

ко-Иогихес и мн. др. Надель, в качестве гостя, присутствовал на многих заседаниях съезда и рассказывал мне много о том, что там происходило. Помню, он очень критиковал Ленина и его соратников и их тактику. «Он крепко держит вожжи в руках», — говорил Надель. Надель хорошо знал Ленина в течение многих лет.

Через Наделя я познакомился с известным революционером 70-х годов, видным деятелем «Земли и воли», а потом «Народной воли» Ароном Зунделевичем, который так же, как Надель, был родом из Вильны. С Зунделевичем я встречался несколько раз в знаменитом «Клубе коммунистов», одним из основателей которого был Карл Маркс. С ним я беседовал о старой Вильне, о революционном и социалистическом движении. Один раз я посетил его на его квартире, которая состояла из одной маленькой комнатки в доме старой англичанки. В комнате стояла кровать и небольшой столик. Он сам не только кипятил себе чай, но и готовил себе разные блюда. Вел он очень простую жизнь. Зунделевич примкнул к революционному движению в середине 70-х годов, когда для человека стать социалистом означало отказаться от своей семьи, от друзей, и очень часто надо было жертвовать своей жизнью. Десятки товарищей Зунделевича погибли на виселице, в казематах Шлиссельбургской крепости, на каторге в Сибири. Сам Зунделевич были присужден к смертной казни, но казнь ему была заменена бессрочной каторгой. И 26 лет своей жизни Зунделевич провел в тюрьмах, на каторге и в сибирской ссылке.

Известный писатель-революционер С. Кравчинский-Степняк вывел Зунделевича в своем романе «Андрей Кожухов». Там он фигурирует под именем «Давид». Давид очень симпатичный человек. Сам Давид там так говорит о себе: «Все женщины (революционерки) меня любят, а замуж выходят за других». Зунделевич в самом деле никогда не женился. После амнистии 1905 года он получил возможность вернуться из ссылки, приехал в Петербург, но оставался там меньше года и уехал в Лондон. Я знал, что Зунделевич присутствовал почти на всех заседаниях Лондонского съезда РСДРП, как гость, и я его тоже расспрашивал о съезде. Несмотря на то, что он считал себя социал-демократом, он старался меня убедить, что тактика русских социал-демократов неправильная. Он кри-

тиковал не только Ленина, но и Мартова, Аксельрода и Плеханова. Зунделевич не был теоретиком, но обладал очень острым политическим умом. Еще в 70-х годах он в беседе с близкими друзьями и товарищами не переставал повторять, что социализм нельзя ввести насилиственным путем, одним ударом. Позже, в Лондоне, он утверждал, что не только социальная революция, которую проповедует Ленин, но даже такая социальная революция, которая рисуется лидерам меньшевиков, была бы величайшим несчастьем для всего мира.

Уже тогда, в 1907 году, он был несогласен с большевицкой тактикой всей РСДРП. По его мнению, русские социалисты должны были работать рука об руку с русскими либералами, чтобы добиться прежде всего политической свободы и бороться только за такие социальные реформы, которые могут быть осуществлены без того, чтобы Россия этим была бы разрушена. Позже, в 1917 году, в своих взглядах на революцию Зунделевич был близок к Плеханову. Он за десять лет до революции, в частных разговорах высказывал те «еретические мысли», которые Плеханов проповедывал в 1917 году. Как революционер и социалист Зунделевич крайне отрицательно относился к большевицкому опыту в России. Он особенно не мог простить большевикам, что своей диктатурой и террором они осквернили идеалы свободы, равенства и братства, за которые поколения революционеров жертвовали своей свободой и жизнью. Зунделевич умер в Лондоне в 1923 году.

Через несколько недель после моего приезда в Лондон, в Народном доме состоялась лекция известного русского анархиста В. В. Черкезова. Черкезов уже в 1907 году был не молод. В начале 70-ых годов он участвовал в Нечаевской организации, был арестован, сидел в разных тюрьмах, был в ссылке; позже бежал в Лондон, где подружился с П. А. Кропоткиным. Тема лекции Черкезова, на которой я присутствовал, была: «Откуда Карл Маркс и Фридрих Энгельс позаимствовали их 'Коммунистический Манифест'?» Я еще раньше, кажется, читал его статьи на эту тему в русском анархическом журнале. Черкезов был хороший оратор и большой фанатик, который глубоко верил в то, что он проповедовал. В своей лекции он привел целый ряд цитат из «Коммунистического Манифеста» и тут же цитировал из произведений Консидерана, французского социалиста, жившего до Маркса, — дока-

зывая, что Маркс многое «украл» у Консiderана. На тех, кто не был знаком с историей социализма, — а я тогда был одним из них, — лекция Черкезова не могла не произвести сильного впечатления. Позже, однако, я узнал, что Консiderан тоже был не оригинален. Мысли, высказанные им, — до него были высказаны другими французскими мыслителями и писателями. Эти мысли тогда «носились в воздухе», и Маркс и Энгельс так же, как и Консiderан, повторили лишь то, что уже было до них в разных французских социалистических и радикальных журналах 20-х, 30-х и 40-х годов прошлого столетия.

Черкезов, как и его учитель и друг П. А. Кропоткин, а до них еще Михаил Бакунин, страстно ненавидел германский милитаризм и когда в 1914 году вспыхнула мировая война, Черкезов, также, как Кроопткин, считал, что обязанность социалистов всего мира всеми силами помогать союзникам выиграть войну. После февральской революции Черкезов вернулся в Россию и поселился в своей родной Грузии. За все время существования независимой Грузинской республики, во главе которой стояли с.-д. меньшевики, Черкезов жил там. Покойный И. Г. Церетели, который был одним из лидеров Грузинской республики, мне рассказывал уже в Нью-Йорке, что он в Тифлисе встречался с Черкезовым и проводил с ним время в дружеских беседах. «Очень милый был старичек», говорил про него Церетели. Черкезов был ярым врагом большевизма.

После завоевания Грузии большевиками Черкезов уехал в Лондон и там вскоре умер.

В Лондоне у меня был один приятель Петр — латыш. Он в 1906 году был арестован, кажется, в Риге. Был он одним из «лесных братьев», (латышская революционная организация), которые боролись, главным образом, против немецких баронов в Прибалтийском крае. Его должны были расстрелять вместе с другими «лесными братьями», но он бежал и уехал в Америку. Здесь на Элис-айленде его задержали иммиграционные власти и готовы были выдать русскому правительству, как уголовного преступника. Но вмешались американские социалисты и либералы и добились того, что ему было разрешено отправиться в Лондон. И вот в Лондоне, в Народном доме, я с ним познакомился и подружился. Он, кстати, мне подарил, вышедшую в Петербурге, книгу «История Совета Рабочих

Депутатов». Чем он тогда занимался в Лондоне я не помню, но хорошо помню, что он меня уговаривал поехать с ним в Париж. «В Лондоне очень скучно, — говорил он, — а в Париже теперь вся наша публика». У меня не было охоты ехать в Париж и в Париж я не поехал. Много лет спустя я узнал, что этот Петр — после большевицкого переворота в России прославился, как знаменитый ...чекист Петерс.

Одно время я хотел поехать в Берн и постараться поступить там в университет, как осенью 1905 года мне советовал мой родственник доктор Д. Иохельман. Но из этого ничего не вышло. И я решил остаться в Лондоне. Там бывший последний редактор еженедельной еврейской социалистической газеты «Нойе Цайт», румынский еврей, уговаривал меня основать вместе с ним беспартийную демократическую газету. Так как я был из России, хорошо знал русский язык и уже писал на идиш, то он считал, что я самый подходящий для него компаньон для издания газеты. У него была своя типография и я уже было хотел согласиться. Но поздней осенью, когда наступили страшнейшие туманы, когда бывало идеешь по улице и никого и ничего не видишь вокруг, — эта погода мне так надоела, что я решил уехать в Америку. «Поеду туда, пробуду год-два, — думал я, — в России, вероятно, произойдут перемены и я опять вернусь в Россию».

ОПЯТЬ В АМЕРИКЕ. ФИЛАДЕЛЬФИЯ. НЬЮ-ЙОРК

В Филадельфии я работал на фабрике. Там я начал писать статьи в еврейской социалистической печати. В Филадельфии была русская с.-д. организация, в которую я скоро вступил. Организация насчитывала десятка два членов. По воскресеньям обычно устраивались лекции и дискуссии. На них часто приходило 40-50 человек. Все члены филадельфийской организации, были недавно прибывшими из России участниками с.-д. движения в России — меньшевики и большевики. Некоторые из них в 1917 году вернулись в Россию и играли большую роль в большевицком перевороте и занимали высокие посты в советском аппарате.

Один из них — эстонец Николай Янсон работал раньше в Ревеле, потом в Петербурге на металлургических заводах, — был ярым большевиком. Другой деятельный член Филадельфийской с.-д. организации Алексей Пионтковский — был рус-

сифицированный поляк, выходец из аристократической семьи. Он в России работал в разных организациях «Социалдемократической партии Польши и Литвы», коотрая была тесно связана с большевиками. Когда я впервые встретил его в Филадельфии, он считал себя меньшевиком. Но во время войны он, как и Янсон, под влиянием Бухарина и Троцкого стал «интернационалистом», а в России в 1917 году вступил в большевицкую партию.

В Филадельфии я прожил месяцев восемь, потом переехал в Нью-Йорк. В Нью-Йорке по-прежнему существовало «Общество Русских Социал-демократов», членом которого я был в 1904-1905 годах. Я, конечно, опять вступил в него. Состав Общества за эти годы сильно изменился: большинство членов были недавно приехавшие из разных концов России. Были среди них и бывшие активные большевики, но они были в меньшинстве. Лидерами организации по-прежнему были меньшевики доктор С. М. Ингерман, Я. М. Джемс, доктор М. М. Ромм и Д. Рубинов. В Нью-Йорке я несколько месяцев опять работал маляром, потом был приказчиком в русском книжном магазине и одновременно был помощником редактора еженедельной еврейской социалистической газеты «Дер Арбейтер». Еще раньше я очень интересовался американским профессиональным движением. В начале 1911 года я стал помощником редактора большой еженедельной газеты, официального органа одного из крупнейших профессиональных союзов в Нью-Йорке — Юниона дамских портных, насчитывавшего тогда около 60 тысяч членов — разных национальностей. Огромное большинство членов этого юниона составляли тогда евреи, потом итальянцы, насчитывавшие 12 тысяч членов. Остальные были венгры, поляки и русские, по преимуществу, белоруссы. Okolo двух лет я был соредактором газеты юниона — «Нойе Пост», потом в течение шести лет был ее главным редактором. Одновременно я сотрудничал и в других изданиях.

В 1911 году «Общество Русских Социал-Демократов» решило основать в Нью-Йорке ежедневную русскую рабочую газету. На ряде собраний обсуждался вопрос — должна ли будущая газета быть органом «Общества» или же органом Американской Социалистической Партии, как предлагали ее инициаторы. Они также предлагали, чтобы газета издавалась не «Обществом», а специальной Ассоциацией, в которую мо-

гли бы вступить не только члены «Общества», но и другие русские социалисты, разделяющие программу газеты. Инициаторы рекомендовали, чтобы в качестве редактора газеты был выписан из Парижа Лев Дейч. Я был против того, чтобы газета была органом американской социалистической партии, и против того, чтобы Дейч был ее редактором. Я хорошо знал Дейча и относился к нему с большим уважением. Это был прекрасный человек, талантливый мемуарист. Его воспоминания печатались в лучших петербургских и московских журналах. Его книга «16 лет в Сибири» была переведена на многие языки и всюду пользовалась успехом. Очерт Дейча «Четыре побега» в 1907 году был напечатан в одном из горьковских сборников «Знание». Но я никогда не читал какой-либо публицистической статьи Дейча и считал, что для редактирования ежедневной газеты в Америке Л. Г. Дейч самый неподходящий человек. Мои аргументы, однако, не убедили большинство членов «Общества» и значительным большинством решено было, чтобы будущая газета, которую назвали «Новый мир», была органом Американской Социалистической партии и чтобы Лев Дейч был ее редактором. Я поэтому в издательскую Ассоциацию «Нового Мира» не вступил.

Когда приехал Дейч, члены Ассоциации «Нового Мира» устроили ему торжественную встречу в нью-йоркском зале Купер-Юнион. Дейч был очень популярен в радикальных русско-еврейских кругах Америки. Его знали, главным образом, по книге «16 лет в Сибири» и когда он появился на платформе Купер Юнион, все присутствовавшие в зале встали и устроили ему шумную овацию. Я на этом собрании — не помню почему — не мог быть, но решил еще до выхода газеты пойти повидать Дейча. Когда я пришел в редакцию «Нового мира», его еще не было. Я встретил там человек 5-6, которые ждали его. Минут через десять явился Дейч. Пришедшие до меня поочереди подходили к нему и здоровались. Я подошел к нему и сказал: «Помните, я был у вас в Женеве осенью 1905 года, много раз гулял и беседовал с вами. Вы потом помогли мне уехать в Россию». «Не помню, — рассеянно ответил он, — знаете, тогда было столько молодых людей, которые бывали у меня и с которыми я часто гулял, что я забыл их». Я был несколько разочарован, скоро ушел и решил больше неходить в редакцию «Нового мира». Я не разделял программы газеты и

был уверен, что она иметь успеха не будет. Но я ошибся: газета имела некоторый успех. «Новый мир» была первая русская ежедневная рабочая газета и первая грамотная русская газета в Америке. Ее читали многие интеллигентные русские евреи. Поэтому газета пользовалась некоторым успехом. В первых номерах ее были объявлены в числе сотрудников выдающиеся журналисты-меньшевики, которые жили тогда в Европе: Мартов, Троцкий, Дан, Майский и др. Прошел месяц-другой и в «Новом мире» ни разу не появилась статья кого-либо из меньшевицких литераторов. Не трудно было догадаться, почему никто из них не пишет в «Новом мире»: все они были бедняки, жили исключительно литературным трудом. В свободное время писали статьи для русских газет и журналов, где получали гонорар. А «Новый мир» была очень бедная газета и платить авторам за статьи не могла.

Но Дейч недолго оставался на посту редактора. Редакционная коллегия «Нового мира» скоро увидела, что он плохой редактор. Между Дейчем и коллегией, состоявшей из С. М. Ингермана, Я. Джемса и еще кого-то, начались трения и Дейч вынужден был уйти.

Редактором «Нового мира», фактически только заведующим редакцией был выбран Иван Элерт. В России он был большевиком. В 1907 году он присутствовал на лондонском съезде РСДРП в качестве делегата от уральских большевицких организаций. Уральские большевики были самые крайние — левее часто даже самого Ленина. Лишь много лет спустя я узнал, что настоящие имя и фамилия Ивана Элерта были Николай Николаевич Накоряков, впоследствии известный большевик.

ВОЙНА И СОЦИАЛИСТЫ

Когда в 1914 году вспыхнула мировая война, Элерт сразу стал оборонцем, сторонником победы союзников. Хотя «Новый мир» тогда еще не был большевицкой газетой, но агитировал против войны, Элерт решил оставить «Новый мир» и поступить на завод, где производили амуницию для Англии и ее союзников. О его интересной дальнейшей карьере я расскажу после.

Чуть ли не на другой день после объявления войны, я встретил Л. Дейча в нью-иоркской публичной библиотеке на

42-ой улице и он мне сказал: «Я считаю обязанностью социалистов, либералов и демократов всего мира стать на защиту Франции и Англии. Войну начала Германия, германский и австро-итальянский императоры и милитаристы». Л. Дейч старался меня убедить в своей правоте. Я колебался, но потом более или менее согласился с ним. Недели через 2-3, когда война была уже в полном разгаре, в США приехал Эмиль Вандервельде, который до объявления войны был председателем Социалистического Интернационала, а осенью 1914 г. министром бельгийского правительства в изгнании. (Так как немцы уже заняли всю Бельгию — бельгийскому правительству пришлось бежать в Англию). Через несколько дней по прибытии Вандервельде в Нью-Йорк ему, не без содействия Дейча, местными социалистами был устроен митинг-встреча в большом зале. Дейч был хорошо знаком с Вандервельде и председательствовал на этом митинге. Я никогда не любил на больших собраниях сидеть на платформе или в первых рядах. И на этот раз я сидел в одном из средних рядов. Но Дейч еще до открытия собрания, заметив меня, пригласил на платформу. Я пошел и он познакомил меня с Вандервельде, которого я первый раз видел в Нью-Йорке еще осенью 1904 года. За эти десять лет он сильно постарел. Дейч в краткой речи по-французски, по-немецки и по-русски представил Вандервельде. Вандервельде произнес замечательную речь, которую Морис Хилквит, лидер американской социалистической партии, один из ее основателей, перевел на английский, а Дейч передал резюме на русском и немецком языках. Вандервельде все аплодировали, но чувствовалось, что многие не разделяют его позиции. И действительно очень скоро обнаружилось, что большинство американских социалистов были ярыми противниками войны. Они были против поддержки союзников из боязни, что победа России в войне будет большим несчастьем для мира, чем победа Германии и Австро-Венгрии. Многие американские социалисты к тому же считали Германию одной из передовых стран с сильно развитым социал-демократическим движением и поражение Германии считали не в интересах социализма. Но Дейч, как и многие другие русские социал-демократы, и я в том числе, не разделяли позиции большинства американской социалистической партии. Примеру Элерта последовали некоторые другие из русских товарищей. Они вышли из большевицкой

организации и поступили рабочими на амуниционные заводы.

Незадолго до войны, в начале лета 1914 года я получил от Троцкого письмо из Вены, в котором он сообщал, что в Петербурге скоро начнет выходить легальный еженедельный журнал «его направления» и просил меня содействовать его распространению в Америке. Вскоре я из Петербурга получил первые два номера его журнала. Кроме статей самого Троцкого там были интересные статьи за подписью Ан. Кто такой этот Ан я тогда не знал. Позже Дейч мне сообщил, что Ан это известный лидер грузинских социал-демократов, бывший член 1-ой Государственной Думы — Ной Жордания, который потом был президентом Грузинской республики. Финансировал петербургский журнал Троцкого, главным образом, с.д. Скобелев — сын богатого кавказского нефтепромышленника, который был выбран депутатом в 4-ю Думу, после революции был вице-председателем Совета, а потом министром Временного Правительства.

Я уже в 1914 году не был большим поклонником Троцкого, каким был в 1905-1906 г.г. Когда вспыхнула мировая война, Троцкий жил в Вене. Лидер австрийской с.-д. партии Виктор Адлер помог Троцкому с семьей выехать из Вены в Швейцарию. Троцкий поселился в Цюрихе. В Цюрихе он опубликовал на немецком языке брошюру под заглавием «Война и Интернационал». В ней он резко нападал, главным образом, на германских социал-демократов за то, что они после объявления войны голосовали в рейхстаге за военный бюджет и поддерживали военную политику германского правительства. Но через несколько месяцев Троцкий с семьей перебрались из Цюриха в Париж и там он стал ближайшим сотрудником русской газеты «Голос», органа русских социал-демократов противников войны, так называемых, «интернационалистов». Редактором этой газеты был Ю. О. Мартов. Позже, когда французское правительство закрыло «Голос» за его пораженческую пропаганду, газетка начала выходить под названием «Наше слово» и Троцкий стал ее главным редактором.

Ближайшими сотрудниками «Нашего слова» были Мартов, Луначарский, Рязанов, Лозовский, Раковский, Мануильский, Антонов-Овсеенко, М. Павлович. Все они, за исключением Мартова, в 1917 году примкнули к большевикам. Если Троцкий раньше в Цюрихе нападал, главным образом, на гер-

манских социал-демократов, то в Париже все свои ядовитые стрелы он направлял на Францию и ее союзников и на французских, английских и русских социалистов поддерживавших Союзников. Помню, однажды Дейч, прочитав статью Троцкого, с глубоким возмущением воскликнул: «Если бы я не знал так хорошо Троцкого, я ни на минуту не сомневался бы, что он подкуплен германским правительством». (Сам Троцкий потом в Нью-Йорке рассказывал, что «Наше слово» финансировал, главным образом, Х. Раковский. Троцкий тогда, по всей вероятности, не знал, что Раковский был связан с германским правительством. После Второй мировой войны из документов германского Министерства Иностранных дел, захваченных американцами, точно установлено, что Раковский получал от германского правительства большие суммы денег на поддержку анти-союзнической пропаганды в Балканских странах и в Западной Европе).

Еще до выхода газеты «Наше слово» Г. В. Плеханов в Париже опубликовал воззвание к социалистам всех стран о помощи союзникам в войне против немецких милитаристов, затеявших войну. Это страшно возмутило Ленина. Николай Бухарин, который жил тогда в Швейцарии, много лет спустя рассказывал в московских «Известиях», как Ленин в те дни «все время расхаживал по своей комнате ‘как тигр’». «Его первым лозунгом, в ответ на войну, — писал Бухарин, — был призыв к солдатам: — ‘расстреляйте всех ваших офицеров’». Этот лозунг не был напечатан. Ленин вскоре придумал новую, более общую формулу: «превращение империалистической войны в войну гражданскую». Как и Троцкий, Ленин вначале нападал, главным образом, на германских социал-демократов, но позже ругал социалистов всех союзных стран.

В 1915 году в швейцарской деревне Циммервальд состоялась конференция социалистических групп разных стран, противников войны: представителями русских большевиков там был Ленин и Зиновьев. Меньшевиков-«интернационалистов» представляли Мартов и П. Аксельрод. Был там и Троцкий. Про Троцкого Мартов когда-то писал, что он «на всех партийных совещаниях и конференциях появляется со своим складным стулом». И в Циммервальд Троцкий приехал со своим «складным стулом», то есть, занял «позицию» отличную от позиции Ленина-Зиновьева и Мартова-Аксельрода.

Нью-йоркский «Новый мир» в начале войны, как уже было отмечено, занимал более или менее нейтральную позицию по отношению к воюющим странам и к социалистам воюющих стран, поддерживавших свои правительства.

В 1915 году в Нью-Йорк приехал из Швейцарии Николай Бухарин, видный большевик, который тесно был связан с Лениным. Г. В. Плеханов, Л. Г. Дейч и многие другие русские социал-демократы и социалисты-революционеры, также как и Жюль Гед, Эмиль Вандервельде и видный английский марксист Генри Хайндман призывали социалистов и рабочих всех стран помогать союзникам в защите своих стран от могущественной армии Германии.

Как оппозицию «Новому миру», Л. Дейч начал издавать в Нью-Йорке ежемесячный журнал «Свободное слово», в котором сотрудничали Плеханов и другие оборонцы. Бухарин, который и раньше от поры до времени писал в «Новом мире», после ухода Элерта занял его место и скоро стал фактическим редактором газеты.

БУХАРИН И ТРОЦКИЙ В АМЕРИКЕ

Под редакцией Бухарина «Новый мир» все более и более становился «интернационалистической» газетой, то есть, все резче и резче критиковал французских, бельгийских, английских и русских социалистов, которые поддерживали военную политику Союзников. Бухарин, еще прежде чем стал редактором «Нового мира», посетил несколько американских городов, где были русские рабочие организации и читал там на русском языке лекции о войне и задачах социалистов.

С Бухарином я познакомился через несколько дней после его приезда в Америку в редакции «Нового мира», куда я приходил каждый четверг. Как я уже сказал, я тогда был редактором профсоюзной газеты «Ди Ноайе Пост». Этот профсоюз Дамских Портных в Нью-Йорке тогда насчитывал около 60 тысяч членов. Огромное большинство из них были еврейские рабочие и работницы. Было там также около 12 тысяч итальянских рабочих и тысячи полторы русских и поляков. Когда профсоюз обложил всех членов налогом на издание газеты для всех членов союза и начал издавать большую еженедельную газету на еврейском языке и довольно большую газету на итальянском, русские и поляки потребовали, чтобы

и для них издавали газету хотя бы на русском языке. Но издавать специальную газету для тысячи пятисот членов Союза, конечно, было невозможно. Одно время издавали маленький ежемесячный листок под названием «Новая почта», который я составлял. Это, конечно, не могло удовлетворить русско-польских членов Союза и из-за этого на собраниях в Русско-Польском отделе Союза все время происходили скандалы и протесты против лидеров Юниона.

Мне пришло в голову предложить лидерам профсоюза арендовать одну страницу в субботних номерах «Нового мира», которая будет посвящена делам профсоюза Дамских портных, фактически органам Русско-Польского отдела Юниона. Лидеры юниона приняли предложение, но только с условием, чтобы эту страницу в «Новом мире» редактировал я. Члены Русско-Польского Отдела были чрезвычайно рады этому, потому что они получали еженедельно большую газету вместо прежнего ежемесячного листка «Новая почта». Каждую пятницу я в моей еврейской газете отмечал важнейшие события и давал отчеты профсоюза, которые должны войти в эту страницу «Нового мира» и посыпал все это его редактору. Один из членов издательства «Нового мира», который знал хорошо еврейский и русский переводил это все. Я каждый четверг приходил в «Новый мир» просмотреть страницу прежде чем она пойдет в печать. Так я близко познакомился со всеми сотрудниками и служащими «Нового мира».

Статьи Бухарина, которые я уже читал еще до его приезда в Америку в большевицком журнале «Просвещение», который в 1913-1914 гг. выходил в Петербурге, на меня произвели хорошее впечатление. Да и сам Бухарин мне нравился. Он был типичный русский, москвич, сын учителя, кажется, городского училища в Москве. Был образованный человек, живой и веселый. Он казался мне немножко, — молодым Лениным. Глаза Бухарина также часто светились каким-то странным огоньком. Но злости никакой я во взгляде Бухарина никогда не замечал. Он был фанатиком-большевиком, но с ним можно было спорить. Он любил спор. Он также любил дурачиться. Известный бундовский публицист А. Литвак, который в начале войны жил в Цюрихе и там часто встречался с Бухарином, научил его петь еврейские народные песни и Бухарин любил их петь. Встречался я с ним часто не только в «Новом мире», но и у

знакомых русских социал-демократов, которые были моими соседями. Бухарин очень любил детей и часто играл с ними. Мой старший покойный сын Борис не один раз ездил на нем верхом. Бухарин ложился на пол, и Борис ездил на нем. О своей личной жизни Бухарин никогда не говорил. Я не знал тогда, что он оставил жену в Москве. Она тоже была большевичка. Я любил беседовать с Бухарином. Несмотря на его фанатизм, он был симпатичный человек. Однажды, в воскресенье, когда я пришел к моим русским друзьям, я там встретил Бухарина. Когда они сели обедать, я ушел в другую комнату и стал читать воскресную газету. Вдруг я услыхал страшнейший крик хозяйки. Я думал, что она наверное ошпарила кипятком руку. Но что на самом деле случилось? Когда хозяйка налила в тарелку Бухарина суп, в тарелке оказался таракан. Она хотела взять тарелку и вылить суп, но Бухарин оттолкнул ее, быстро схватил ложкой таракана, положил его в рот и проглотил. Хозяйка прямо впала в истерику, а Бухарин, смеясь, сказал: «Чем же таракан хуже, всех других живых существ, которых мы едим?»

В Бухарине было что-то от Базарова, героя романа Тургенева «Отцы и дети». Бухарин обожал Ленина. Я всегда ему говорил, что Ленин для него — Бог. «Я убежден, сказал я ему как-то, шутя, что если Ленин вам докажет, что для того, чтобы осуществить социализм и обеспечить существование социалистического общества нужно убить не только всех буржуев, но и всех мальчиков, вы не раздумая скажете. «Ну, что ж, если нужно, так нужно... Ильич, вероятно, знает, что он говорит». Бухарин громко рассмеялся. Мне тогда, конечно, в голову не могло придти, что нечто подобное через три-четыре года, действительно, может случиться.

Под редакцией Бухарина в «Новом мире» начали часто писать Троцкий и другие «интернационалисты». В 1916 году французское правительство закрыло парижскую газету Троцкого «Наше слово» и его самого выслало из Франции. Троцкий с женой и двумя сыновьями уехал в Испанию. Но оттуда его тоже выслали за пропаганду против Союзников. Тогда он с семьей приехал в Нью-Йорк. Заехал он к одному из наборщиков «Нового мира», большевику Менсону, (настоящая фамилия его была Минкин). Жена Минкина была уральская большевичка. Они жили недалеко от меня и мы часто встречались.

Я был «социал-патриотом» и не разделял возмущения большинства нью-йоркских социалистов против Франции за то, что она закрыла газету Троцкого и выслала его. Но когда он приехал в Нью-Йорк, я по настоянию моей приятельницы, пошел встретиться с ним. Он знал, что я «социал-патриот», но все же он очень вежливо со мной поздоровался. Пришел я туда с моим мальчиком, которому тогда еще не было пяти лет, он был очень умный и развитой ребенок. Троцкий подошел к нему, подал руку и сказал: «Здравствуй, мальчик!» Но мальчик отказался подать руку. Троцкий сказал: «Ну, не хочешь... не надо». Мы пили чай и беседовали. Вначале все шло мирно, но когда он начал ругать не только Жюль Геда и Плеханова, но даже Аксельрода и Мартова, которые, как и он, были «интернационалистами» и которые вместе с ним участвовали в циммервальдской конференции, я был возмущен. Для Троцкого и Аксельрод уже тогда был не достаточно революционен. Все время он критиковал правительства союзных стран, главным образом Франции. Я ему поставил вопрос: «почему вы, интернационалист, как вы себя называете, неустанно нападаете только на Францию и ее союзников, но очень редко нападаете на Германию?» Он мне посоветовал прочесть его немецкую брошюру «Война и Интернационал». Я ему ответил, что я его брошюру читал, «но брошюру вы писали в Цюрихе, в начале войны, а что вы пишете сейчас?» И я, между прочим, рассказал ему, что его старый приятель Л. Дейч, прочитав однажды статью его в «Нашем слове», с возмущением сказал: «Если бы я лично не знал Троцкого, я не сомневался бы ни на минуту, что он подкуплен германским правительством».

Не помню теперь, что Троцкий на это мне ответил; помню только, что я скоро ушел и не встречалось с ним. На собрание, которое было устроено в его честь в Купер-Юнионе я не пошел. Но я читал в «Новом мире» подробный отчет об этом собрании и содержание его речи. Троцкий был блестящим оратором и к этой речи он, по всей вероятности, долго готовился и хорошо подготовился. Он описывал ужасы войны и делал ответственным за войну и за то, что она продолжается, главным образом, французское правительство и социалистов, которые сидят в этом правительстве. «Да будут прокляты те социалисты, — говорил он, — которые находят возможным протянуть руку таким социалистам,

как Альберт Тома» (известный французский социалист, который тогда был министром в правительстве национальной обороны). «Нет никакого сомнения, — говорил Троцкий, — что солдаты, которые пережили все ужасы войны, когда вернутся домой, они немедленно восстанут против своих правительств и сотрут их с лица земли вместе с буржуазией и введут социалистический строй. Ужасы войны — говорил Троцкий, — пережили рабочие всех стран, побеждающих и побежденных. Поэтому рабочие, вернувшись с фронтов, везде устроят революции, независимо от того, победило их правительство или потерпело поражение. И так как везде произойдет социальная революция, то теперь уже неважно, какая сторона выйдет победительницей в войне». — «А что будет, если они не сделают революцию?» спросил кто-то. Тогда Троцкий с большим пафосом воскликнул: «Я тогда стану мизантропом!... Важно закончить, остановить войну, как можно скорее, вот что важно! А все эти лозунги о мире без аннексий, без контрибуций не имеют никакого значения».

Так как Германия тогда уже заняла всю Бельгию, большую часть Франции, всю Польшу, Литву и другие части России и не имела в виду возвратить их, то агитация Троцкого была всецело в интересах Германии. После того собрания Троцкий стал членом редакции «Нового мира». Он очень скоро перетянул на свою сторону всех молодых, которые были связаны с «Новым миром». С их помощью ему удалось вытолкнуть из редакции С. М. Ингермана и других старых меньшевиков, которые основали «Новый мир». Он и Бухарин стали редакторами газеты. Бухарин, как ленинец, не был влюблен в Троцкого и Троцкий в него тоже не был влюблен. Все же Троцкий тогда имел влияние и на Бухарина, и оба они вели, фактически, самую ленинскую линию в газете. Троцкий также поместил несколько статей в немецкой социал-демократической газете в «Нью-Йоркер Фолькс-цайтунг» и стал сотрудником еврейского «Форвертса».

Газета «Форвертс» тогда из ненависти к царскому режиму в России, тоже была на стороне Германии. Корреспондентом ее из Германии был Филипп Шайдеман, лидер правых социалистов Германии, поддерживавших военную политику Вильгельма II-го. Интернационалисты, настоящие, без кавычек, тогда были против «Форвертса», не разделяли его точки зре-

ния, что поддержка Германии есть социалистическая позиция. Несмотря на это, Троцкий там сотрудничал. Конечно, его многие упрекали в этом, и он говорил, что сотрудничает потому, что хочет влиять на еврейскую читающую публику. Но у многих социалистов создалось настроение против него.

В один прекрасный день, это было кажется уже в начале 17-го года, американское правительство перехватило телеграмму, которую министр иностранных дел Германии послал представителю Германии в Мексико. Телеграмма была зашифрованная. В ней было сказано, чтобы германский посол предложил Мексике вступить в войну на стороне Германии, обещая, что в случае победы, ей отдадут часть Калифорнии и часть Нью-Мексики. Эта телеграмма, опубликованная во всех американских газетах, произвела сенсацию. Редактор «Форвертса», прочитав ее напечатал, на первой странице, в большой рамке, следующее заявление: «Мы не знаем верна ли эта телеграмма, может быть это фальшивка, но если окажется действительно, что это так, то мы, конечно, сразу выступим на защиту союзников против Германии».

Узнав о заявлении редактора «Форвертса», Троцкий немедленно прислал письмо в редакцию, что он с возмущением отказывается от дальнейшего сотрудничества в этой газете. Я как раз пришел в «Новый мир». Меня встретил Григорий Чудновский и другие сотрудники вопросом: «Ну, что вы теперь скажете? Вы видите, Троцкий ушел из «Форвертса»? — «Это только доказывает правильность моей теории, — ответил я, — потому что когда «Форвертс» был про-германской газетой, Троцкий там сотрудничал, а как только редактор заявил, что он не будет больше поддерживать Германию — Троцкий ушел!» Тогда Бухарин вышел из своей комнатушки, кивнул мне и сказал: «Но вы не можете этого сказать про Ильича, что он так поступает...» — «У вашего Ильича есть Гришка Зиновьев — сказал я, — и разные провокаторы, вроде Малиновского, это еще хуже». На этом наш разговор кончился.

Д. Шуб

О. С. БУЛГАКОВ КАК ЭКОНОМИСТ

Сергей Николаевич Булгаков (1871-1944) был не только выдающимся русским православным богословом и социальным философом, но и одним из лидеров русской исторической школы в политической экономии. Его предки (включая отца) были в течение шести поколений православными священниками и диаконами несмотря на знатное татарское происхождение.

Будущий отец Сергий не захотел учиться в семинарии и окончил гимназию в городе Ельце Орловской губернии. В 1894 году он с успехом завершил занятия в Московском университете в качестве экономиста.

В это время молодой Булгаков был убежденным сторонником Карла Маркса. По его мнению, марксизм был в 1890-х годах «источником смелости и активного социального оптимизма» в среде передовой русской молодежи. Это направление экономической мысли стремилось к хозяйственному развитию России по европейскому образцу. Булгаков сожалел, что марксизм не дал открытого и прямого подхода к этике, но, будучи в то время материалистом, хвалил марксистов за принятие «позитивной социологии» в то время как народники были не очень стойкими позитивистами.

Еще в 1908 году Булгаков писал, что его идеалистическое мировоззрение сформировалось во враждебной ему теперь марксистской социальной атмосфере. По его мнению, с точки зрения Кантовского «практического разума» есть некоторая связь между марксизмом и идеализмом. В России идеализм развился, ибо многие люди стремились к социальной справедливости и верили в прогресс. Марксизм, несмотря на материализм, в конечном итоге имел ту же мотивацию.

В 1897 году С. Н. Булгаков напечатал свой первый научный труд «Роль рынка в капиталистическом производстве». Хотя эта книга имела марксистский характер, Московский университет присудил Булгакову ученую степень магистра политической экономии. После этого молодой экономист провел год в Берлине, Париже и Лондоне.

Первый экономический труд Булгакова имел в основе своей марксистскую математическую схему расширенного воспроизводства капитала в условиях капиталистического хозяйства. Булгаков хотел опровергнуть учение народников, что капитализм не может существовать без внешних рынков. Он соглашался с Марксом, что развитие капиталистического производства возможно без периодических кризисов, если нет диспропорций между производством средств производства и продукцией потребительских благ.

Булгаков старался доказать, что капиталистическое производство не зависит от внешней торговли и домашнего потребления. По его мнению, единственным необходимым рынком для капиталистического производства является само производство независимо от его характера. Главной целью капиталистического производства является не удовлетворение нужд производителей, а постоянное накопление капитала. Размер производства зависит от размера имеющегося капитала, а не от социального (народного) эффективного спроса.

Тем не менее Булгаков разделял мнение Маркса, что уменьшение «переменного капитала» (расхода на заработную плату) из-за роста механизации развивает производство при падении домашнего потребления. В конечном итоге Булгаков настаивал, что страна, имеющая большие естественные ресурсы, может безгранично увеличивать свое производство.

Взгляды Булгакова подверглись критике со стороныпольско-германской коммунистки Розы Люксембург, издавшей в 1913 году известную книгу под названием «Накопление капитала». По ее мнению капиталистическое хозяйство может «реализовать всю прибавочную ценность» лишь в том случае, если имеется развитая внешняя торговля, и страна имеет в своем распоряжении экономически отсталые области или колонии.

Роза Люксембург указывала, что Булгаков при введении денежного расчета в свой анализ заявил, что производители материальных благ всегда смогут добить деньги для приобретения добавочных благ от домашних производителей золота. Если рост производства требует увеличения денежного обращения, золотопромышленники увеличат добычу золота. Это заставило Люксембург сказать, что в учении Булгакова производители золота играют роль «внешнего рынка». В действи-

тельности же Булгаков никогда не полагал, что золотопромышленники поглощают всю «прибавочную ценность» в народном хозяйстве, ибо развитие кредита уменьшает потребность в денежном обращении. Кроме того он не отрицал, что внешняя торговля важна для страны, лишенной естественных ресурсов. Если Англия потеряет возможность экспортировать свои фабрикаты, она жестоко пострадает, тогда как Америка в подобных условиях испытает лишь незначительный экономический кризис.

В 1901 году С. Н. Булгаков стал профессором политической экономии в Киевском Политехническом институте после того как он опубликовал свой второй научный труд в двух томах под заглавием «Капитализм и сельское хозяйство», защитив его предварительно на степень доктора политической экономии и статистики.

Булгаков сам признавал, что он хотел написать свой труд в качестве «легального марксиста», а создал один из руководящих трудов «ревизионизма». Он пришел к двум явно не марксистским выводам, что большие предприятия не могут развиться в сельском хозяйстве и научный прогноз неосуществим в социальных науках.

Кроме того уже в 1900 году Булгаков заявил, что он понял, что некоторые экономические доктрины Маркса не согласуются с фактами исторического процесса. Несмотря на это Булгаков в 1901 году не отверг учение Карла Маркса, но только сделал важное заявление, что «прогресс науки о хозяйстве должен привести к синтезу социальных требований марксизма с эмпирическими выводами исторической школы в политической экономии». Кроме того экономист должен иметь этический подход к своим проблемам.

В 1900 году Булгаков рекомендовал ввести колLECTИВИЗМ в организацию обрабатывающей промышленности, но сохранить индивидуализм в сельском хозяйстве, где однако принцип стяжания должен был смягчиться развитием крестьянских кооперативных обществ.

Свои немарксистские взгляды Булгаков усилил в 1901 году в статье «Проблема капиталистической эволюции в сельском хозяйстве», напечатанной в журнале «Начало». Ленин был возмущен ревизионизмом Булгакова и в том же году

напал на его взгляды в статье под заглавием «Буржуазные критики в сфере сельского хозяйства».

Немарксистские взгляды Булгакова можно свести к следующим выводам:

1. Он отрицал, что «переменный капитал» уменьшается в сельском хозяйстве из-за механизации в отличие от промышленности. Как раз в земледелии сильно проявляется закон убывающей доходности. Ввиду этого факта там не может разиться крупное капиталистическое предприятие. Точка зрения Булгакова была поддержана столь видными экономистами как П. Б. Струве, М. Туган-Барановский и А. И. Чупров. С другой стороны, она была отвергнута Лениным, К. А. Пажитновым и Д. И. Менделеевым. Критики Булгакова заявляли, что закон убывающей доходности проявляется в любой области народного хозяйства. И в обрабатывающей промышленности техника определяет количество вложенных труда и капитала, которое допустимо в интересах рентабельности. Ленин даже совсем отверг закон убывающей доходности, заявив, что увеличение вложенных труда и капитала всегда происходит в период технического прогресса.

Булгаков признавал, что в Англии во второй половине 19 века развились крупные фермы, но утверждал, что это происходит не из-за их большей продуктивности, а из желания иметь одно более крупное предприятие в качестве источника поземельной ренты. Булгаков полагал, что сельско-хозяйственные машины не очень полезны, ибо процесс производства в сельском хозяйстве сильно зависит от «каприза природы».

В настоящее время надо признать, что Карл Маркс был более прав чем Булгаков или Эдуард Бернштейн, ибо развитие «пиничных фабрик» в Америке свидетельствует о том, что концентрация предприятий возможна и в сельском хозяйстве при одновременном росте механизации. С другой стороны, Булгаков был прав, утверждая, что закон падающей доходности является постоянной нормой и лишь по временам перестает действовать, когда происходит революционное изменение в технике. Когда Булгаков отрицал возможность концентрации в сельском хозяйстве, он в сущности руководился фактами, наблюдаемыми в России около 1902 года.

2. В отличие от Маркса Булгаков не верил в наличие «прибавочной ценности» в сельском хозяйстве, создаваемой экс-

плуатацией труда батраков. Однако он признавал, что частные землевладельцы в условиях капитализма фактически монополизируют всю обрабатываемую аграрную плодородную почву страны и регулируя в своих интересах производство сельско-хозяйственных продуктов, взимают в их цене с потребителей «абсолютную ренту», которую можно рассматривать как «дань, получаемую землевладельцами со всего населения страны».

3. В отличие от Маркса и Ленина, отвергавших известную мальтизансскую теорию населения, Булгаков и Струве утверждали, что чрезвычайный рост крестьянского населения привел уже около начала 20-го столетия к перенаселению русских деревень, что вызвало политическую опасность «мужицкого земельного голода». По их учению, в русской деревне появилось «абсолютное обнищание» многих крестьянских семейств, которое зависит не от распределения дохода, а от размера производства. В частности Булгаков заявил, что конфискация помещичьих земель в пользу крестьянства не устранила бы перенаселение в русских селах. Только рациональный контроль над крестьянской деторождаемостью мог бы облегчить критическое положение в русской деревне.

Как уже было указано, Булгаков стал с 1903 года одним из главных представителей русской исторической школы в политической экономии. С этого времени он учил, что наука о хозяйстве состоит из трех частей, а именно она заключает в себе прикладную экономическую технику (напр. аграрную политику, внешнеторговую политику и т.д.), политическую экономию и теоретическую экономию. Кроме того Булгаков соглашался с Михайловским, что социальные науки неотделимы от этики и поэтому считал, что экономическая политика должна служить социально-экономическому идеалу и может рассматриваться в качестве «прикладной этики». Он полагал, что не было бы необходимости иметь развитую науку о хозяйстве, если бы социальные условия не оставляли желать лучшего. По мнению Булгакова, главной задачей второй части науки о хозяйстве, т.е. «политической экономии» является анализ данного социально-экономического строя, который должен обслуживаться адекватной экономической политикой.

Политическая экономия является в конечном итоге исторической наукой, ибо она анализирует определенный экономический строй, познаваемый в качестве исторического (эмпи-

рического) факта. Булгаков не отрицал важности статистики, но считал, что в социально-экономической сфере прогноз не очень надежен и полезен только почти в «эсхатологическом» смысле. Интересно отметить, что по мнению Булгакова политическая экономия должна выработать научный «план» для проведения рациональной экономической политики. Одновременно он подчеркивал, что такая политика это отчасти искусство, покоющееся на интуиции.

Третья часть науки о народном хозяйстве, которую Булгаков называет «теоретической экономией», имеет очень абстрактный характер и рассматривается им в качестве «псевдометафизики». К этой категории он причисляет марксистскую «трудовую теорию ценности» и немецкую теорию предельной полезности. По мнению Булгакова, Маркс непродуктивно теряет время, когда старается доказать, что «абстрактный труд» является субстанцией ценности.

Про труды знаменитого австрийского экономиста Фридриха фон Ризера (одного из создателей теории предельной полезности) он сказал, что они являются «бесплодной растратой умственных сил». Однаково отрицательно Булгаков относился к математическому направлению в политической экономии, которое имеет абстрактный и механический характер. По его мнению эта школа «доводит до абсурда теоретическую экономию и ее задачи».

В этом отношении Булгаков был прав, но он впадал в крайний оптимизм, когда утверждал, что экономическая политика определяется этикой (по меньшей мере социальным идеалом), ибо в действительности она часто подчиняется другой мотивации, как например соображениям престижа или желанию быть лучше подготовленным к ведению войны.

В 1903 году Булгаков принял активное участие в сборнике «От марксизма к идеализму», который означал разрыв с позитивизмом, проповедывавшемся тогда большей частью интеллигенции. Эта книга состояла из статей, написанных с 1896 года бывшими «легальными марксистами», в частности, Булгаковым, Бердяевым, Струве и Франком. В ней Булгаков писал, что не следует закабалить крестьянство для того чтобы спасти традиционную сельскую общину. Кроме того он отверг исторический материализм Маркса из-за того, что он является

упрощенным «философским монизмом» и заявил, что прогресс выступает в конечном итоге «моральной задачей».

В отличие от Маркса Булгаков не верил, что рай может быть построен на земле. Его статья в сборнике имела и некоторый славянофильский оттенок, ибо он заявлял в ней, что Запад стал «духовно бедным» и что Россия должна преодолеть западный «мелкобуржуазный материализм». Это однако не помешало Булгакову в другом месте написать, что Кант был таким гением, что он, будучи марксистом, всегда проверял гипотезы Маркса кантовским методом.

В 1904 году Булгаков вместе с Н. А. Бердяевым издавал идеалистический журнал «Вопросы жизни», в котором писали Струве, Новгородцев и Розанов.

В 1906 году Булгаков стал профессором социально-экономических наук в московском Высшем Коммерческом институте и был выбран депутатом второй Государственной Думы по списку кадетской партии. Лекции Булгакова, касающиеся истории экономических наук, были напечатаны в Москве в виде двух книг: «История экономических доктрин» (1910) и «История социальных доктрин в 19 веке» (1913).

С 1906 года Булгаков находился под влиянием философских учений Шеллинга и Владимира Соловьева. Он даже заявил, что «натуралистическая философия» Шеллинга была бы полезнее для Карла Маркса чем диалектика Гегеля. С этого времени Булгаков ратовал за «всепоглощающее знание» и говорил, что наука о хозяйстве, изучающая междучеловеческие отношения в социально-экономической сфере, должна быть тесно связана с социологией и философией.

Приблизительно в это время он женился на Елене Ивановне Таклаковой, дочери одного из крупнейших виноделов Крыма.

В 1909 году Булгаков посвятил тестю очерк под заглавием «Народное хозяйство и благочестивая личность», напечатанный в Московском Еженедельнике. В этом этюде он снова ратовал за исторический метод в науке о хозяйстве и за этический подход к коммерческим сделкам. По его мнению, экономическая наука представляет собой синтез между учением о механизме и исследованием творческой деятельности свободного и смелого хозяйствующего субъекта. Кроме того он критиковал Маркса за введение в социализм идеи классовой

борьбы и за превращение хозяйствующего индивида в коллективистически настроенного агента социального класса, к которому он принадлежит. Вдобавок автор подчеркивал, что если не было бы Бога и объективной правды, то добрые дела и вера в прогресс были бы капризом и иллюзией.

В 1909 году Булгаков участвовал в сборнике «Вехи», который был направлен против позитивизма и идеи социальной революции. Этот сборник подвергся сильной критике со стороны левой печати, которая обвиняла авторов в попытке развенчать героев радикальной интеллигенции, в частности, Белинского, Чернышевского и Писарева. В нападении на «Вехи» участвовал профессор П. Н. Милюков. В 1911 году Булгаков опубликовал в Москве труд «Два града», состоящий из двух томов, в котором он исследовал «природу социальных идеалов». В этой работе он заявлял, что история «проявляет божественную силу человека» и что не-марксистский идеалистический род социализма мог бы помочь осуществлению главных требований христианской этики. Ввиду того, что социализм имеет вселенский характер, он не может быть создан только для христиан.

Советские экономисты до сих пор рассматривают Булгакова и Бердяева как представителей «христианского социализма». Это, однако, спорно, ибо Булгаков был одним из лидеров исторической школы в политической экономии и лишь изредка заявлял, что проповедует «социальный идеализм».

Булгаков и Бердяев оба утверждали, что марксизм базируется на «психологии разрушения». Они подчеркивали, что марксистские социалисты стремятся к росту народного (национального) дохода любой ценой, совершенно не заботясь о личной свободе и о продукции духовных благ.

Капитализм и социализм оба преувеличивают важность чисто материального благосостояния. В частности, Булгаков опасался, что трудящиеся массы слишком мечтают о «мелкобуржуазной сътости». Кроме того он полагал, что учение Карла Маркса является отчасти «социологическим детерминизмом», т.е. философией действия, которая предполагает, что «мир эластичен».

В 1912 году Булгаков издал в Москве свой известный оригинальный труд под заглавием «Философия хозяйства». В этой книге, полной мистицизма и базирующейся на идеали-

стической философии 19-го и 20-го веков, Булгаков рассматривал хозяйственную деятельность в качестве борьбы человечества с независимой природой, направленной на гуманизацию природы и на ее превращение в «привесок к человеческому организму». Процесс еды представляет «участие человека в теле природы» и является «квази-причашением». Этим путем происходит слияние между органической и неорганической материяй.

Труд и еда не являются добродетелью. Жестокие люди часто бывают ценностями работниками. Церковь должна благословить экономическую деятельность, ибо в будущем технологический прогресс в сфере хозяйства победит природу и разовьет духовную деятельность человека.

«Философия хозяйства» Булгакова покоится в конечном итоге на гипотезе германского философа Шеллинга, что имеется единосущность субъекта и объекта исследования.

В июне 1918 года Булгаков стал православным священником и был избран членом Поместного Церковного Собора Православной церкви. Осенью того же года он стал преподавать в Симферопольском университете в Крыму. После падения независимого татарского Крыма большевики лишили Булгакова права преподавать из-за его христианских убеждений, а в 1922 году выслали его из России.

Вскоре после этого он стал преподавать богословие и церковное право на русском юридическом факультете в Праге. С 1925 года до своей кончины в 1944 году отец Сергий играл руководящую роль в Русском Богословском институте в Париже и перестал интересоваться наукой о хозяйстве. Все же он согласился принять участие в экзаменационной комиссии, когда пишущий эти строки получал в 1937 году русскую ученую степень магистра политической экономии и статистики от Русского института прав и экономики при Парижском университете.

Как экономист и богослов С. Н. Булгаков опубликовал 25 книг и несколько сотен статей.

*Борис С. Ижболдин, заслуженный профессор
Сейнт-Луисского университета*

ЛЕНИН И ЦК ПОСЛЕ ИЮЛЬСКОГО ВОССТАНИЯ

После июльского восстания начинается новый этап или, как выражается Ленин, «новый цикл» в подготовке большевицкой революции. Ленин характеризует этот новый этап как качественно отличный от старого в том отношении, что ставка Ленина на «мирное» взятие власти через Советы («Вся власть Советам!») бита, она оказалась нереальной ввиду антибольшевицкой политики большинства Советов, ввиду участия Советов в подавлении июльского восстания. Поэтому Ленин констатирует, что «двоевластие» кончилось. Новое правительство Керенского (8 июля Керенский стал вместо Львова председателем правительства) есть ничто иное, как орудие победившей контрреволюции, а Советы превратились в «фиговый листок» этой контрреволюции. Отсюда Ленин снимает лозунг «Вся власть Советам!» и заявляет: отныне путь ко власти лежит не через Советы, а через вооруженное восстание.

В статье «Политическое положение» от 10 июля 1917 г. Ленин говорит, что «Всякие надежды на мирное развитие русской революции исчезли окончательно... Лозунг перехода всей власти к Советам был лозунгом мирного развития революции, возможного в апреле, в мае, июне, до 5-9 июля, то есть до перехода фактической власти в руки военной диктатуры. Теперь этот лозунг неверен... никаких иллюзий мирного пути больше... Цель вооруженного восстания может быть лишь переход власти в руки пролетариата, поддержанного беднейшим крестьянством для осуществления программы нашей партии» (Ленин, ПСС, т. 34, стр. 5). Но Ленин делает одно серьезное предупреждение своей партии: партия «не бросая легальности, ни на минуту не преувеличивая ее, должна

Это — глава из готовящейся к печати книги «Ленин и ЦК». РЕД.

соединить легальную работу с нелегальной, как в 1912-1914 годах» (там же). Другими словами, из Советов не уходим, но на них при *данном* их составе больше не полагаемся, как на орудие захвата власти. Дорога ко власти лежит через полную изоляцию меньшевиков и эсеров.

Впоследствии, после победы большевиков, Ленин в работе «Детская болезнь» выдвинул положение, которое гласит, что путь победы коммунистической революции на Западе лежит только через изоляцию политического и организационного влияния социал-демократических партий в рабочем классе. Это положение Ленин возводит в непреложный закон любой коммунистической революции. Выдвинув новые задачи и новые лозунги, Ленин вместе с Зиновьевым укрылись от властей. Сначала они жили в шалаше у озера Разлив, потом в августе-сентябре пробрались в Финляндию, где по существу жили на полулегальном положении. ЦИК Советов по предложению меньшевиков и эсеров (резолюция Дана) осудил поведение Ленина и Зиновьева. ЦИК признавал себя «заинтересованным в суде над большевиками, обвиняемыми в мятеже и в получении немецких денег» и пока такой суд состоится, ЦИК их устранил из своего состава. «Экзекуция, учинённая ЦИК над Лениным и Зиновьевым, была по существу вполне справедлива, но это не значит, чтобы она была политически допустима», — говорит по этому поводу Суханов (Н. Суханов, «Записки о революции», кн. V, стр. 50).

Каменев, Луначарский, Крыленко, Мехоношин, Коллонтай, Раскольников (большевицкий комиссар в Кронштадте) были арестованы. Троцкий опубликовал в газетах открытое письмо-вызов на имя Временного правительства, заявляя, что если Ленин немецкий шпион, то он, Троцкий, тоже немецкий шпион. Поэтому он требовал от правительства распространить и на него приказ об аресте. Дан заметил (устами депутата Булата), что Троцкий все-таки благоразумно умолчал свой адрес в письме к правительству. Однако правительство скоро нашло адрес Троцкого и удовлетворило его просьбу: Троцкого тоже арестовали. Но большевицкая фракция ЦИК Советов, как и фракция Петроградского Совета, продолжала существовать и функционировать легально. Правда, Сталин там редко показывался, но член ЦК Ногин, большевицкие лидеры Рыков, Рязанов и руководитель меньшевиков-интернационалистов

Мартов резко критиковали на заседании Советов политику как Временного правительства, так и лидеров Советов в полном согласии с Лениным.

Хотя Временное правительство закрыло издания большевиков, заняло особняк Кшесинской где находился ЦК, издало приказ об аресте Ленина и Зиновьева, арестовало Каменева и Троцкого, оно тем не менее не объявило ни партию большевиков, ни ее ЦК преступными, мятежными организациями. Оно винило отдельных лиц, а не организацию. В силу этого ЦК большевиков, большевицкие фракции в Советах, большевицкие партийные комитеты Петрограда, Москвы, провинций, большевицкие фабрично-заводские комитеты, наконец, Военная организация ЦК партии («военка») остались не только в полнейшем контакте, но и политически и организационно боеспособными. Ленин отсутствовал только физически, но политически своими бесконечными записками и письмами, а также через постоянного связного (Шотман), он присутствовал на заседаниях ЦК.

Собственно его даже не искало правительство, может быть, довольно тем, что он сам исчез с легальной арены. Поэтому руководящие органы партии беспрепятственно продолжают работу по подготовке нового восстания. 13-14 июля в Петрограде происходит расширенное совещание ЦК. Хотя большевицкие историки и указывают на то, что это совещание ЦК происходило нелегально, но сам широкий круг участников говорит об обратном. Кроме членов ЦК на нем участвовали: представители Петербургского комитета, Военной организации, Московского областного бюро, Московского городского комитета, Московского окружного комитета, плюс обслуживающий персонал. Совещание ЦК обсудило положение, создавшееся для партии после июльского восстания, но не согласилось с Лениным как в отношении общей оценки политического положения, так и снятия лозунга «Вся власть Советам!» Расширенное совещание ЦК считало, что установилась не военная диктатура контрреволюции, а «диктатура Керенского, Церетели, Ефремова», что это «представительство мелкой крестьянской буржуазии, за которой идет часть рабочих» и что между этой диктатурой мелкой буржуазии и помещиков «идет в настоящее время торг» и что «контрреволюция от нападения на большевиков переходит уже к нападению на Со-

веты и партии советского большинства... роль Советов падает» («КПСС в резолюциях», ч. 1, стр. 369).

Резолюция совещания ЦК призывала создать такую власть, которая даст мир, землю, рабочий контроль. Резолюция указывала, что такую власть по-прежнему можно получить только через Советы, а именно *данные* Советы. Вопреки Ленину в ней говорилось: «Добиваясь сосредоточения всей власти в руках революционных пролетарских и крестьянских Советов, мы полагаем, что только при выполнении вышеуказанной программы эта власть может осуществить задачи революции» (там же, стр. 369-370). После марта-апреля (до возвращения Ленина) это было уже во второй раз, когда Сталин открыто предъявлял свои претензии на вождя партии. В мартовско-апрельские дни он эти претензии делил с Каменевым, но теперь и Каменев отпал ввиду ареста. Среди оставшихся на воле членов ЦК у Сталина конкурентов не было (Ногин, Милотин, Свердлов, Смилга, Федоров). Поэтому вся работа ЦК, происходила под непосредственным водительством Сталина.

Хотя на руках делегатов были цитированные нами выше тезисы Ленина «Политическое положение», совещание ЦК приняло свою явно антиленинскую резолюцию, предложенную Сталиным. Советский партийный историк склонен преуменьшить значение этого факта, хотя и вынужден его отметить: «Резолюция совещания не давала ясного ответа на такие вопросы текущего момента: в чьих руках находится власть и как относиться к лозунгу «Вся власть Советам!» («История КПСС», т. 3, кн. 1, стр. 167). Это неверно. Читатель видел выше, что резолюция давала такие ответы, но только прямо противоположные тем ответам, которые давал Ленин, а именно — власть находится не в руках военной диктатуры контрреволюции, как Ленин писал, а в руках диктаторов эсера Керенского, меньшевика Церетели и прогрессиста Ефремова, что же касается лозунга «Вся власть Советам!», то ЦК и актив партии не считают нужным снять его. Отсюда на протяжении всего июля и до начала августа Ленин упорно и систематически борется со своим ЦК за выправление линии ЦК в духе тезисов «Политическое положение» и за отмену резолюции июльского расширенного заседания ЦК.

В статье «К лозунгам» Ленин косвенно критикует резолюцию расширенного совещания ЦК и объясняет, почему ЦК

должен снять лозунг «Вся власть Советам!». Он пишет: «Слишком часто бывало, что когда история делает крутой поворот, даже передовые партии более или менее долгое время не могут освоиться с новым положением, повторяют лозунги, бывшие правильными вчера, но потерявшие всякий смысл сегодня, потерявшие смысл «внезапно» настолько же, насколько «внезапен» был крутой поворот истории. Нечто подобное может повториться, повидимому, с лозунгом перехода всей государственной власти к Советам» (Ленин, ПСС, т. 34, стр. 10). Ленин открыто борется против ЦК, который считает ошибочным снятие лозунга «Вся власть Советам!». Он говорит, возражая ЦК: «Лозунг перехода власти к Советам звучал бы теперь как донкихотство или как насмешка» (там же, стр. 12). Ленин требует от ЦК оперировать не старыми, доиюльскими категориями, а новыми: *данные* Советы нас предали, мелкая буржуазия в лице меньшевиков и эсеров нас предала, а поэтому надо готовить вооруженное восстание не только против Временного правительства, но и против *данных* Советов в лице Чхеидзе, Церетели, Дана, Чернова. Ленин против всякого «морализирования» в политике. Он не при всех условиях против мелкобуржуазных партий. Если, например, они осудят своих лидеров и станут на точку зрения «пролетарской партии», он готов их поддержать. В той же статье он так и говорит: «для пользы дела пролетариат поддерживает всегда не только колеблющуюся мелкую буржуазию, но и крупную буржуазию» (стр. 13). Но сейчас положение другое. Один цикл партийно-политической борьбы с 27 февраля по 4 июля — закончился, «начинается новый цикл, в который входят не старые классы, не старые партии, не старые Советы, а обновленные» (стр. 17).

Отсюда Ленин делает главный вывод: дорога к власти лежит только через дискредитацию и изоляцию партий меньшевиков и эсеров, но Советы, очищенные от них, будут новой формой государства диктатуры пролетариата. На протяжении всего июля Ленин вел борьбу с легальной частью ЦК во главе со Сталиным, Свердловым и Ногиным, чтобы заставить ЦК провести предстоящий VI съезд партии под новыми лозунгами и установками, выдвинутыми им в тезисах «Политическое положение». Хотя и не во всем, но в значительной мере это ему удалось. Легальное руководство ЦК должно было пойти на ре-

визию собственных решений, принятых на июльском расширенном совещании ЦК.

Через десять лет после последнего объединенного большевицко-меньшевицкого V съезда (1907) открылся VI съезд, как съезд большевиков совместно с группой «межрайоновцев» — с группой Л. Троцкого (она состояла, как указывалось, из «внефракционных» меньшевиков-интернационалистов и большевиков-«передовцев» и «примиренцев»). Съезд был легальным, хотя все официальные историки говорят о его нелегальном или «полулегальном» характере (Ем. Ярославский, Краткая история ВКП(б), 1930, стр. 276, История ВКП(б). Краткий курс, 1953, стр. 187, История гражданской войны в СССР, т. I, 1935, стр. 179, История КПСС, т. 3, кн. 1, стр. 174). Однако из протоколов VI съезда видно, что почти все делегаты участвуют на съезде под своими именами или уже общеизвестными кличками, а главное — в большевицкой газете «Рабочий и солдат» ежедневно появляются отчеты о ходе работы съезда. Даже кадетская газета «Речь» от 28 июля 1917 г. напечатала заметку о работе съезда. Делегат съезда Скрыпник, возмущаясь этим фактом, говорил: «Я не знаю, кто осведомляет «Речь». *Мы работаем открыто*, но не допустимы искажения и клевета» и по его предложению было записано: «Съезд заявляет, что единственные проверенные и соответствующие действительности отчёты о работах съезда помещаются в газете «Рабочий и солдат» (Шестой съезд РСДРП(б). Протоколы, стр. 67-68).

Да и не мог быть нелегальным съезд, на котором участвовало вместе с техническим персоналом более 300 человек. Временное правительство было точно о нем осведомлено, но не запретило его. На съезде присутствовали 157 делегатов с решающим и 110 делегатов с совещательным голосом, представляющих 240 тыс. членов партии, таким образом между Апрельской конференцией и VI съездом (то есть, за три месяца) партия выросла втрое. Съезд заседал с 26 июля по 3 августа. Повестка дня съезда была следующая: 1) доклад Организационного бюро по созыву съезда (Свердлов) (оно состояло из 3 большевиков и 2 межрайоновцев), 2) доклад ЦК РСДРП(б) (Сталин, Свердлов, Смилга), 3) отчеты с мест, 4) текущий момент: а) Война и международное положение (Бухарин), б) политическое (Сталин) и экономическое положение

(Милютин), 5) выборы в Учредительное собрание, 6) Интернационал, 7) пересмотр программы, 8) объединение партий, 9) выборы, 10) разное. Президиум съезда был избран из пяти человек: Свердлов, Ольминский, Ломов, Юрьев (от межрайоновцев) и Сталин. Почетными председателями съезда были избраны Ленин, Зиновьев, Каменев, Троцкий, Коллонтай и Луначарский. Доклад по «текущему моменту» вместо трех докладчиков — Сталина, Бухарина и Милютина должен был делать Л. Троцкий. Делая отчет Организационного бюро, Свердлов заметил: «По вопросу о докладчиках Оргбюро сделано все, что могло, но съезду придется отказаться от тех докладчиков, к голосу которых мы привыкли прислушиваться. В самое последнее время, докладчик по текущему моменту, т. Троцкий был изъят...» (Шестой съезд РСДРП (большевиков). Протоколы. 1958, Москва, стр. 8).

Любопытная деталь: съезд приветствовало Центральное Бюро меньшевиков-интернационалистов как устно (через Ю. Ларина), так и письменно (за подписями Л. Мартова и Астрога). Ларин говорил на съезде: «Как мне известно, впоследствии на ваш съезд явится вождь меньшевиков-интернационалистов т. Мартов и выступит официально (*апплодисменты*)» (стр. 69), но Мартов все-таки не явился, а прислал приветствие. В нем говорилось: «Приветствуем съезд вашей партии, собравшийся в столь тяжелое для нее время... Не сомневаемся в том, что эти преследования и травли не смогут поколебать влияние идей интернационализма на организованную под знаменем вашей партии часть пролетариата, и пользуемся случаем, чтобы выразить еще раз наше глубокое возмущение против клеветнической кампании, которая целое течение в русской социал-демократии стремится представить агентурой германского правительства» (стр. 194). Мартов констатировал, что между его течением и большевиками существует «глубокое расхождение в вопросе о методах рабочего движения и революционной борьбы», которое делает невозможным объединение (стр. 195).

Ленин и Зиновьев обратились к съезду с письмом, в котором они сообщали, что уклонились от ареста потому, что дело против них создано «контрреволюцией» и что только «Учредительное Собрание будет правомочно сказать свое слово по поводу приказа Временного правительства о нашем аресте» (там же, стр. 316). Надо сказать, что вопрос о явке или

неявке Ленина и Зиновьева на суд занял в работе съезда с самого начала очень видное место, хотя формально он и не был включен в повестку дня. В большевицких учебниках по истории революции из одной книги в другую кочует легенда, совершенно искажающая весь характер обсуждения данного вопроса на съезде. Во-первых, умалчивается сам факт, что ЦК и Ленин были против обсуждения этого вопроса на съезде, во-вторых, скрывается и тот факт, что Сталин и Орджоникидзе при определенных условиях были за то, чтобы Ленин явился на суд, а многие делегаты при любых условиях были против явки Ленина. Даже сама постановка вопроса Сталиным о неявке Ленина была неленинская. В то время как Ленин и Зиновьев твердо решили не явиться на суд, Сталин говорил на съезде: «Если суд будет демократически организован и будет дана гарантия, что их не растерзают... Если во главе будет стоять власть, которая будет иметь хоть некоторую честь они явятся» (стр. 27-28).

Делегаты съезда, знающие мнение Ленина, решительно возразили Сталину. Скрыпник сказал: «В резолюции, предложенной Сталиным, было известное условие, при котором наши товарищи могли бы пойти в республиканскую тюрьму — это гарантия безопасности. Я думаю, что в основу резолюции должны лечь иные условия...» (стр. 31). Володарский говорил: «Один пункт резолюции т. Сталина неприемлем: честный буржуазный суд» (стр. 32). Бухарин, возражая Сталину, сказал: «В вопросе о выдаче и невыдаче т.т. Ленина и Зиновьева мы не можем стать на почву скользкости. Что значит «честный буржуазный суд»? Разве честный буржуазный суд не будет стремиться отсечь нам голову?» (стр. 34). Но Бухарин привел и более убедительный мотив о невозможности явиться на суд Ленину и Зиновьеву. Он сказал: «На этом суде будет ряд документов, устанавливающих связь с Ганецким, а Ганецкого с Парвусом, а Парвус писал о Ленине. Докажите, что Парвус не шпион!» (там же, стр. 34). Бухарин внес резолюцию, которая при всех условиях отвергала явку на суд Ленина и Зиновьева. Съезд отверг резолюции Сталина об условной явке Ленина. Съезд отверг также резолюцию Володарского, Лашевича и Мануильского, в которой говорилось, что Ленин и Зиновьев должны явиться в суд, если будут удовлетворены следующие условия: 1) гарантия личной безопасности, 2) глас-

ное ведение следствия, 3) участие в следствии представителей Советов, 4) возможно более скорый разбор дела гласным народным судом — судом присяжных (Шестой съезд, стр. 32).

Съезд принял резолюцию Бухарина, в которой принципиально отвергалась явка на суд. В ней говорилось, что «нет абсолютно никаких гарантий не только беспристрастного судопроизводства, но и элементарной безопасности привлекаемых к суду» (стр. 270). Так как вожди и эсеров и меньшевиков в Советах открыто заявляли, ссылаясь на моральные аргументы, что они не верят в «измену» Ленина в пользу Германии, то VI съезд решил использовать авторитет этих вождей в пользу Ленина и Зиновьева. Поэтому в добавлении к резолюции о неявке Ленина говорилось: «Съезд в то же время требует от ЦИК в целях разоблачений гнусных клеветников образования следственной комиссии из представителей всех революционных партий, которой только и может доверять proletariat» (там же, стр. 270, примечание). Ленин, разумеется, не согласился явиться и в такую комиссию. Ленин целил лишь в одну точку: в победу собственной революции, хорошо зная, что победителей не судят.

В политическом отчете ЦК Сталин изложил ход событий с апреля по июль 1917 г., повторяя известные тезисы партии об июньских событиях и июльском восстании. На обвинение части делегатов, что ЦК партии лишь командовал, не запрашивая волю партии, Сталин ответил в заключительном слове: «Требовать от ЦК, чтобы он не предпринимал никаких шагов, предварительно не опросив провинции, значит требовать, чтобы ЦК шел не впереди, а позади событий и только констатировал в своих резолюциях уже совершившиеся факты. Но это был бы не ЦК» (стр. 27). Как в этом заключительном слове, так и в докладе о политическом положении Сталин разошелся с Лениным по трем важнейшим вопросам: 1) по вопросу о явке на суд (о котором мы уже говорили), 2) по вопросу о природе власти, которая установилась после июльского восстания (Ленин говорил о полной победе контрреволюции, а Stalin заявил: «В данный момент все еще не ясно, в чьих руках власть», стр. 27-28), 3) по вопросу об анализе движущих сил февральской революции. Stalin говорил о «коалиции» четырех сил в революции: рабочего класса, крестьянства, либеральной буржуазии и иностранного капитала (там же, стр. 110), тогда как

по Ленину февральскую революцию совершили лишь два класса: пролетариат и крестьянство.

В организационном отчете ЦК Свердлов сообщил, что если в апреле в партии было лишь 78 организаций с 80.000 членов, то в июле в партии 162 организации с 240.000 членов, из них 26.000 военных членов (стр. 36). Партия имела 41 газету с ежедневным тиражом 320 тыс. экземпляров. 27 газет выходили на русском языке, остальные на грузинском, армянском, латышском, татарском, польском и других языках (История гражданской войны в СССР, т. 1, стр. 177). Докладчик ЦК по финансам Смилга сообщил, что существующий состав ЦК принял от предыдущего состава деньги в сумме 71.123 руб. 02 коп. Из этой суммы в кассе сейчас 25.028 руб. 85 коп. (на жалованье партийных работников было израсходовано 11.135 руб.). ЦК приобрел собственную типографию, заплатив за нее 260.000 руб. Указано, что около 140.000 руб. из них было собрано «рабочими», а 120 тыс. взяты из денег «Правды» (в отчете говорится, что у «Правды» оказались эти средства из подписных денег, хотя известно, что «Правда» себя никогда не окупала). «Правда» издавалась тиражом 85-90 тысяч, имея в марте 8.000 подписчиков, в апреле 13.000, в мае 18.000 и в июне 21.000 (Шестой съезд, стр. 38-39-40-41). Причем обязательные 10% отчисления от местных организаций в кассу ЦК составили только 4.104 руб. 06 коп. (там же, стр. 88). (Скажем тут же: не только до захвата власти, но и после прихода к власти ЦК держит свой бюджет в строжайшей тайне, но на этот раз уже по другим мотивам) Сам докладчик признался: «Нам приходится жить на сборы и пожертвования. Отчисления дали очень мало» (там же, стр. 39). Немецкие деньги ведь тоже были своего рода «пожертвованием» в пользу революции.

Съезд в целом отнесся к Советам более осторожно, чем Ленин. В то время как Ленин одновременно объявлял войну и Временному правительству и Советам, VI съезд принял эластичную, скорее просоветскую формулу, чем проленинскую, определенно антисоветскую. Ленин еще до съезда писал, что Церетели и Чернов превратили «Советы в фиговый листок контрреволюции» (Ленин, ПСС, т. 34, стр. 2) и что «Данные Советы провалились, потерпели полный крах из-за господства в них партий эсеров и меньшевиков. В данные минуты эти Советы похожи на баранов, которые приведены на бойню, по-

ставлены под топор и жалобно мычат» (там же, стр. 17). Отсюда требование Ленина снять лозунг «Вся власть Советам!» Съезд не выдвигает этого лозунга, но и не снимает его. Съезд молчаливо допускает пригодность этого лозунга даже сейчас, но взять власть Советы уже не могут мирным путем. Соответствующий пункт резолюции гласит: «Советы переживают мутильную агонию... Лозунг передачи власти Советам... был лозунгом мирного развития революции, безболезненного перехода власти... В настоящее время мирное развитие и безболезненный переход власти к Советам стали невозможны... Правильным лозунгом в настоящее время может быть лишь полная ликвидация диктатуры контрреволюционной буржуазии...» (Шестой съезд..., стр. 256).

Такая постановка вопроса допускает, что Советы могут оказаться теперь (иначе, чем раньше) органами немирного и «болезненного» перехода власти. Поэтому надо беречь Советы даже такие, какими их рисует Ленин. Та же резолюция целит как раз в эту точку, когда ставит задачей партии: «Отстаивать против контрреволюционных покушений все массовые организации и в первую голову Советы рабочих, солдатских и крестьянских депутатов» (там же, стр. 257). Многие делегаты открыто возражали против ленинского требования, предлагая сохранить лозунг «Вся власть Советам!», не подвергая его какой-либо ревизии (Ярославский, Юрьев, Преображенский, Джапаридзе и др.).

В отношении программы партии съезд подтвердил решение Апрельской конференции о ее пересмотре, но не предпринял такого пересмотра, отложив это до следующего съезда. Были приняты резолюции «Текущий момент и война» (Бухарин), «Политическое положение» (Сталин), «Экономическое положение» (Милютин), «Профессиональное движение» (Глебов-Авилов), «О молодежи» (Харитонов и Смилга), «Об объединении партии» (Юрьев), о новом Уставе партии (Харитонов). Когда читаешь официальную историю советских историков, создается впечатление, что в основе каждой из названных резолюций лежат готовые проекты Ленина. Анализ протоколов VI съезда показывает, что каждая из названных резолюций является творчеством соответствующего докладчика вместе с комиссией (секцией), которую выбирал съезд по каждому докладу.

Никаких документов от Ленина на съезде не фигурировало кроме уже упомянутого заявления Ленина и Зиновьева, почему они уклонились от ареста. Поэтому совершенно бездоказательно следующее утверждение официальных историков: «Наиболее важные документы съезда готовились Лениным... Делегат Шумяцкий отмечал: «Тезисы, проекты, резолюции, директивы — все это исходило от Ильича» (История КПСС, т. 3, кн. 1, стр. 174). В протоколах VI съезда (Шестой съезд РСДРП(б). Протоколы. Москва, 1958) нет каких-либо следов таких документов, поэтому официальные историки ссылаются для подтверждения своего тезиса на третьестепенного свидетеля-мемуариста. Тем не менее дух Ленина витал над съездом. Самостоятельность съезда как раз говорит в пользу Ленина. Ленин создал такую великолепную партийную машину, что она способна действовать даже в отсутствии ее конструктора и главного водителя.

На этом же VI съезде официально в большевицкую партию вошел и Л. Троцкий со своей «межрайонной группой», которая начиная с 1913 г. действовала в Петербурге и во время войны сблизилась с большевиками. Вместе с Троцким в партию через «межрайонную группу» (4.000 человек) вернулись и лидеры большевиков-«впередовцев» (Луначарский, Мануильский и др.).

Съезд принял новый Устав партии. Знаменитый ленинский §1 был теперь изложен так: «Членом партии признается всякий, признающий программу партии, входящий в одну из ее организаций, подчиняющийся всем постановлениям партии и уплачивающий членские взносы» (КПСС в резолюциях, ч 1, стр. 384). Подчеркнутые слова были введены впервые в §1 и они означали лишь одно: партийные организации на всех уровнях подчиняются постановлениям своих комитетов, а партия в целом постановлениям ЦК. В Уставе значительно уточнялись и расширялись права ЦК, а в самом ЦК создавался, так сказать, «ЦК в ЦК» под названием «Узкого состава ЦК» для руководства текущей работой. Впервые была создана и ревизионная комиссия по проверке финансов партии и ее предприятий. Верховным органом партии объявлялся ежегодный съезд партии; нормы представительства на съезд устанавливались ЦК. Съезд: 1) заслушивает и утверждает отчеты ЦК, ревизионной комиссии и прочих центральных учреждений, 2)

пересматривает и изменяет программу партии, 3) определяет тактическую линию партии, 4) избирает ЦК и ревизионную комиссию.

Создание ревизионной комиссии, политически не затрагивающей моноцентрие партии, повидимому, было вызвано желанием партии узнать поближе о происхождении партийных денег. До сих пор узкая руководящая головка ЦК во главе с Лениным не давала отчёта о своих финансах ни партии, ни даже ее ЦК в полном составе. Именно разоблачения о «немецких деньгах» сделали вопрос создания центральной ревизионной комиссии, выборной и подотчётной только съезду партии, актуальным. Пункт о ЦК был сформулирован так: ЦК избирается ежегодно на съезде. Для текущей работы ЦК выделяет из своей среды узкий состав ЦК. Пленарные заседания ЦК собираются не реже одного раза в два месяца. ЦК представляет партию в сношениях с другими партиями и учреждениями, организует различные учреждения партии и руководит их деятельностью, назначает редакцию Центрального органа, работающего под его контролем, организует и ведет предприятия, имеющие общепартийное значение, распределяет силы и средства партии и заведует центральной кассой партии (там же, стр. 384-385).

ЦК, избранный VI съездом, был расширен более чем вдвое. В его состав вошли: 21 член и 10 кандидатов, избранных путем тайной подачи голосов. Съездом было принято решение, что если он закончится «нормально» (то-есть без арестов), то он опубликует список членов и кандидатов ЦК. Это решение съезда после выборов ЦК было отменено, хотя никаких арестов не было (Временное правительство даже не попыталось затруднить работу съезда). Съезд только огласил имена четырех членов ЦК, получивших наибольшее число голосов: Ленин — 133 голоса из 134, Зиновьев — 132, Каменев — 131, Троцкий 131 («шумные аплодисменты» — отмечает протокол в этом месте — «Шестой съезд», стр. 252).

Весь состав ЦК VI съезда был следующим: Члены: Я. А. Берzin, Н. И. Бухарин, А. С. Бубнов, Ф. Э. Дзержинский, Г. Е. Зиновьев, Л. Б. Каменев, А. М. Коллонтай, Н. Н. Крестинский, В. И. Ленин, В. П. Милютин, М. К. Муранов, В. П. Ногин, А. И. Рыков, Я. М. Свердлов, Ф. А. Сергеев (Артем), И. Т. Смилга, Г. Я. Сокольников, И. В. Сталин, Л. Д. Троцкий, М.

С. Урицкий, С. Г. Шаумян. Кандидаты: П. А. Джапаридзе, А. А. Иоффе, А. С. Киселев, А. Ломов, Е. А. Преображенский, Н. А. Скрыпник, Е. Д. Стасова, В. Н. Яковleva. Скоро Стасова, Ломов и Иоффе были переведены в члены ЦК. Таким образом членов ЦК стало 24 чел. (История КПСС, т. 3, кн. 1, стр. 197).

На первом пленуме ЦК после съезда 5 (18) августа 1917 г. был избран «узкий состав» ЦК, куда вошли: Stalin, Сокольников, Дзержинский, Миллютин, Урицкий, Иоффе, Свердлов, Муранов, Бубнов, Стасова, Шаумян. «Узкий состав» ЦК представлял из себя нечто вроде будущего Политбюро ЦК. На заседании этого «узкого состава» 6 августа был выделен Секретариат ЦК. В состав Секретариата ЦК вошли: Свердлов (фактический первый секретарь ЦК), Дзержинский, Иоффе, Муранов и Стасова (Протоколы ЦК РСДРП(б), стр. 6, 13, Москва, 1958).

Подводя общий итог VI съезду, надо зафиксировать один исторической важности факт: тон вождя партии на съезде задавал Stalin. Конечно, внешне это стало возможным из-за отсутствия Ленина, Зиновьева, Каменева и Троцкого (формально еще не члена партии). Однако именно VI съезд партии доказал, что из всех вождей большевизма вождем класса и формата Ленина является только один Stalin. Между тем Ленин его недооценивал. Несмотря на то, что Stalin в партии с 1898 г., несмотря на то, что Stalin участвовал вместе с Лениным на Гельсингфорской конференции в 1905 г., на IV и V съездах в 1906 и 1907 гг., на Поронинском совещании в 1913 г., был кооптирован в члены ЦК в 1912 г., не говоря уже о письменной связи между ними, Ленин даже не знал почти до 1917 г. настоящей фамилии Stalina. В письме Зиновьеву в июле 1915 г. Ленин спрашивает: «Не помните ли фамилию Кобы?» (Ленин, ПСС, т. 49, стр. 101). В ноябре 1915 года в письме к В. А. Карпинскому Ленин повторяет этот вопрос: «Большая просьба: узнайте фамилию Кобы (Иосиф Дж...?). Мы забыли. Очень важно!!» (там же, стр. 161). Увы, потом не только Ленин, но и вся страна навеки запомнит это имя.

Как уже отмечалось, репрессии Временного правительства после июльского восстания были направлены не против партии, даже не против ЦК партии большевиков, а против отдельных вождей, главным образом, против Ленина. Но и против Ленина не был объявлен общий розыск. Его оставили в покое,

лишь бы он не показывался на собраниях. Большевики же, в свою очередь, использовали бегство Ленина от суда, как акт мученичества и преследования старого революционера и «демократа» революционным демократическим правительством. Тем временем ЦК большевиков развертывает весьма интенсивную пропаганду дела Ленина. В июле ЦК и его местные филиалы выпускали 51 печатный орган (сюда не входят большевицкие газеты, издаваемые Советами и профсоюзами). Из них только 13 органов было запрещено после июльского восстания, из которых пять органов (в том числе Центральный орган) начали выходить под новыми названиями и, кроме того, прибавилось еще пять новых (История КПСС, т. 3, кн. 1, стр. 183). Ежедневный тираж всех большевицких газет и журналов составлял накануне октябрьского переворота около 600 тыс. экземпляров (там же, стр. 253).

На VI съезде были приведены многочисленные данные о той огромной организаторской работе по подготовке революции, которую вели агенты ЦК на местах. Четыре заседания VI съезда были посвящены «докладам с мест». Докладывали Военная организация при ЦК, Военная организация при Московском комитете, Военная организация 12-ой армии и Румынского фронта, гражданские партийные организации — Петрограда, Москвы, Донбасса, Белоруссии, Кронштадта, Урала, Средней Сибири, Прибалтики, Поволжья, Грозного, Закавказья, Петроградской межрайонной организации и др. (Шестой съезд, стр. 55-96). Все докладчики единодушно подчеркивали, что после июльского восстания местные большевицкие организации работают еще более интенсивно, главное — легально, без каких-либо притеснений со стороны властей. VI съезд воочию убедил всех, кроме, кажется, Временного правительства и эсеро-меньшевицких вождей Советов, что большевики всерьез держат курс на вооруженное восстание в самом близком будущем. Это была не риторика, когда изданный ЦК от имени VI съезда «Манифест» (он был написан Бухариным) кончался словами: «...Грядет новое движение и настаёт смертный час старого мира. Готовьтесь же к новым битвам, наши боевые товарищи!» (там же, стр. 276).

Трагедия свободной России заключалась в том, что в это предупреждение она решительно не верила. Самый распространенный предрассудок сводился к тому, что большевики,

если даже захватят власть, то не справятся с нею и не удержат ее. Против этого предрассудка Ленин даже написал специальную брошюру: «Удержан ли большевики государственную власть?» И Ленин без всяких обобщений и философских мудрствований отвечал на этот вопрос так: если старой Россией управляли 130.000 помещиков, то новой Россией могут управлять 240.000 большевиков. На основной аргумент противников, что у большевиков нет «культурных кадров», чтобы справиться со сложными задачами управления, чтобы овладеть государственной машиной, Ленин в полном согласии с Марксом отвечал: да мы и не собираемся ею овладевать. Мы хотим ее разрушить до последнего винтика, а это мы вполне можем. Управлять же новым государством мы будем через новую формулу власти — через Советы.

Сейчас же после VI съезда перед ЦК стал ряд вопросов: как трактовать на практике снятие лозунга «Вся власть Советам!»? Означает ли это перенесение центра тяжести работы от легальных органов партии на ее нелегальные органы? Другой вопрос казался еще более щекотливым — на какую из двух столиц страны ориентироваться как на будущий центр восстания — на Петроград или на Москву? Наконец, был выдвинут и такой вопрос — допустимы ли принципиально соглашения между большевиками и другими советскими партиями против контрреволюции справа. На первый и главный вопрос ЦК отвечает классической ленинской формулой: сочетать нелегальную работу с легальной. Оставаться в Советах, но всеми средствами дискредитировать *данные* Советы и добиваться их перевыборов. Даже идти и в такой легальный орган, как Московское государственное совещание (12-15 августа), где правые генералы Корнилов и Каледин собираются с представителями Государственной Думы всех четырех созывов, вместе с Милюковым, Керенским, Церетели. Идти, чтобы образовать на совещании большевицкую фракцию, которой поручается выработать декларацию, «зачитать ее перед началом работы совещания и в знак протеста демонстративно покинуть зал заседаний» (История КПСС, т. 3, кн. 1, стр. 210).

Сделать это большевикам не удалось, так как ЦИК Советов, официально участвовавший на Московском совещании, исключил из состава своей делегации группу большевиков,

разгадав их замысел. Тогда ЦК большевиков, пользуясь преобладанием большевиков в руководстве московских профсоюзов, объявил день открытия Московского совещания днем всеобщей политической забастовки. Призыву ЦК последовало свыше 400.000 рабочих Москвы и ее окрестностей (там же, стр. 211). Вот этот неожиданно большой революционный успех в Москве, которую до сих пор считали более консервативной чем Петроград (потому и было созвано здесь Государственное совещание), заставил даже Ленина пересмотреть (на время) свою стратегию завоевания власти в отношении главного центра восстания. 19 августа Ленин писал: «Москва теперь, после Московского совещания, после забастовки, после 3-5 июля, приобретает или может приобрести значение центра. В этом громадном пролетарском центре, который больше Петрограда, вполне возможно нарастание движения типа 3-5 июля... 3-5 июля 1917 г. в Питере лозунг взятия власти был бы неверен... Теперь совсем не то. Теперь в Москве, если вспыхнет стихийное движение, лозунг должен быть именно взятия власти» (Ленин, ПСС, т. 34, стр. 77, 78).

В отношении временных блоков и соглашений с меньшевиками и эсерами ЦК держался другой политики, чем Ленин. После 3-5 июля Ленин уже в принципе отрицал всякую связь и всякие совместные акции с этими партиями. ЦК и Московский комитет, наоборот, именно теперь, в связи со слухами о подготовке выступления Корнилова, считали, что такие связи не только допустимы, но и полезны. На заседании «Узкого состава» ЦК от 14 августа было доложено, что в Москве создан Временный революционный комитет из 7 человек: двух большевиков, двух меньшевиков, двух эсеров и одного от штаба. На том же заседании «ЦК постановил войти в информационную связь» с ЦИК, в котором меньшевики и эсеры создали «Информационное бюро» из всех советских партий в связи со слухами о заговоре справа. Информационное бюро официально пригласило в свой состав представителей ЦК большевиков. Последний постановил направить туда членов ЦК Свердлова и Дзержинского (Протоколы ЦК РСДРП(б), стр. 21). Такое поведение ЦК вызвало резкий протест Ленина. В статье «Слухи о заговоре» он писал по поводу поведения ЦК и МК: «...ясное сознание массами предательства меньшевиков и эсе-

ров, полный разрыв с ними, такой же бойкот их всяkim революционным пролетарием...» Ленин требовал «отстранить от работы членов ЦК или МК, ежели бы факт блока подтвердился, и внести вопрос о формальном отстранении их до съезда на первый же пленум ЦК». (Ленин, ПСС, т. 34, стр. 77). ЦК эти требования Ленина оставил без внимания.

A. Авторханов

РУССКОЕ СТАРООБРЯДЧЕСТВО

Глубокий и вдумчивый труд страстного, но ни в коем случае не пристрастного исследователя Сергея Александровича Зеньковского «Русское старообрядчество», без всякого преувеличения является событием в русской исторической литературе. Профессор Зеньковский десятки лет занимался русским старообрядчеством и опубликовал ряд работ об идеологии и литературе поборников старой веры. В своей новой книге он не только подводит итоги предыдущих исследований, но, опираясь на всю массу исторических текстов и на архивные материалы, впервые использованные им, смело даёт синтез трагических событий раскола внутри русской церкви и его роковых последствий. Ярко восстанавливает он подлинную картину духовной борьбы XVII века.

В своем предисловии к книге он говорит: «Поскольку это было возможно, автор старался в этой книге избежать употребления слова раскол. В обычной русской терминологии это слово стало одиозным и несправедливым в отношении старообрядчества. Раскол не был *отколом* от церкви значительной части ее духовенства и мирян, а подлинным внутренним разрывом в *самой церкви*, значительно обеднившим русское православие, в чем были виноваты не одна, а обе стороны: и упорные, и отказывавшиеся видеть последствия своей настойчивости насадители нового обряда, и слишком ретивые и, к сожалению, часто тоже очень упрямые и односторонние защитники старого». На протяжении всей своей работы, без каких-либо дидактических внушений, Зеньковский лишь силой самой передачи подлинного исторического материала и яркостью показа основных участников борьбы направляет интерес читателя к вопросу о возможности обоюдного покаяния сторон на пути к примирению после жестокой трехсотлетней вражды.

С. ЗЕНЬКОВСКИЙ. Русское старообрядчество. Russia's old-believers. Wilhelm Fink Verlag, München. 1970.

«Казалось, что триста лет, прошедших со времен церковной смуты, развившейся при царе Алексее Михайловиче, были достаточным сроком для изучения и выяснения причин трагического раскола в русском православии, который тяжело отразился на судьбах России и немало помог созданию тех условий, которые полвека тому назад привели царскую Россию к крушению. Но... до сих пор почти что не вскрыты сущность влияния старообрядческой мысли на идеологию русских мыслителей, славянофилов и народников, «почвенников» середины прошлого века и думских «прогрессистов» начала этого века, значение старообрядческих деятелей в развитии русской экономики и связи старообрядческих писаний с русской литературой начала XX века. Почти что совсем забыт тот факт, что именно старообрядцы сохранили и развили учение об особом историческом пути русского народа, «святой Руси», православного «Третьего Рима» и что в значительной степени благодаря им эти идеи снова уже в прошлом и этом столетиях заинтересовали русские умы», — пишет Зеньковский; и в то же время, до наших дней в сознании не только рядового, русского интеллигента, а зачастую и в книгах историков старообрядчество представляется как движение защитников искашенных византийских обрядов, слепых фанатиков, квасных церковных патриотов.

Проф. С. Зеньковский резко восстаёт против таких широко распространенных взглядов. По его мнению раскол XVII века явился как бы взрывом долго накапливавшихся в русских умах энергий мессианских чаяний, взрывом, который был не результатом злобного обскурантизма и духовного застоя, а, как раз наоборот, столкновением сторонников духовного возрождения русской церкви с талантливым, но мало просвещенным и, главное, упорным патриархом, считавшим, что все проблемы церкви можно разрешить дисциплинарными мерами и авторитарными мероприятиями. Зеньковский утверждает, что религиозное напряжение, вера в теократическую утопию, в особый духовный путь России были почти всегда присущи древнерусским книжникам. В XV-XVI вв., после падения Царьграда, эти чаяния нашли свою формулировку в повести «О белом клобуке», в которой, вслед за хилиастами и почти одновременно с францисканцами-спиритуалистами, говорилось о

предстоящем третьем, вслед за царством Отца и Сына, царстве св. Духа.

Русская версия хилиастских упований прибавляла, что в этом Царстве, которое понималось как новая духовно-историческая эпоха, «слава св. Духа воссияет на Руси». Известный псковский Филофей только переформулировал и духовно снизил утопические надежды «Повести о белом клобуке», когда он говорил о «Москве Третьем Риме». Максим Грек, до своего приезда в Москву, жил во Флоренции, в доминиканском монастыре, откуда незадолго до его приезда вышел Саванаролла, который подлил масла в огонь русских чаяний своими страстными обличениями «эллинствующего», т.е. вернувшегося в эпоху Возрождения к идеалам дохристианского мира, Запада. А ведь как раз в его время Русь осталась единственной православной страной, не подчиненной иноверному или инославному игу. В его писаниях, в том числе и в житии Саванароллы, столь почитаемых позже старообрядцами, русские могли научиться беспощадному языку флорентийского доминиканца, не побоявшегося обличить главу западного христианства и современное ему общество.

Испытания Смутного времени не только испугали русское общество, но и заставили многих оглянуться на грехи православного «Третьего Рима». В числе этих людей был и известный деятель национального движения той поры — Дионисий Зобниковский, архимандрит Троице-Сергиевского монастыря, который в своих посланиях, обличавших и призывавших современников исправиться, широко использовал писания первого создателя учения социального христианства св. Иоанна Златоуста и его последователя Максима Грека. Неудивительно поэтому, что именно из монастыря Святой Троицы и из среды учеников Дионисия вышел первый проповедник русского церковного обновления Иван Неронов. Став, с благословения Дионисия, светским священником в Нижнем Новгороде, Неронов начал проповедь нравственного возрождения Руси и социальной справедливости, делая при этом особое уделение на возобновлении парвославной литургии во всей ее красоте и полном тексте, которым он придавал особое значение для духовного подъема страны.

В течение 1630-1640 гг. Неронов и его друзья «ревнители православия» или, как они называли себя, «боголюбцы»,

проделали колоссальную работу по проведению самодисциплины, улучшению нравов и самостоятельности приходов в русской церкви. В конце 1640 гг. к ним примкнули и такие влиятельные люди, как царский духовник Стефан Вонифатьев, царев друг боярин Федор Ртищев и, наконец, и сам царь. Все они старались провести в жизнь программу подлинного «православного царства». Неронов был переведен в Москву. Очень близок к «боголюбцам» был и московский архимандрит Никон, ставший вскоре митрополитом новгородским, а в 1652 году патриархом российским. Но прия к власти, авторитарный и слишком высоко оценивавший и себя, и свой сан Никон быстро разошелся со своими друзьями «ревнителями». Как и они, он хотел поднять нравственное и, еще более, дисциплинарное состояние русской церкви, но он хотел это провести не увещеванием и проповедью, не сотрудничеством с «боголюбцами» и широкими кругами достойных клириков и мирян, но личными повелениями, пышностью патриаршего величия, строгим проведением иерархической подчиненности как нисшего клира, так и епископата. Свою власть он хотел поднять до мощности власти римского первосвященника; недаром он любил цитировать слова папы Иннокентия III о превосходстве духовной власти над светской.

Никон всегда спешил, и именно в спешке он начал проводить исправление старорусских обрядов и книг по новогреческим, нередко изданным даже не на православном Востоке, а в Венеции или Париже. Он не понял, что русские обряды лучше отражали старый византийский, чем новый греческий, устав, и стал рубить с плеча, не отдавая себе отчета, какие сомнения он вносит в души русского духовенства и особенно его наиболее преданной церкви части, своих бывших соратников «боголюбцев».

Страх перед патриархом, опасение ссылки, страшных физических наказаний, обильно применявшимся Патриаршим Приказом, побудили испуганных и не очень ретивых владык архиереев принять переделку старо-русского устава на новогреческий лад. Большинство из греческих и ближне-восточных владык поддержали Никона. К сожалению, только немногие, в том числе и патриарх Константинопольский, пытались его удержать, уговаривая не менять установившихся традиций

благочестия. Но Никон возомнил себя больше греком, чем сами греки, и шел напролом.

Для «боголюбцев» никоновские затейки, начатые в порядке не соборных решений, а в виде «памяток», «промеморий» были совершенно неприемлемы. Еще совсем недавно они добились восстановления во всей русской церкви «единогласия» — отчетливого и в один глас служения полной литургии, и за эту литургию готовы были пострадать. Обряд был в их умах вехами царства Божия, которое они мыслили как «прекрасную вечную литургию, вечное общение с Создателем в благолепном вселенском храме». Конфликт осложнился жестокостью патриарха Никона, ставшего преследователем своих недавних друзей, которые осмелились сопротивляться его безапелационным решениям. Большинство бывших «боголюбцев» вскоре погибло в тюрьмах и ссылке. Уцелевшие стали врагами патриарха и его затеек. Среди последних были и Аввакум и протопоп Иван Неронов, первый возглавивший сопротивление новому обряду. Хотя царь сам, в конце концов, разошелся с Никоном и добился его ухода от власти, тем не менее, он не вернулся к старому обряду.

Новогреческий обряд уже был давно принят на всем Ближнем Востоке и с 1630 гг. — в православных землях Польши. Возвращение к старому уставу могло скомпрометировать внущенные Никоном и некоторыми греческими иерархами упования царя на создание всеправославной вселенской империи. Отказываясь от древнерусского служебника и обрядов, Алексей Михайлович чувствовал, что выводил себя и Россию на вселенский православный путь, ставил свою страну ближе к другим православным народностям Османской империи и к православному населению Польши. А это, видимо, в его глазах служило и важным политическим целям. Кроме того, отстранив властного Никона и прибрав к своим рукам руководство церковью, Алексей Михайлович, по всей вероятности, не хотел снова делать уступку той партии, которая серьезно ставила царство Божие выше царства царева. Таким образом, государство и его правящий класс отказались от древне-русской церковной традиции, забыли мессианскую мечту и пошли по пути использования церкви для своих политических целей. То, что через 60 лет было официально сделано Петром, фактически

было проведено в жизнь «тишайшим», но последовательно идущим к власти абсолютного монарха отцом его.

В борьбе возрожденцев-боголюбцев, патриарха и самодержавца царя, за которым шел новый правящий класс служилого дворянства, светская власть вышла победительницей. Зато самые преданные и верные старой традиции и церкви русские православные люди оказались исключенными и изгнанными из руководящих кругов страны, а затем и из самой церкви. Вскоре они очутились в ссылке, в эмиграции, в подполье или в дебрях северных лесов. «Невозможность для Аввакума, Досифея, Евфросина и других стоятелей за древнюю веру идти против своей совести, против своей веры и привела их к разрыву с иерархией, — говорит автор. — Все остальные мотивы: личные, социальные, антагонизм между богатым и часто жестоким епископатом и им подвластным рядовым иерейским клиром тоже имели некоторое влияние на их поведение и сыграли значительную роль в дальнейшем росте старообрядчества, но не ради них шли старообрядцы на муки, плаху и в огонь срубов палачей».

Самым трагическим последствием раскола была секуляризация самой русской культуры. Не доверяя своим великороссам, Алексей Михайлович и его сын Петр стали выдвигать на руководящие посты в церкви людей, пришедших с юга и запада, мало знакомых с великорусской церковной традицией. Талантливые, но чуждые московскому духу, церковные наемники вроде С. Погоцкого, С. Яворского, Ф. Прокоповича и друг. оттеснили великорусских иерархов, а с 1720-1760 гг. великороссов даже не рукополагали во епископы. Таким образом руководство церкви и церковного образования оказалось в руках людей, чуждых традициям русского государства, а затем и само православие стало играть все меньшую и меньшую роль в русской культуре и в жизни русского образованного общества. А духовно-консервативные группы населения, те же старообрядцы, из верных слуг государства ушли в оппозицию. Не следует поэтому удивляться, что в годы революции ни среди консервативных кругов русской торгово-промышленной буржуазии (в массе бывшей старообрядческого происхождения), ни среди казаков или крепких крестьян-старообрядцев Севера, Урала и Сибири, монархистов почти не было. Оттолкнув от себя религиозно крепкие группы населения, рус-

ская монархия оказалась почти беззащитной в годы своего страшного кризиса.

Так заканчивает свою книгу о нашем прошлом автор «Русского старообрядчества».

Труд проф. Зеньковского заботливо снабжен обширной библиографией, списком исторических и библейских лиц, авторов исторических работ, географических наименований и предметным указателем.

В заключение следует отметить и чисто литературные достоинства книги. Весь материал ее блестяще организован. Язык чистый и красочный. Характеристики ревнителей православия, патриарха и, наконец, тишайшего царя-отрока, строгого постника и молитвенника, превратившегося потом во властолюбивого самодержавца, воспринимаются как живые художественные портреты. Основным героям повествования, мне думается, несомненно, является протопоп Иван Неронов, в монашестве старец Григорий.

Все же кое-кто из слишком щепетильных читателей мог бы упрекнуть Зеньковского в нарочитой резкости словесного рисунка, когда он говорит без особого уважения о патриархе Никоне, протопопе Аввакуме или греческом духовенстве, каковое не страха ради иудейска, а царевых подачек ради, часто играло весьма некрасивую роль в русском церковном кризисе. Но если у автора книги, действительно, порой чувствуется некий «керженский дух», то дух этот никак не препятствует справедливым обличениям, основанным на незыблемых исторических фактах, и не затемняет объективности суждений. В целом, «Русское старообрядчество» не только полезная, но для многих из нас наущно необходимая книга.

Глеб А. Глинка

ВНЕШНЯЯ ТОРГОВЛЯ СССР

(53 года внешнеторговой политики)

В издательстве «Международные отношения» в 1967 году вышел сборник-монография — «50 лет советской внешней торговли». В том же году, в том же издательстве планово-экономическое управление Министерства Внешней торговли СССР выпустило книгу — «Внешняя торговля СССР. Статистический сборник 1918-1966 гг.», в котором рядом таблиц проиллюстрирована торговля России в 1913 году. Введены они с целью показа от какой печки отталкивалось новое государственное образование, развивая свою внешнюю торговлю. Вместе с более поздними статистическими сборниками и статьями, опубликованными в журнале «Внешняя Торговля», в распоряжении исследователя имеется достаточно материала, чтобы судить об оценке тенденций в развитии внешней торговли, которые дает советская печать, и сделать соответствующие выводы.

После окончания Второй мировой войны Советский Союз, добровольно и по необходимости, все больше вовлекался в международную экономическую жизнь, расширял внешнеторговый товарооборот, включался в различные проекты научно-технической помощи, в обмен лицензиями по использованию патентов и в торговлю орудиями смерти.

Стремясь использовать достижения зарубежной техники и преодолеть отставание, вызванное сталинской автаркией, Советский Союз стал закупать комплектное оборудование цепь заводов, приглашать иностранные фирмы на строительство предприятий. Картина явно изменилась и это не могло не отразиться и на характере и на структуре внешней торговли СССР. Советский Союз и сам становился в позицию технического эксперта, помогал развивающимся странам и странам социалистического блока индустриализовать их страны по советскому образцу, с использованием советской техники и при

прямой помощи советских работников — от рабочих до специалистов высшей руки.

Прошло и то время, когда СССР отвергал (в теории конечно) иностранные займы и кредиты, как «кабальные сделки». Сейчас СССР ищет и принимает долгосрочные кредиты у капиталистических стран и в случае непредоставления таковых, громко заявляет о дискриминационной экономической политике империалистов.

Углубление и расширение экономических отношений с зарубежными странами, волей неволей потребовало гласности во внешней торговле, публикации текстов торговых договоров и соглашений, заключенных с отдельными государствами. А это влечет за собой и необходимость сообщать в печати списки ввозимых и вывозимых товаров, приводить объем торговли, и указывать в своей (или иностранной) валюте размер товарооборота в ценностном выражении. Таким образом, статистика видимой внешней торговли СССР регулярно должна публиковаться.

Конечно, внешняя торговля по официальным договорам и соглашениям не покрывает полностью все экономические взаимоотношения СССР с другими государствами. Какие-то товары, изделия, машины просачиваются в обе стороны помимо регистрации в официально публикуемых документах.

Уже примерно лет 16 Министерство внешней торговли СССР ежегодно, но с некоторым опозданием, публикует статистические сборники по внешнеторговому обороту. В них по десятичной системе приводится ассортимент товаров экспорта и импорта, указывается количество и цена (в рублях). Ассортимент товаров подается подробно по очень дифференцированной классификации. Вы находите много мелочей, но никакого намека на то, что Советский Союз выступает на мировом рынке еще и в качестве торговца смертью, вывозя на сотни миллионов рублей военные самолеты, танки и ракеты, пушки и оружие, военную амуницию и многое другое, что необходимо для вооружения иностранных армий и снабжения партизан. По некоторым данным, СССР как организатор торговли оружием занимает второе место среди государств-поставщиков военной продукции.

Но этот вид международной торговли вне задачи этой статьи. В этом очерке мы рассмотрим некоторые аспекты толь-

ко видимой, официальной внешней торговли СССР — ее направление и тенденции развития.

Внешняя торговля СССР до 2-й мировой войны

В упомянутом нами статистическом сборнике о торговле СССР с другими странами в 1918-66 гг. приведена диаграмма внешнеторгового оборота СССР. С 1913 до 1918 г. идет катастрофическое падение внешней торговли. Далее, кроме незначительного подъема к началу тридцатых годов, кривая товарооборота стелется словно змея у самого низа диаграммы вплоть до 1945 г., ни разу не превышая границу товарооборота в один миллиард рублей, за исключением восьми лет из 24 довоенных лет, но и то при максимальном развитии товарооборота в 1930 г. (1,6 млрд. руб.) значительно более низком, чем в 1913 г. (2,270 млрд. руб.).

Для индустриализации СССР нужны были иностранные машины, но оплачивать их ввоз было нечем. В российском экспорте 1913 г. продовольственные товары и сырье для их производства составляло почти 55 процентов всего вывоза. Было экспортировано 9 млн. тонн зерна, муки 277,5 тыс. тонн, бобовых культур почти 380 тыс. тонн, 78 тыс. тн. коровьего масла и четверть млн. тонн масличных семян, сахара почти 150 тыс. тонн. Заметную роль в вывозе играл русский лен и пенька — 7 проц. всего вывоза. По тому времени был не мал и вывоз хлопчатобумажных тканей — 172 млн. метров.

Вторую группу экспортных товаров составляло промышленное сырье и топливо — нефть и каменный уголь. В довольно значительном количестве вывозились и руды. По вывозу марганцевой руды Россия занимала в мировой торговле монопольное место (1,2 млн. тн. в год). Еще большее значение для иностранного рынка имел русский лес. Россия занимала первое место в мировой торговле лесопродуктами. На долю леса и пиломатериалов приходилось свыше 10 проц. всего российского вывоза.

Что же могла вывозить советская страна, чтобы вести форсированную (по сталинским понятиям) индустриализацию, без внешних займов и долгосрочных кредитов? Хлеба ей самой систематически не хватало, чтобы досыта накормить народ. В самые лучшие годы рекордных урожаев, даже заставляя

горожан подтягивать пояса, государство не могло экспортировать до войны более 4,8 млн. тн. зерна (1930 г.). Еще хуже дело обстояло с ресурсами животного и растительного масла. И если СССР все же вывозил продовольствие, то за счет того, что страна сидела на голодном пайке в буквальном смысле этого слова, а ограбленная деревня и просто умирала с голоду.

Не так уж благополучно было и с промышленным сырьем и топливом. Горнодобывающая промышленность еле успевала покрывать растущий внутренний спрос. Самой стране не хватало ни угля, ни нефти, ни руды. Оставался только лес, как крупнейший ресурс вывоза. Для этого весь север был покрыт концлагерями, чтобы получить дешевый лес на принудительном труде. Но и на внешнем рынке в те годы этот лес тоже ценился дешево, как результат рабского труда. В 1939 г. СССР вывез 5,9 млн. кубометров круглого леса, за который выручил 17,7 млн. рублей, в то время как в 1913 г. русские лесопромышленники за 6,3 млн. кубометров круглого леса выручили 49,2 млн. рублей.

Дорогой ценой оплачивался ввоз в СССР оборудования и других материалов для скоростной сталинской индустриализации. Продажа своих товаров велась по демпинговым ценам, а покупка иностранного оборудования и машин по завинченным ценам. Советскому Союзу в те годы удалось найти всего 41 торгового партнера и только с 21 вести более или менее нормальные торговые операции на основе торговых и платежных соглашений.

Война и внешняя торговля СССР

В годы войны естественно сузился и без того узкий фронт внешне торгового партнерства, резко снизился и объем внешнеторговых операций. За 1941-1945 гг. весь внешнеторговый оборот составил всего 1,8 млрд. руб. Это, конечно, не считая поставок союзников по ленд-лизу. Они не включены в нормальные внешнеторговые операции и не по формальному признаку, и не потому, что СССР их не покрыл и в малой степени платежами, а потому, что они носили специальный характер и не должны были покрываться взаимными поставками.

Союзные поставки СССР по ленд-лизу намного превы-

сили не только объем внешней торговли военного времени, но и товарооборот мирного времени. Все поставки Советскому Союзу со стороны союзников определяются круглой суммой в 11 млрд. долларов, причем только США поставили Сталину товаров на 9,8 млрд. долларов.

Как не велики были поставки Советскому Союзу военных материалов, в списке предоставленных ему Соединенными Штатами товаров все же преобладают поставки продовольственных и промышленных товаров (51 проц.). Главную часть невоенных поставок составляли промышленное оборудование и материалы (3 млрд. долл.), в том числе и потребительские товары — шерстяные и хлопчатобумажные изделия, кожевенные товары, обувь и т.д.

Не надо упускать из виду, что поставки продовольственных товаров, хотя и были по стоимости почти в два раза меньше, чем промтоварная часть ленд-лиза, но по значению, для ведения войны, никак не уступали им. Одних только мясных консервов приходилось на каждого бойца (при 15 млн. чел. под ружьем) по 230 фунтовых банок (получили ли они их — это другой вопрос), в то время как мирное население не имело за все годы войны более 10-15 кг. мяса на душу в год.

Во время войны, когда советская армия перешла рубежи своего отечества, советская экономика начала постепенно обогащаться трофейным имуществом, толкуемым весьма широко: наряду с военным снаряжением в это число зачислялось и вывозимое оборудование предприятий, вместе с захваченными квалифицированными рабочими и специалистами. После заключения мира, СССР получил в качестве reparаций — оборудование, машины и подъемно-транспортные сооружения на сумму в 10 млрд. руб., что позволило не только ускоренно восстанавливать разрушенные советские предприятия, но и создавать предприятия новых отраслей промышленности. Все это требовало для укомплектования оборудования закупок недостающей техники на внешнем рынке. Поэтому неудивительно, что сразу же по окончании войны СССР начал внешнеторговые операции на относительно высоком уровне.

Что же касается внешней торговли в годы войны, то в упоминавшемся нами статистическом справочнике фигурирует только одна таблица с указанием общей суммы товарооборота,

без указания ассортимента товаров. В 1941-45 гг. сальдо товарооборота было отрицательным: СССР больше покупал, чем продавал (1 091,1 млн. руб. и 727,7 млн. руб. соответственно).

Внешняя торговля СССР в 50-х г.г.

По окончании войны в Европе создалась новая политическая и экономическая ситуация. СССР удалось добиться перекройки государственных границ и создать вассальные государства в Центральной и Восточной Европе. Все эти государства, политическая власть в которых перешла к коммунистическим партиям, в дальнейшем, под давлением КПСС и правительства СССР образовали в 1949 г. экономический блок — Совет экономической взаимопомощи (СЭВ).

Для экономической статистики по внешнеторговым операциям советские экономисты вместе с СЭВ включают в одну категорию и прочие «социалистические» страны мира — Демократическую Республику Вьетнам (ДРВ), которую чаще называют Северным Вьетнамом, Корейскую Народно-Демократическую Республику (КНДР) или Северную Корею, республику Кубу и Социалистическую Федеративную Республику Югославию (СФРЮ). Что же касается Китайской Народной Республики (КНР), то она в советской экономической статистике не показывается среди прочих социалистических стран, на том основании, что «статистические данные о ее экономике последние годы не публикуются». Но сведения об объеме товарооборота между СССР и КНР до сих пор регулярно публикуются.

Еще до организации СЭВа советские внешнеторговые операции охватили большую часть вывозимой и ввозимой продукции государств Центральной и Восточной Европы. Уже в 1946 г. при общем объеме внешней торговли СССР около 1,3 млрд. руб., на долю этих стран приходилось 55 проц. товарооборота советского государства. А ведь до войны, даже в годы наибольшего развития торговли с этими странами, на их долю приходилось не более 4 проц. внешней торговли СССР.

С организацией СЭВа произошло соподчинение перспективных планов экономического развития всех стран, втянутых в советский блок. На этом основании утверждались и планы взаимных поставок. Все это называлось «международным раз-

делением труда» социалистических стран. Внутри этого блока создаются отношения сюзерена и вассалов. Начинает проводиться политика искусственной изоляции «подопечных» стран от мирового рынка и выдвигается идея создания второго мирового рынка — рынка социалистических государств.

В первое послевоенное десятилетие 1946-55 гг. внешняя торговля СССР заметно набирала силы, сказалось «прорубленное» в Европу окно. В 1949 г. она достигла дореволюционного объема товарооборота и продолжала расти и дальше. За десять лет внешняя торговля СССР выросла более чем в 4,5 раза.

С созданием второго мирового рынка СССР отнюдь не отказывался вести торговые отношения с западными индустриальными странами. В первом послевоенном году на долю капиталистических стран приходилось свыше одной трети внешнеторгового оборота СССР. Но в дальнейшем положение начало заметно меняться.

Сталин и его окружение поднимают кампанию борьбы с влиянием Запада на умы советских граждан. Международные отношения вступают в фазу «холодной войны». Но несмотря на усложнение внешнеполитической обстановки внешняя торговля между СССР и капиталистическими странами не только не сократилась, но все время продолжала расширяться, правда, не в тех темпах, как до начала антизападной кампании в СССР. Поэтому удельный вес западных стран в советской внешней торговле стал снижаться, а торговля с соседями внутри искусственного второго рынка нарастать. В целом же, как уже было отмечено, в течение первого десятилетия после окончания войны внешняя торговля СССР была на подъеме. Но при оценке развития советской внешней торговли нельзя упускать из виду, что мировая торговля в те годы развивалась еще в более высоких темпах, чем торговля СССР.

Советская печать трубила о быстро развивающемся товарообороте внутри социалистического лагеря, но в то же время министерство внешней торговли лихорадочно искало более широкого выхода на капиталистический рынок и не потому, что в СССР имелись какие-то экспортные излишки, а потому, что была нужда в передовой западной технике.

Международная обстановка не развивалась по сталинским планам, и СССР вскоре пришлось менять свою внешнюю политику, пришлось в полоборота повернуться к капиталисти-

ческому миру и оправдывать это изменение пресловутой тенденцией «мирного сосуществования государств с различной социально-политической системой». Ну, а раз мирное сосуществование, то, следовательно приобретают все большую роль экономические связи между всеми государствами, как говорил на 22-ом съезде КПСС Н. Хрущев. На том же съезде эту мысль развивал дальше в отношении внешней торговли «непотопляемый» приспособленец А. Микоян: «Общие экономические всемирные отношения сохраняются и сейчас, когда сложились две мировые системы — социалистическая и капиталистическая, а следовательно, два мировых рынка, два мировых хозяйства. Каждый из этих рынков, каждое из этих хозяйств развивается по собственным законам. Но в то же время два мировых рынка не отгорожены друг от друга непроходимой стеной. Следовательно, сохраняется международное разделение труда и связанный с ним всемирный рынок. Всемирный рынок, мировые цены — это не фикция. Игнорирование их могло бы принести на практике серьезный материальный ущерб». Конечно, вопрос шел о материальном ущербе не капиталистам, а социалистическим государствам. Из слов Микояна вытекает, что капиталистический рынок, это и есть всемирный рынок, а социалистический — это периферийный рынок.

Оживление товарооборота с капиталистическими странами

Первый заместитель министра внешней торговли СССР, М. Кузьмин в статье, опубликованной в шестом номере журнала «Внешняя Торговля» за 1970 г., уверяет, что Советский Союз «добился огромных результатов в развитии внешней торговли, экономического, производственного и научно-технического сотрудничества с зарубежными странами». Самое главное в его утверждениях, что «ныне Советский Союз превратился в одну из ведущих торговых держав мира».

Если мы обратимся к статистике мировой торговли, то увидим, что Кузьмин не проявил должной скромности, и неверно оценивает роль СССР на настоящем мировом рынке. Какое место в мировой торговле должен был бы занимать СССР, с его третьим по числу населением в мире, если бы он был ведущим торговцем? Несомненно не ниже третьего. А что

же на самом деле? Приведем несколько цифр. В 1969 г. на первом месте стояли, — как и всегда — США, объем внешней торговли которых составил свыше 77 млрд. долл. На втором месте — Западная Германия (ок. 54 млрд. долл.), на третьем — Англия (36 млрд. долл.), на четвертом — Франция (почти 32 млрд. долл.) и на пятом — Япония (31 млрд. долл.). Далее идут: Канада (ок. 27 млрд. долл.), и если принимать всерьез госбанковский курс — один рубль равен 1 доллару и 10 центам, то СССР оказывается на седьмом месте (ок. 19,7 млрд. рубл.). Но если мы приравняем рубль к доллару, что будет в пользу покупательной способности рубля, то в этом случае СССР будут опережать Нидерланды (почти 21 млрд. долл.), Италия (20,4 млрд. долл.) и Бельгия с Люксембургом (ок. 20 млрд. долл.). Но седьмое или десятое место в ранге торговых держав для СССР не столь уж почетное. СССР по размеру своей внешней торговли соседствует с Нидерландами, все население которых — 12 млн. человек, чуть больше чем Москва с ее областью.

О значении внешней торговли для страны наиболее показательным свидетельством служит размер внешнеторгового оборота в расчете на душу населения. В этом отношении Советский Союз ни в какое сравнение не может идти ни с какой развитой страной западного мира.

На одного советского гражданина в год производится внешнеторговых операций на 90 долларов. Это составляет всего 20 проц. внешнеторгового оборота США или Италии на душу населения, менее 14 проц. Англии и Франции; всего 10 проц. ФРГ; 5,3 проц. Нидерландов; 4,5 проц. Бельгии и 4 проц. Канады.

Невысок объем внешней торговли СССР и по сравнению с размером национального дохода. Стоимость товарооборота составляет всего 8 процентов размера национального дохода. По этому показателю СССР отбрасывается далеко вниз по сравнению со многими странами, далеко не индустриальными. Даже такая страна с относительно невысоким уровнем экономического развития, как Мексика, и то имеет товарооборот на мировом рынке равный в ценностном выражении 38 проц. национального дохода. Такое же соотношение характерно для Испании, а вот Греция торгует еще бойчей — 48 проц. национального дохода достигает объем ее внешней торговли.

В индустриально развитых странах объем внешнеторговых операций еще ближе приближается к национальному доходу. Внешняя торговля Швейцарии в ценностном выражении равна 85 проц. национального дохода, Дании — выше 88 проц., Швеции — 89 проц., а Норвегии — 99 проц.

Теория мириого сосуществования и торговля с капиталистическими странами

Министр внешней торговли СССР Н. С. Патоличев в прошлом году давал интервью советскому журналу «Новое время», который подобно и журналу «Внешняя торговля» выходит на разных языках и предназначен для иностранцев. В ответах на вопросы редакции: — как развивается наша торговля с несоциалистическими странами? — Патоличев сказал: «В прошлом году продолжали развиваться наши торговые связи с теми капиталистическими государствами, которые стремятся к дальнейшей нормализации экономических отношений и к устранению искусственно созданных ранее препятствий».

Разумеется, по Патоличеву, выходит, что препятствия создавал кто угодно, только не Советский Союз с его теорией отдельного второго мирового рынка социалистических стран, с угрозами КПСС «угробить» демократические страны. Патоличев видит препятствия к нормальному развитию экономических связей лишь в политике индустриальных стран Запада с угрозами КПСС, «угробить» демократические страны. Павлов в 1970 г. он перечисляет те искусственные препятствия, которые, по его мнению, якобы мешают развитию товарооборота между странами разных социально-политических систем.

«Такими препятствиями являются агрессивная политика НАТО, сохранение запрета на экспорт в социалистические страны так называемых «стратегических» товаров, количественные ограничения, существующие в западных странах для товаров, экспортаемых социалистическими странами, наличие в Европе замкнутых экономических группировок, особенно «Общего рынка», установившего по отношению к странам, не входящим в эту группировку, протекционистские барьеры».

Почему же Патоличев не причислил к препятствиям, мешающим полной нормализации экономических отношений такие факты, как существование агрессивного военного Варшавского пакта?

ского договора, создание замкнутой экономической группировки Совета Экономической Взаимопомощи, посылку оружия странам воюющим в Южном Вьетнаме, засекречивание значительного количества изобретений и технических новинок, создание берлинской стены для усиления изоляции одной Германии от другой и т.д. А так называемая монополия внешней торговли, препятствующая свободному товарообмену?

Внешняя торговля СССР с индустриальными странами

В 60-х гг. торговля СССР с западными странами росла быстрее, чем внутри социалистического рынка и достигла 4,3 млрд. руб. (в 1969 г.), при превышении импорта над экспортом на сумму — 220 млн. руб. Пришлось пойти на нарушение «золотого» правила советской торговли — за счет внешней торговли накапливать иностранную валюту. Она необходима для неторговых и тайных операций в международных отношениях. Но сейчас важнее другое — приобретать передовую технику, чтобы стоять на передовых позициях в научно-технической революции наших дней, на что и приходится расходовать ранее накопленную иностранную валюту.

Исходя из соображений — не отставать от технического прогресса — основной упор в закупках делался на приобретение машин и оборудования, которые составили от одной трети до двух пятых всего импорта из индустриальных стран Запада. Из одиннадцати стран индустриального Запада, с которыми товарооборот составлял свыше 100 млн. руб. в каждом случае, на первом месте по торговле с СССР в 1969 г. стояли следующие страны: Великобритания (600 млн. руб.), Япония (559 млн.), Финляндия (501 млн.), Италия (494 млн.), ФРГ (497 млн.), Франция (417 млн.), Нидерланды (232 млн.) Швеция (213 млн.), Бельгия (147 млн.) и Австрия (141 млн. руб.).

В последние годы с рядом из этих стран СССР сводил торговлю с дефицитом и вынужден был расплачиваться валютой за импортируемые в избытке над экспортируемыми товарами.

Наибольшее пассивное сальдо торговли образовалось с Францией — 174 млн. руб., ФРГ — 99 млн. руб. и Италией — около 77 млн. руб. Незначительное расхождение между более высоким импортом и меньшим по размеру экспортом также

создалось в товарообороте с Австрией, Финляндией, Швейцарией и Швецией. Особенno тяжелым для золотого и валютного запаса СССР был период закупки зерна во время недороды 1963 г. Для создания запасов иностранной валюты СССР приходится спорадически продавать золото. В 1959-62 гг. СССР продал золота на 200 млн. долларов, а в 1963-65 гг. из-за закупки зерна продажу золота пришлось поднять на сумму свыше полумиллиарда долларов.

Внешняя торговля СССР с развивающимися странами

В советской статистике внешней торговли развивающиеся в экономическом отношении страны выделены в самостоятельную подгруппу капиталистических стран. Последние годы характеризовались усилением экономического проникновения СССР в Азию, Африку и Латинскую Америку. СССР поддерживает торговые отношения с 70 развивающимися странами. С одними из них он имеет уравновешенный торговый баланс, с другими активное сальдо, а с третьими — пассивное сальдо, но в целом советский экспорт в последние два-три года превышал импорт почти на полмиллиарда рублей. Общий объем товарооборота в 1969 г. достиг 2,5 млрд. руб. С одиннадцатью странами оборот внешней торговли превышает 50 млн. руб., в том числе с пятью — свыше 100 млн. с каждой.

Первое место в списке 70 развивающихся стран, торговых партнеров СССР, занимает Объединенная Арабская республика (оборот — 420 млн. руб.). Хотя торговля с ОАР почти балансируется, СССР несет значительные расходы по внеторговой экономической и военной помощи этой стране, играющей в советских планах на Среднем Востоке ту же роль форпоста, что Куба в Америке. Следующий по размерам товарооборот у СССР с Индией (354 млн. руб.), дальше идут: Иран (196 млн.), Малайзия (111 млн.), Алжир (107 млн.), Турция (79 млн.), Сирия (77 млн.), Афганистан (68 млн.), Ирак (65 млн.), Пакистан (57 млн.) и Бразилия (61 млн. руб.).

Развивающиеся страны — растущий рынок для сбыта советской машиностроительной продукции. Машины и оборудование составляют половину советского экспорта в эти страны, причем три пятых поступает как комплектное оборудование целых предприятий. СССР приходится импортировать

из этих стран местное сельскохозяйственное сырье, в котором он не очень нуждается, некоторые виды потребительских товаров и важный стратегический материал — натуральный каучук (главный поставщик — Малайзия).

Заключение

За последнее десятилетие СССР накопил большой опыт в торгово-экономических отношениях и научно-техническом сотрудничестве, что создает ему широкую платформу для дальнейшего расширения внешней торговли. Политика СССР стала более гибкой, и там, где он ожидает достичь определенную политическую выгоду, легко отказывается от идеологического ригоризма и начинает говорить об общих интересах капиталистического и социалистического мира в освоении достижений современной научно-технической революции.

Тем не менее, не все так легко развивается во внешне-торговых отношениях, как это было бы желательно СССР. СССР не имеет достаточных ресурсов и ассортимента товаров для резкого расширения внешней торговли. Поэтому он не поспевает за ростом мирового рынка, и до сих пор не может считаться великой торговой державой. И, все же его позиции на мировом рынке постепенно расширяются. В наступающем 9-м пятилетии намечена грандиозная программа развития взаимных поставок внутри членов Совета Экономической Взаимопомощи, что заставляет предполагать наличие и не менее грандиозных планов наступления на международный рынок капиталистических стран. Успехи здесь зависят не только от экономического роста СССР и накопления ресурсов для торговли, но и оттого, насколько СССР будет придерживаться, хотя бы формально, идеи мирного сосуществования.

А. Иванов

П. С. Мы намеренно обошли вопрос о торговле СССР с США. Советский Союз с одной стороны стремится открыто подрывать позиции США на мировом рынке, вести экономическую конкуренцию в деле помощи развитию экономически отсталых стран, с другой — все время «жалуется» на дискриминационную торговую политику США. Вместе с тем СССР ищет более широких научно-технических и производственных

контактов с США. США противятся планам либерализации продажи стратегических материалов СССР по весьма понятной причине: они окажутся обращенными против США. Далее, для расширения торговли необходимо иметь то, чем именно торговать. СССР ничего не может предложить США, кроме традиционных — мехов, икры и кое-чего другого на чем нельзя построить более-менее крупного товарооборота. У США нет никаких прочных экономических оснований для расширения товарооборота с СССР. Сейчас США занимают 27-е место в торговле СССР, а СССР во внешнеторговом обороте США вряд ли занимает и 50-е место. Во всяком случае товарооборот с СССР составляет всего 0,2 процента внешнеторгового оборота США, а с Америкой торговля СССР не превышает 0,8 процента.

ПАМЯТИ УШЕДШИХ

ЮЛИЙ МАРГОЛИН

Никогда я не думал, что буду писать что-то вроде некролога Юлия. Он был моложе, никакими недугами не страдал. Внезапная смерть его была для меня ошеломительна. Но — правильно: все мы под Богом ходим и не знаем ни дня, ни часа нашего ухода из этого мира.

С Юлием нас связывала давняя дружба. Полувековая. Это — не пустое. В нашей жизни таких человеческих отношений у всех нас немного. А они, — как я всегда думал и думаю, — самое ценное, что у нас есть. Познакомился я с Юлием в Берлине, в начале 20-х годов у его будущей жены, теперь вдовы, Евы Ефимовны Спектор, которую все друзья называли просто Вуся за ее на редкость отзывчивый, добрый характер, за всегдашнее старанье кому-то помогать, кого-то опекать, не только уж друзей, но даже просто всяких встречных поперечных. Так вот, в скромной этой квартире жили две закадычные подруги Вуся и Тася, у них-то и была тогда вечно нетолченая труба друзей, очень молодых, начинающих литераторов — поэты Георгий Венус, Анна Присманова, Вадим Андреев и мн. др. У них я и встретил впервые этого рыжего экспансивного, порывистого студента-философа — Юлия Марголина, который тоже тут вечно пил чай, обедал, ужинал и, конечно, утопал в разговорах о литературе, поэзии, политике и о многом другом.

Тогда (и на всю жизнь!) характерно в Юлии было то, что он был человеком совершенно без всяких масок: никакой игры расчета в нем не было (не говорю уж о какой-нибудь хитрости, что в приложении к нему было бы просто смешно). В Юлии жила полная душевная открытость, подкупающая веселость и некая незащищенная детскость. И ни малейшего желания петь с кем-то «в униссон». Уже тогда он всегда был «сам по себе».

В те годы Юлий окончил берлинский университет с званием доктора философии. И вскоре женился на Вусе. Тогда же он начал писать. Мы оба с ним сотрудничали тогда в сменовеховской газете «Накануне», оба впав в заблуждение, что НЭП приведет Сов. Россию к какому-то нормальному строю «трудовой демократии», о которой искренне писали публицисты сменовеховства — Устрялов, Ключников, Лукъянов. За эту иллюзию о начавшейся «эрозии диктатуры» все они, по возвращении на родину, заплатили жизнью. Устрялов написал в те годы блестящую брошюру «Россия. У окна вагона». Чекисты под видом «грабителей» удушили его шнуром в сибирском экспрессе в купе вагона. Так ответила ленинско-сталинская страна интеллигенту Устрялову, замечтавшемуся «у окна вагона», глядя на «эти бедные селенья, эту скучную природу». Ответила бесшумно, не мокро. Лукъянова же чекисты на смерть забили на допросе в Ухтпечлаге.

Заплатил своей жизнью за возвращение на родину и наш общий с Юлием друг, талантливый поэт Георгий Венус, бывший белый боевой офицер, дроздовец, человек чистейшей души. Через два-три года по приезде в Ленинград, он погиб где-то в Сызранской пересыльной тюрьме. После него осталась жена Тася (подруга Вуси) и малолетний сын. Но органы власти, конечно, о них социалистически позаботились: их сослали куда-то в Сибирь на поселение, «в страшную глушь, за Байкалом». Все это были встречи сменовеховцев с «трудовой демократией».

Вскоре после свадьбы Юлий и Вуся уехали в Польшу. Была переписка, но неровная. В мире наступали страшные времена. В Германии власть взял Гитлер. И, отсидев в гитлеровском кацете Ораниенбург (Заксенхаузен) что-то около месяца, я с женой уехал во Францию. Когда в Париже я вылез из поезда на Гар дю Нор, в кармане у меня было около пяти франков (да и то «дарственных»).

О Юлии я знал, что он, живя в Польше, стал страстным сионистом, поклонником Жаботинского. А потом, что они на всегда уехали в Палестину, как «домой», чтобы оттуда уже больше никуда не возвращаться.

Наступила война. Всякая связь с Юлием порвалась. Но я был в полной уверенности, что он и Вуся так и живут «у себя» в Палестине. И вот после пятилетнего труда в качестве

сельскохозяйственных батраков на юге Франции, когда все эти годы мы с женой ходили только в деревянных сабо (кстати сказать, прекрасная обувь!), мы вернулись в первобытное состояние — в Париж: война (все-таки!) кончилась. И тут в Париже года через два мне попалось в «Социалистическом Вестнике» откуда-то перепечатанное потрясающее письмо «доктора Марголина» о советских концлагерях, откуда он только что вырвался.

Конечно, я не мог себе представить, что «доктор Марголин», проведший пять лет в советских концлагерях, это и есть именно Юлий. Во-первых, меня смущал «доктор». Докторами по-русски в просторечии назывались только врачи, «доктора медицины». Потом: почему же — СССР? Как же Юлий мог туда попасть, когда он жил в Палестине? Но гадать мне пришлось недолго. Вскоре из Израиля я получил от Юлия его замечательную рукопись книги «Путешествие в страну зе/ка». Из нее я узнал все то страшное, что пережил Юлий в Дантовом «Аду» советских исправительно-трудовых лагерей. Кстати, за двадцать лет до Солженицына именно Юлий в книге «Путешествие в страну зе/ка» писал о концлагерях, как о Дантовом «Аде»: «На одной остановке мы увидели старого узбека с белой бородой и монгольским высохшим лицом. ‘Дедушка! — начали ему кричать с нашей платформы, — как этот город называется?’ Узбек повернул лицо, посмотрел потухшими глазами. ‘Какой тебе город? — сказал он, — ты разе город приехал? Ты лагерь приехал!’ Тут я вспомнил начало Дантова «Ада»: — «В средине нашей жизненной дороги/ Объятый сном, я в темный лес вступил».

Книга Юлия «Путешествие в страну зе/ка» до сих пор остается одной из лучших о коммунистической каторге. Она сильна не только фактами чудовищности «марксистского ада», но и тем, как написана. В смысле литературном книга написана блестяще. А кроме того (что вероятно важнее всего) книга пронизана прекрасным человечным мировоззрением Юлия, для которого не было в жизни ничего дороже, — чем человек и его свобода.

В Париже я тогда издавал журнал «Народная Правда» и сразу же напечатал в нем отрывок из книги Юлия с своим предисловием. Этот отрывок кончался «Заключением» Юлия, которое и сейчас — через — 26 лет — звучит столь же

современно и своевременно, как в годы сталинизма. В своем заключении Юлий писал: «Ежедневно на рассвете — летом в пятом часу утра, а зимой в шесть — гудит сигнал подъема на работу в тысячах советских лагерей, раскиданных на необъятном пространстве от Ледовитого океана до Китайской границы, от Балтийского моря до Тихого океана. Дрожь проходит по громаде человеческих тел. В эту минуту просыпаются близкие и дорогие мне люди, которых я, вероятно, никогда уже не увижу больше. Поднимаются миллионы людей, оторванных от мира так, как если бы они жили на другой планете.

Меня уже давно нет с ними. Я живу в другом мире. Я живу в прекрасном городе, на берегу Средиземного моря. Я могу спать поздно, меня не поверяют утром и вечером, и на столе моем довольно пищи. Но каждое утро в пять часов я открываю глаза и переживаю мгновение испуга. Это привычка пяти лагерных лет. Каждое утро звучит в моих ушах сигнал с того света:

— ПОДЪЕМ!»

В Париже мы с Юлием так и не встретились. Он приехал туда, чтобы выступить на процессе Руссе, как свидетель о советской каторге. А нас с женой судьба увела в Нью Йорк. Но письменная связь продолжалась. Я был среди тех, кто старались, чтоб «Путешествие в страну зе/ка» было переведено на главные европейские языки и опубликовано, чтобы люди Запада наконец услышали правдивые слова о коммунистических лагерях и обо всем зверье советского режима. Блестящая, свободолюбивая книга Юлия просилась быть прочтеноной на Западе. Но, увы, голос Юлия, разоблачившего советские лагеря, везде тогда оказался некстати.

По-французски друзья кое-как устроили издание книги, но перевод был настолько небрежен и плох, что книга не имела успеха. К тому же западный читатель вообще не хотел (и не хочет) читать такие «страшные» книги (был бы это Хичкок — другое дело!). Но тогда ведь во Франции Арагон и всякие иные просоветские достоваты во все легкие славили Сталина (получая за это, конечно, и гонорары!) И вдруг книга о *сталинских лагерях*?

В Америке за дело издания книги Юлия взялся такой, казалось бы, опытный и с большими связями человек, как покойный Рафаил А. Абрамович. Но и он с горечью разводил

руками и говорил мне: «Р. Б., поверьте, как ни старался — ничего поделать не могу, издатели не хотят и слышать о советских концлагерях; это «не найдет читателя», говорят одни, а другие просто настроены пробольшевицки».

В Германии личными стараниями Веры А. Пирожковой, на свой страх и риск переведшей книгу на немецкий язык, ей удалось издание устроить (не без помощи Федора А. Степуна). Но заслуженного успеха она и тут не имела. Даже в Зап. Германии, под боком у сталинизма, люди не хотели (и не хотят) знать о «страшном». Будто это «страшное» никогда к ним не придет.

Так оборвался голос Юлия, одного из первых после войны действительно приподнявших железный занавес над сталинскими концлагерями. Даже на иврит его книгу не издали. По-русски «Путешествие в страну зе/ка» вышло в изд-ве имени Чехова (к сожалению, с сокращениями редакции). Зато по-русски книга имела большой успех и давно исчезла с книжного рынка, став, как говорят библиофилы, «редкая».

Все-таки мы с Юлием встретились. Встретились в Нью Йорке. Через много, много лет с времен нашей берлинской молодости. Приехав в Нью Йорк, он сразу же пришел к нам. Когда-то ярко рыжий сейчас он был седой, как лунь, (поседел сразу же в лагерях). Там же потерял зубы, заменив их здесь протезами. Но темперамент остался прежний, неудержимый. И то же бело-розовое, всегда улыбающееся, живое лицо. Лагеря его многому научили — еще большей любви к жизни, к людям, ко всему хорошему в них. И дали еще высокий дар — дар непримиримейшей, святой ненависти (именно *ненависти!*) к насилию над человеком и его жизнью. Эта его ненависть совпадала с моей и нас еще больше сблизила. Мы *их* ненавидели, и не искали для них «смягчающих вину обстоятельств».

Много о чем мы говорили с Юлием, езя по Нью Йорку. Но очень часто среди какого-нибудь самого пустого, бытового разговора, он вдруг задумывался, как бы «отсутствия», и когда я спрашивал его — «Ты что, Юлий?» — оказывалось что он что-то вдруг вспомнил еще из концлагерной жизни, о чем хотел рассказать. Я понял тогда, что пять лет ада для него даром не прошли, что они «живут в нем» и тут. На воле, в свободе, в комфорте, в достатке он все еще слышит: ПОДЪ-

ЕМ! И позднее, в Израиле, когда я приехал к ним, Вуся мне говорила, что концлагерь для Юлия даром не прошел, что он часто продолжает «жить в нем» и часто его страшные воспоминания вырываются наружу. Из Нью Йорка Юлий улетел в Сан-Франциско к сыну Ефраиму, а на обратном пути — в Нью Йорке — мы с ним обдумывали и обсуждали мой приезд к ним в Тель Авив.

Весной 1963 года я полетел в Израиль. Летел я одиннадцать часов. На аэродроме Лодд меня встретил радостный Юлий. Он так меня торопил, так тащил к такси скорее ехать к ним. — «Поедем, поедем, Вуся тебя ждет, ты будешь жить у нас!» — твердил Юлий, не слушая, что я старался ему объяснить всю мою «катастрофу»: не прилетел со мной чемодан, говорят, остался в Афинах, его надо разыскать. «Ах, какая чепуха! Какие тут чемоданы!» — кричал смеющийся, неистовый Юлий, — это даже очень хорошо, что чемодан пропал, по крайней мере — какое-то приключение, а не рутина...» Так и пришлось мне, бросив розыски чемодана, подчиниться насилию Юлия и сесть с ним в такси, чтобы ехать к ним на Шейнкин стрит 16.

Дни проведенные мной с Марголиным в Тель Авиве и в поездках с Юлием по Израилю я всегда вспоминаю с чувством трогательной любви и дружбы. Это были прекрасные дни.

Много с Юлием мы ходили по Тель Авиву. Обошли много улиц и площадей. Он показывал мне улицу Бялика, улицу Мицкевича (в Яффе), улицу Вл. Короленко, площадь Масарика, сказал, что может быть будет улица Милюкова. А показывая улицу Фердинанда Лассала, смеясь, сказал: «Вот Лассаль у нас есть, а улицы Карла Маркса, извините, нет и не будет, и думаю не потому, что он создал «марксизм», а потому что написал свои знаменитые антисемитские статьи».

Среди прочих достопримечательностей Юлий с несколько застенчивой (он был застенчив) улыбкой показал мне кафе, где он написал свое «Путешествие в страну зе/ка». У него смолоду (с Берлина) осталась европейская богемная привычка вдохновляться и писать где-нибудь в кафе. Показал он мне и музей Жаботинского, где в одной из витрин была выставлена его книга «Еврейская повесть», побывали мы в музее Хаганы. Были и в двух редакциях самых больших израиль-

ских газет, где разговор шел, конечно, по-русски. Но вот какую грустную черту в жизни Юлия в Израиле я тогда почувствовал.

В то время — 1963-й год — большинство израильской интеллигенции и правительственный элиты было настроено по отношению к Совсюзу, увы, весьма «мягко» и «симпатично». Всем этим людям хотелось дружбы с Советами во что бы то ни стало. Почему? Думаю, что не последнюю роль тут играл, так называемый, «ореол революционной страны» все еще веявший и реявший над реакционнейшим Совсюзом. И благодаря этой психологии «верхнего слоя» израильской интеллигенции, благодаря этому «климату», побывавший в концлагерях Юлий, занявший совершенно непримиримую в отношении Совсюза позицию, оказывался «более-менее» не у дел. А на компромисс с политической совестью Юлий пойти и не мог и не умел, если б даже захотел. Есть такие «неудобные» люди. Вот, например, Осип Мандельштам. Он, конечно, знал, что этого стихо о Сталине — «Тараканы смеются усыща /И сияют его голенища... Что ни казнь для него, то — малина/ И широкая грудь осетина», писать *НЕЛЬЗЯ*, что это — *СМЕРТЬ* и, наверное, очень страшная смерть — и все-таки он эти стихи написал. И не только написал, но еще читал приятелям, среди которых (он и это прекрасно знал) были, конечно же, стукачи. И как только стихо дошло до Сталина, он вовсе не расстрелял Мандельштама, он *замучил его* голодом, нищетой, тюрьмами, допросами и под самый конец концлагерем.

Вот и у Юлия в какой-то степени было в характере нечто мандельштамовское: ни с какими фарисеями он за стол садиться не хотел. Почему? Да потому, что *НЕ МОГ*. И все тут. Поэтому жизнь его тогда в Израиле, как мне кажется, и не сложилась так, как могла бы и должна бы была сложиться. Он был и образован, и талантлив, владел несколькими европейскими языками. Казалось бы все есть... но, нет, своими взглядами Юлий «не попадал в генеральную линию», и совершенно не хотел в нее попадать, а жил, как вечный студент, как богема, как писатель — случайным литературным заработком. Не знаю, но думаю, что после шестидневной войны Юлию стало легче, он наверное вышел тогда из своего антисоветского «одиночества». В последний раз, когда он был в

Нью Иорке, он с восторгом рассказывал мне о молодых евреях, вырвавшихся из Совсоюза, и живших в каком-то, кажется, кибуце. Вот с ними Юлию не надо было искать «общий язык»: он был налицо.

Тогда в Тель Авиве побывали мы с Юлием на приеме и у мэра Тель Авива — Намира. Разговаривали мы с Намиром по-русски, ибо Намир родом из Полтавщины. Говорили о многом, при чем нас все время с вспышками магния фотографировал «придворный» фотограф мэра, и под конец я получил от мэра альбом города и значек Тель Авива. К тому же Намир был так любезен, что дал нам автомобиль и провожатого, который бы показал мне все, что я захочу в Тель Авиве. Больше того. Намир предложил оплатить какую-нибудь мою поездку по Израилю по любому маршруту — туда и обратно.

Посоветовавшись с Юлием мы выбрали пустыню Негев до Эйлата и назад. Кстати сказать, путешествие, перемена мест — вообще движение, как таковое — всегда были моей страстью. Той же страстью был болен и Юлий. Он, как ребенок, обожал ездить, путешествовать, смотреть неизвестные (и известные!) места, людей, города, природу, показывать свою страну всем приезжающим друзьям и рассказывать о ней. Гид он был — первый сорт! Вот мы и понеслись с ним в автобусе по пустыне Негев.

Из всех впечатлений от Израиля (ветхозаветных) поездка через пустыню Негев была самой потрясающей. Это какая-то трагически-бетховенская пустыня. Юлий мне объяснял всё и показывал. И Кириат-Гат, и Бершеву, и горы Трансиордании, где, по преданию, похоронены Моисей и Аарон, и места, где, по преданию, Иисус Навин «остановил солнце», и кибуз, где живет Бен Гурион в небольшом серо-зеленоватом домике. Мимо летели мрачные скалы — то черные, то желто-красные, то серебряно-песочные и всё это в вихре песка поднимаемого ветром. Сквозь этот вихрь автобус несся по единственной, довольно узкой асфальтированной дороге, коотную проложила израильская армия.

Показывая на горы Трансиордании, Юлий, смеясь, рассказал мне очень милый анекдот о Моисее. «Ты знаешь, как мы, евреи, попали сюда, в землю Канаанскую? Не знаешь? Ну, так я тебе расскажу. Моисей ведь по преданию был

страшный заика и когда он вывел евреев из Египта, Бог спросил его, какую же страну, Моисей, ты хочешь для своего народа? Скажи мне и я тебе ее дам. Моисей начал страшно заикаться: «Ка-ка-ка-ка...», и этим так надоел Богу, что Бог перебил его: «Знаю, знаю, ты хочешь сказать Канаан. Даю эту страну твоему народу». Но дело-то в том, что Моисей хотел выговорить — «Канада» — а вовсе не Канаан. Вот мы и попали сюда вместо Канады...», весело смеялся Юлий.

В голубом Эйлате мы переночевали, покатались по прозрачно-голубому заливу на туристском катере со стеклянным дном, сквозь которое была видна вся «флора и фауна» Акабского залива. И вернулись тем же путем назад в Тель Авив рассказывать Вусе обо всем виденном, пить чай и есть вкусный ужин.

К характеристике Юлия еще скажу, что в так называемом культурном обществе, то-есть, в обществе воспитанных интеллигентов, всегда немного фальшивом, немного неправдивом, немного неживом и часто даже немного фарисейском, Юлий бывал подчас неудобен. Он не чувствовал иногда обязательности общественной «вежливости и сдержанности». И вел себя подчас так, как не принято. Помню, он рассказывал мне, как он делал доклад среди каких-то состоятельных людей о том, что нужно собрать деньги на издание еврейского журнала на русском языке для «той стороны» (для засылки в Совсоюз). И вот ему показалось, что эти состоятельные люди не слишком поспешно и не слишком жарко реагируют на его предложения и аргументы. И Юлий наговорил им — вероятно не совсем справедливо — какие-то неприятные вещи. Только на другой день он хватался за голову, ругал себя, чувствуя, что «я, кажется, переборщил». «Переборщить» он порой мог. Потому что в противоположность многим джентльменам он считал, что правда лучше вежливости.

Юлий сотрудничал почти во всех русских зарубежных изданиях. В «Новом Журнале», «Воздушных Путях», «Мостах», в газетах — «Новое Русское Слово» и «Русская Мысль». В «Новом Русском Слове» он был постоянным корреспондентом из Израиля и его «Тель Авивский блокнот» всегда имел успех у читателей, даже во многом с ним не соглашавшихся.

В «Новом Журнале» он напечатал отрывки из «Путешествия в страну зе/ка», печатал отдельные статьи, печатал

отрывки из своей биографической повести «Книга Жизни», к сожалению, неоконченной. Последней его публикацией в «Новом Журнале» была превосходная статья о философе Льве Шестове — «Антифилософ», в которой он необычно, по-своему, подошел к этому парадоксальному мыслителю.

Когда в «Новом Журнале» я напечатал его отрывки о детстве и отрочестве из «Книги Жизни», у некоторых читателей они вызвали неприятные чувства. Мне говорили: «Ну, что такое написал Марголин! Это же черт знает что! Как он вывел своего покойного отца? Он написал, что отец брал какие-то взятки за освобождение от воинской повинности... это Бог знает что такое... и как вы могли это напечатать?» Я рассказал об этом Юлию. Он стал хохотать. — «Но я же написал сущую правду! — кричал он. — К тому же, если бы я стал врать, то-есть, «лакировать» портрет моего отца, то я прекрасно знал, что у меня бы просто ничего не получилось. И если что-нибудь получилось неплохое, то только потому, что я не хотел фальшивить!» «Фальшивить» для Юлия было хуже всего. Это было опять нечто мандельштамовское.

Сколько я знал Юлия, он всегда был, так сказать, подчеркнутым евреем (хоть и не был религиозным). Но став убежденным сионистом он все-таки никогда не мог духовно оторваться от русской культуры. Да и не хотел. Он любил ее. Любил русскую интеллигенцию, русскую мысль, русский характер, русскую литературу, философию, поэзию, музыку. Русскую литературу он знал изумительно. Одна духовная половина его души всегда оставалась русской. Да и прожил он всю жизнь, как типичный русский интеллигент старого закала и «великих традиций» — с полным пренебрежением к материальной стороне жизни и с упором на «идейность», на всё добroе в человеке и справедливое для человека.

Да будет легка этому «рыцарю бедному» его родная земля Израиля.

Роман Гуль

Е. Э. МАЛЕР

30 июня 1970 г. в Базеле скончалась Елизавета Эдуардовна Малер, профессор славянской филологии базельского университета. Родилась она в Москве в 1882 г. Училась на петербургских Высших женских курсах, где занималась классической филологией и археологией под руководством знаменитых ученых — Зелинского, Ростовцева, Бодуэна де Куртене. В 1920 г. Е. Э. уехала в Швейцарию — отчизну своих предков, но навсегда осталась верной своей родине — России. В Базеле она сменила классику на славистику, была сперва лектором и позднее профессором. Ее труды (на немецком языке): «Русские заплачки», «Русские народные песни Печерского края», «Свадебные обряды русской деревни». Последние две книги были написаны по материалам, собранным в той части Псковщины, которая была тогда уездом Эстонской республики, и где я с Е. Э. познакомился, и участвовал в ее фольклорных экспедициях у Псковского озера и в районе древнего Изборска.

Е. Э. всегда горела и не знала ни в чем меры, ни в привязанностях, увлечениях, ни в своих антипатиях. Работа по записи народных песен была для нее миссией, как и преподавание в университете. Она стремилась обрушить своих учеников. Не всем это нравилось, но зато студенты хорошо выучивали русский язык и некоторые, к великой ее радости, отчасти русели. Методы ее преподавания были тоталитарные, она учила не только в семинаре, но и на квартире — за чаепитием в голубом кабинете или за ужином на балконе-розарии. В педагогику она вкладывала всю свою русскую душу и требовала не только знаний, но и живого отклика. Была убеждена, что на швейцарской родине-чужбине плохо понимают ее родину — Россию. Всё же, в «холодном», как ей казалось, и даже «бездушном» Базеле, Е. Э. многие ценили и кое-кто поддавался обаянию ее культа России и вовлекался в ее русский миф у домашнего очага на Штайненграбене, где всегда было по-русски шумно, мило-бестолково и привольно-дружественно. К Е. Э. можно было посыпать незнакомых ей друзей: всех их угожали и зачастую давали кров. Гостеприимна была и ее русская подруга Мария Михайловна, оставшаяся «классиком» по специальности: обе они замужем не были и отдавали все душевые свои силы студентам и друзьям.

Ученые заслуги Е. Э. несомненны. Но вечная ей память, прежде всего, за ее сердечность. Еще за мирную культурную russификацию! Назову двух ее учеников и близких друзей, уже профессоров: д-ра Робина Кембалла, знатока Блока, переводчика его стихов на английский и д-ра Феликса Ингольда, занимавшегося Анненским, Розановым — он поэт и в его немецких стихах мелькают русские образы. В какой-то степени оба они «обрусили» и, тем самым, оправдали русскую миссию незабвенной Елизаветы Эдуардовны.

Юрий Иваск

СООБЩЕНИЯ И ЗАМЕТКИ

ЭКСТРАПОЛЯЦИЯ, ПРОГНОЗИРОВАНИЕ, МОДЕЛИРОВАНИЕ И ТЕОРИЯ ПРЕДЕЛА.

Такими терминами пестрит критическая литература о научной фантастике, одном из самых обширных разделов советской литературы. Развитие фантастической традиции все убыстряется в советской литературе, но еще отстает от темпов Запада из-за понятных идеологических и цензурных трудностей. Дело в том, что, до смерти Сталина, любое изображение отдаленного будущего, — пусть даже самое ортодоксальное, — считалось в определенных кругах чем-то вроде идеологической диверсии: «Некоторые авторы страдают космополитизмом, увлекаются проблемами, далекими от насущных вопросов современной жизни, витают в межпланетных пространствах...» («Комсомольская правда», 8/I-1949). Считалось, что фантастика должна создавать энтузиазм для проектов, могущих быть осуществленными через два-три года, а не отвлекать от них читателей «пустым фантазированием» (как, например, полетами на Луну). Этот взгляд, известный как «Теория предела», отождествлял своих противников с «поклонниками Запада». Характерны в этом отношении высказывания С. Иванова в журнале «Октябрь»: «Где нужно искать истоки нашей... фантастической и приключенческой литературы? Космополитически настроенные критики пытались запутать этот совершенно ясный вопрос, увести в сторону от правильного решения нелепыми, неверными, вредными ссылками на западно-европейскую научно-фантастическую и приключенческую литературу, как на источник, откуда наши писатели черпали сюжеты, образы, положения... Авторы, отрывающиеся от нашей действительности, тянувшиеся за эффектами западноевропейской буржуазной литературы, исключают себя из советской литературы, их «произведения» народу не нужны!» (№ 1, 1950).

Хотя «теория предела» стала ходкой только во второй половине 40-х годов, она имела свои корни в утилитарном подходе критиков довоенного периода. Критики эти часто осуждали фантастику за ненаучность и за отказ пропагандировать надлежащие политические и научные «идеалы». Статья Рыкачева, например, о популярном романе Беляева, «Голова профессора Доуэля», носила типично программный характер: «...благая цель могла бы заключаться либо в

сообщении читателю ряда существенных сведений из данной области науки и ознакомлении с ее реальными перспективами; либо — в доказательстве или хотя бы демонстрации какой-либо социальной идеи; либо, наконец, в том и в другом... А. Беляев не достиг первой цели и не стремился ко второй». («Дет. лит.» 1939, № 1).

Двадцать лет спустя, Иван Ефремов пишет известную утопию «Туманность Андромеды», переведенную на десятки языков. Хотя роман описывает «коммунистическое будущее» и ставит своей задачей показ грандиозности космических исследований будущего, появляются критические статьи, перещеголявшие все написанное раньше:

«Итак перед нами роман о будущем обществе, созданном на нашей планете. Но так ли это? Ведь в истории той планеты, которую И. Ефремов называет этим именем, никто не сохранил в своей памяти таких событий, как Великая Октябрьская социалистическая революция, таких имен, как Маркс, Энгельс, Ленин. Вспоминая Геркулеса, Афродиту, ставя памятники Жинну Каду — изобретателю способа получения дешевого искусственного сахара, — люди будущего не знают (или не хотят знать) великих преобразователей общества». («Промыш.-экон. газ.», 19/VII-1959).

Но этого мало. Редакторы добавляют к рецензии замечания читателя-слесаря: «Ефремов пишет только о звездоплавателях, ни пол слова не говоря о хозяевах жизни, о тех, кто обеспечивает всеми материальными благами любителей сильных ощущений, носящихся по Вселенной. О тех, кто, по Ефремову, пасет скот на территории Европы, которая превращена в угоду буйной фантазии автора в полупустыню, в «луга и степи» (что и не мудро и не справедливо), то-есть о простых тружениниках».

Комментарии тут излишни. Если даже самые невинные темы встречают такой отпор, что же можно сказать об отношении советских критиков к таким темам западной фантастики, как космическая война, убийство как спорт, бунт машин, атомная эсхатология и т.д.? Е. Брандис утверждает, что такая литература не есть простое фантазирование, а является «экстраполяцией» или «проекцией» современной «капиталистической действительности».

При создании произведений о коммунистическом будущем, однако, встают определенные трудности. Откуда взять отрицательных персонажей, нужных для конфликта (противодействие)? Всем ведь известны печальные последствия «Теории бесконфликтности». Злодеев в идеальном мире коммунистического будущего не может быть. Даже если предположить несколько ренегатов (исключения из общего правила), то как быть с «теорией типичности»? Хотя обе эти теории могут считаться отвергнутыми при описании еще несовершенного мира настоящего, но их нельзя просто отнести, когда речь

идет об отдаленном будущем. В результате всего этого, советская фантастическая литература о далеком будущем обычно не содержит серьезных конфликтов между персонажами, а описывает преодоление научных проблем. Когда конфликт идет в плоскости человеческих отношений, чаще всего используется «неотдаленное» будущее, где злодея легко взять из капиталистического мира. То есть, советские фантасты вынуждены «экстраполировать их из капиталистической действительности».

Как видно, положение получается довольно глупое. Но неизбежное. На Западе, где научная фантастика явно тяготеет к чистой фантастике, (хотя есть определенные круги, борющиеся против этого), писатель может просто фантазировать, не заботясь о правдоподобии.

В этой связи, интересны высказывания критика Р. Нудельмана. По словам Нудельмана, фантастика является художественным методом, при котором автор проводит мысленный эксперимент, «моделируя» фиктивный мир. Если предположить то-то и то-то, то может быть то-то и то-то. И при чем тут политика? К сожалению, Нудельман и другие еще связывают «моделирование» с «прогнозированием», ставя себя в трудное положение.

Джон Глэд

НОВЫЕ МАТЕРИАЛЫ О ГРИБОЕДОВЕ

Летом 1969 г. я участвовала в обмене научными работниками между США-СССР, давшем мне возможность поработать над архивными материалами в Москве и Ленинграде, касающимися жизни и творчества А. С. Грибоедова, над биографией которого я работаю. Работая в Пушкинском доме, я нашла два неопубликованных документа, записку самого автора «Горя от ума» и письмо М. Н. Загоскина к Н. И. Гнедичу, в котором упоминается Грибоедов. Документы эти, воспроизведенные ниже, интересны тем, что касаются дружеских отношений Грибоедова и Булгарина, на которые друзья первого смотрели с недоумением.

Когда Грибоедов сидел под арестом по делу декабристов в 1826 году, он написал ряд записок своему другу Ф. В. Булгарину, который, через подкупленного офицера стражи, Жуковского, присыпал ему книги и деньги. Из подлинников этих одиннадцати записок, находящихся в Пушкинском доме, десять были опубликованы в «Русской старине». Все одиннадцать впервые опубликовал И. А. Шляпкин в «Полном собрании сочинений» А. С. Грибоедова в 1889 г.

Получив разрешение просмотреть этот фонд, я нашла в папке, однако, двенадцать записок. На двенадцатой, карандашом, — той же рукой, которой написано почти на всех записках «Гриб.», —

написано «Гриб. из тюрьмы». Записка, по моему, относится не к 1826 году, а ко времени пребывания Грибоедова на Кавказе и в Персии, скорее всего к 1828 году, когда он ехал в Персию полномочным министром и по дороге, в Грузии, сильно заболел лихорадкой. Записка очень немногословна. Рукой Грибоедова написано: «Пришли мне Эссеции Хины. Sulf. de —». Под этими словами рукой матери Грибоедова, Настасии Федоровны, написано: «ныне изобретенной от Лихорадки пошлите к нему в Персию». Адресованы ли слова Грибоедова матери не ясно, но кажется, что Настасия Федоровна переслала записку Булгарину, которому Грибоедов поручал хозяйствственные и денежные свои дела в Петербурге, и с которым она сама, из-за дружбы Б. с ее сыном, была тогда в дружеских отношениях. На оборотной стороне записи какие-то исчисления:

| | | |
|--------|--------|--------|
| 36,000 | 33,007 | 18,007 |
| 17,007 | 25,000 | 15,000 |
| <hr/> | <hr/> | <hr/> |
| 18,993 | 8,007 | 33,007 |
| 17,007 | 25,000 | |
| <hr/> | <hr/> | |
| 36,000 | 33,007 | |

Неизвестно, кем и когда они были записаны, но что они представляют собой — ясно. Это счет Грибоедова с Булгариным, который впервые был опубликован Пиксановым в 1905 году. Трицать шесть тысяч рублей — это 4,000 червонных, которые Грибоедов получил в награду после заключения туркманчайского трактата, и которые он дал Булгарину на сохранение. Семнадцать тысяч семь рублей — это расходы Грибоедова, после которых осталось 18,993 рубля. Булгарин, однако, сделал ошибку в арифметике в черновике счета Грибоедова, показав, что осталось 18,007 рублей. Пятнадцать тысяч рублей, добавленные к этой сумме, представляют собой деньги, полученные Булгариным взаймы для Грибоедова от дяди И. С. Мальцева, первого секретаря русской миссии. Поэтому трицать три тысячи семь рублей представляют собой ошибку Булгарина в счете, сколько денег Грибоедова осталось у него на сохранении. Двадцать пять тысяч рублей — это деньги, которые были отданы Булгариным наследнице Грибоедова, сестре Марии Сергеевне. Восемь тысяч семь рублей — это ошибка Булгарина, когда он считал сколько осталось «итого». Это конечно должно быть 8,993 рубля.

Кроме подлинника записи, в папке находится и ее копия. Ниже на этой же бумаге описывается подлинник и сделано замечание, наверно рукой редактора «Русской старины»: «На ключке грязной бумаге (*sic*). Рукою Булгарина написано карандашом: Гриб. из тюрьмы. По моему же эта записка написана рукой матери Грибоедова». Этот листок бумаги интересен еще тем, что на нем кот-то сделал

копию рецепта, подлинника которого нет в папке. Кто такой С. Г. и для кого прописан рецепт — неизвестно. Ниже привожу копию этого рецепта:

«Прогуливаться при ясной и тихой погоде не только хорошо, но и необходимо для здоровья, но когда туманы, или ветер, то лучше оставаться в комнате. Думать лишнего не давайте, и если запор продолжится далее 2 суток, можно дать последнего лекарства, хоть одну ложку десертную.

Душевно преданный С. Г.»

Во втором документе подчеркивается грусть Булгарина при потере друга. Среди писем М. Н. Загоскина к Н. И. Гнедичу за 1817–1830 гг. есть неопубликованное письмо, в котором упоминается Грибоедов. Загоскин ссылается на статью Булгарина, «Воспоминания о незабвенном Александре Сергеевиче Грибоедове», которая была опубликована в январской книжке журнала «Сын отечества» за 1830 год, под инициалами Ф. Б. Статья эта, со своими слезливыми воспоминаниями о покойном Грибоедове, вызвала неоднократные язвительные замечания Загоскина. В данном письме Загоскин высмеивает следующие слова Булгарина: «Познав Грибоедова, я прилепился к нему душою, был совершенно счастлив его дружбою, жил новою жизнью в другом лучшем мире, и осиротел на веки!...» Резкость отзывов Загоскина о Булгарине (и Грече) отчасти надо объяснить, однако, и полемикой, вызванной появлением его «Юрия Милославского» в 1829 году. Роман же Булгарина «Дмитрий Самозванец» вышел вскоре после «Юрия Милославского». Содержание письма отражает эту вражду.

Генвар 14. — 1830 году, Москва

«Почтенный и любезный друг Николай Иванович!

Письмо твое и при оном несколько экземпляров твоей Илиады, четвертого дня получил — и раздал их по надписям, спешу принести тебе искреннюю и душевную благодарность за драгоценный твой подарок. Ты соорудил себе бессмертный памятник, и наряду с Фосом, которым гордиться Германия, останется на всегда в числе людей (к несчастью весьма ограниченном) которых имена и позднейшее потомство, произносит с уважением и благодарностью. Издание твоего превосходного перевода отменно хорошо, и нравиться мне более, богатого издания трагедии Озерова, несмотря на то, что в сем последнем много картин. Из письма Лобанова, я узнал что Н. И. Греч, не очень торопился исполнить моей комиссии, и доставить тебе и другим моим петербургским приятелям экземпляры моего романа; я по какому-то глупому добродушию полагал что товарищ Булгарина, с которым я осмелился вступать в состязание, сохраняет еще ко мне прежнюю привязнь; видно я век останусь ребенком. Что тебе сказать мой милый друг, о моем московском бытье-житъ?

— единобразие, мука, тоска, и какая то **растительная** жизнь разумеется за исключением нескольких приятных часов — вот характеристика моего здешнего существования; театральные хлопоты и сплетни надоели мне до того, что я дал честное слово не писать ничего для театра — и когда не буду служить при дирекции, то забуду навсегда о существовании в Москве театра, для которой довольно бы было и одной медвежьей травли. Ты я думаю читал биографию Грибоедова написанную автором Выжигина — по мне умора! — он (т.е. автор Выжигина) — потерял Грибоедова **осиротел навеки!** — Фадей Булгарин **осиротел навеки!!** — Аха он собачий сын! — Фадей Булгарин был другом Грибоедова, — жил с иим **новой жизнью!!** — как не вспомнить русскую пословицу в которой говориться о банном листе. — Прощай мой милый друг, поклонись от меня всем моим приятелям библиотечным, и продолжай любить того, кто уважает и любит тебя не лицемерио

Твой М. Загоскин».
Др. Эвелина Харден
Симон Фрейзер Юниверсити, Бритиш Колумбия.

МИХАИЛ ЧЕХОВ О СМЕРТИ С. В. РАХМАНИНОВА

Дорогой Женя!

Спасибо тебе за оба письма. Я очень жалею, что нельзя было исполнить твоей просьбы о цветах, но я непременно сделаю это когда будет нужно.

Я думал что тебе все пишут о плацах Нат. Ал. Я не знаю их в деталях. Знаю только что она хочет продать дом и уехать в Н. И. Я был у нее и нахожу, что она держится совершенно необыкновенно! Так мужественно и так, я бы сказал, душевно красиво!

Когда умер Шаляпин — я испытывал такую же тоску, совсем особенную, совсем не личную. Мне казалось тогда и кажется теперь после смерти Сергея Васильевича, что на всей земле случилось что то что я могу сравнить с чувством одиночества и пустоты. Ты переживаешь это конечно интимнее ввиду твоей близости к семье Сергея Васильевича.

Сергей Васильевич действительно не знал о приближении смерти в последние дни т.к. его держали в полу-сонном состоянии. Но до этого он стал догадываться что положение его серьезно и даже, как мне говорили, заплакал когда заговорили о Тане и сказал, что он уже не увидит ее. Физически он страдал мало, отиосительно

Это письмо М. А. Чехова написано другу и секретарю С. В. Рахманинова, Е. И. Сомову в начале мая 1943 года (письмо не датировано). Нам передала его для печати С. А. Сатина. РЕД.

конечно, благодаря впрыскиваниям, которые ему давали врачи и благодаря необычно быстрому развитию болезни. Когда я посетил Нат. Ал. за несколько дней до смерти Сергея Васильевича, она сказала мне, что опухоли появились на всем теле и даже на лбу. Но когда я смотрел на его изумительное лицо в гробу я не видел опухолей.

Ксения, как я понимаю из ее писем переживает это событие очень тяжело. Я так и предполагал — она очень любила его и преклонялась перед ним как перед богом.

Милый Женя и Леночка, если можете — пишите хоть иногда. Все что узнаю о времени перевоза тела Сергея Васильевича в Нью Йорк — сообщу вам.

Крепко жму тебе руку, кланяюсь Леночке
Твой Миша

ПИСЬМА В РЕДАКЦИЮ

Глубокоуважаемый Роман Борисович,

Быть-может Вы найдете нужным напечатать следующее дополнение (или поправку) к моей статье «Ленин и США» в кн. 100 «Н. Ж.» По поводу этой статьи я получил письмо от проф. Альберта Пэрри (из Кливленда, Охайо), в котором он пишет, что статья моя «принесла ему глубокое удовлетворение», но отмечает в ней одну фактическую ошибку (Ленина и мою): тот В. Вандерлип, который явился в Москву в 1920 г. для переговоров с Лениным о сибирских и камчатских концессиях, не был в действительности ни миллиардером, ни миллионером (в Москве его смешали с другим Вандерлипом), а был американским инженером с авантюристическими наklonностями.

В ответном письме я поблагодарил проф. Пэрри за его указание и добавил: «Если бы я был так же хорошо осведомлен о личности В. Вандерлипа, как Вы, то мне надлежало бы поставить слово «миллиардер» в кавычки или сделать соответствующее подстрочное примечание. Но в тексте статьи, поскольку она говорит о политике Ленина, менять было бы нечего, ибо здесь важно не то, был ли этот Вандерлип американским капиталистом или американским авантюристом, а то, как Ленин старался завлечь в свои сети американских «капиталистических акул» (заманивая их «сугубой прибылью») и как он обрадовался (по выражению проф. Пэрри «глупо обрадовался»), когда ему показалось, что одна такая «акула» пошла на его приманку».

С искренним уважением и с добрыми пожеланиями Вам и «Новому Журналу»

С. Пушкирев

Текст ответа президента США Ричарда Никсона редактору «Нового Журнала» Р. Б. Гулю, на его письмо о выдаче литовского моряка Симаса Кудирки, напечатанное в кн. 101 «Н. Ж.»

THE WHITE HOUSE

Washington December 29, 1970

Dear Mr. Goul:

It was thoughtful of you to let me have your views concerning the defection of Simas Kudirka, the Lithuanian seaman. Like you, I was shocked when I learned how the defection attempt was handled, and I assure you that we have taken steps to make certain that such an incident will not happen again. I am determined that America will live up to its proud tradition of guaranteeing the safety of refugees.

With best wishes,

Sincerely,
Richard Nixon

Mr. Roman Goul
Editor
The New Review
2700 Broadway
New York, New York 10025

БИБЛИОГРАФИЯ

ХРИСТИАНСТВО, АТЕИЗМ И СОВРЕМЕННОСТЬ. Изд. 2-е. ИМКА-ПРЕСС. Париж. 1970.

Первая оценка, сама по себе напрашиваясь по прочтении этого сборника, это то, что он мастерски написан. Это мастерство присуще всем трем авторам, хотя язык их индивидуален. У всех трех мыслителей аргументация предельно точная, сжатая, ясная и убедительная. Отметим некоторые, наиболее запечатлевшиеся, мысли.

Н. Бердяев. Марксизм и религия.

Марксизм, как экономическое учение, опровергнут не только теоретиками политической экономии, но и практикой: экономические прогнозы Маркса по-просту не оправдались.

Приведем несколько внутренних противоречий марксизма. По Марксу, все известные идеологии являются отражением экономических отношений, господствующих в данную эпоху; все эти идеологии относительны и не могут претендовать на абсолютную истину. «Исторический материализм разоблачает призрачный и исключительно служебный характер всех идеологий, всех существовавших до сих пор философских учений и религиозных верований». Согласно этому следовало бы заключить, что марксизм является отражением экономических отношений «индустриальной революции» (середина XIX в.) и, с переменой этих отношений, отойдет в прошлое, став одной из глав в истории экономических доктрин. Однако, вопреки очевидности, Маркс и его последователи, будучи релятивистами, признают, что они открыли истину, безотносительную к времени и пространству, значит — абсолютную!

Маркс называет свой социализм «научным социализмом» и решительно отрицает и даже презирает «социализм утопический», основанный на моральности междучеловеческих отношений. Социализм для Маркса хорош, так как он дает власть, мощь, силу, которые преодолеваю проблему соотношения зла и добра, как ценностей относительных. Стремление к всемирной революции оправдывает все средства и, в меру нужды, полное уничтожение противников. «И вместе с тем Маркс и марксисты полны нравственного негодования против социальной несправедливости и страстно обличают злодеев эксплуататоров...»

Нравственность есть соответствие поступков (и их мотивов) с этическими законами, в основании которых лежит различие между метафизическими началами добра и зла. Маркс отрицает всякую метафизику, однако, когда ему нужно, он оперирует понятиями добра и зла, причём этика у него совсем дикарская. Согласно его учению, «из злых инстинктов рабочих, из озлобления, ненависти, мести, насилия, должен родиться совершенный справедливый, добрый социальный строй».

В. Н. Ильин. Материализм и материя.

Материализм, в том или ином виде, существует уже 2.500 лет, совершенно независимо от прогресса точного знания, однако, в области науки о материи он не открыл ничего значительного: это все видоизменения учения Демокрита об атомах и об их движении. Автор настоящего очерка делает очень интересное сопоставление имен материалистов и верующих ученых и наглядно доказывает, что развитие науки двигалось последними, а не первыми (с минимальными исключениями).

Факт, что материализм, опровергаемый в теории и на практике, пребывает, свидетельствует о том, что он есть явление духовного порядка, предмет веры, хотя и с отрицательным знаком.

Понятие материи двояко: одни под этим словом понимают всеобъемлющий принцип всей вселенной (субстанция), другие — всё то, что воздействует на наши чувства, что поддается взвешиванию и измерению (вещество).

Материя, как предмет естественных наук, как вещество, «сама по себе хороша, прекрасна и заслуживает самой напряженной и страстной любви», ибо человек, «находящийся в состоянии просветленной духовности, именно в материю воплощает свои добрые порывы и через материю творит добро».

Материя же, как философская категория, понятие неясное, спорное и противоречивое. Материалисты выводят свою философию от Демокрита, который учил: «Нет ничего кроме атомов и пустого пространства. Всё прочее есть мнение». Эта противоречивая аксиома сама себя опровергает, ибо утверждает бытие трех сущностей: атомов, пространства и мнения. Если мы сосредоточим свое внимание на первых, наиболее «материальных» слагаемых реальности, то в свете современной науки мы увидим, что они, с развитием науки, все более и более ...дематериализуются.

С. Л. Франк. Материализм как мировоззрение.

«Если брать материализм как теоретическое учение о сущности мирового бытия, как научно-философскую теорию, то он есть одно

из немногих философских построений, о которых можно с полной достоверностью сказать, что ложность и несостоятельность его действительно неопровергимо доказаны — доказаны с той достоверностью и отчетливостью, которые присущи, например, математическим истинам». Так начинает свой очерк о материализме С. Л. Франк.

Несмотря на это теоретическое преодоление материализма мы являемся свидетелями упорного воскресения его, в особенности там, где плоды его практического применения, в виде осуществленного марксизма, не вполне известны. Объясняется это тем, что «за последний век происходит непрерывный процесс демократизации, что к общественной жизни, к литературе и мысли приобщаются все более широкие слои людей, непривыкших и неспособных к тонкой и точной мысли и потому отдающих свои симпатии именно наиболее грубым и примитивным философским построениям», было бы только отчасти верно.

В искусно построенном диалоге между «материалистом» и «криптиком», Франк доказывает, что материалист держится своих убеждений не силой своих логических или научных аргументов, а практическо-волевым усилием.

После прочтения этого сборника становится жаль тех наших соотечественников за железным занавесом, страдающих материалистическим недугом, которые и рады бы воспользоваться «интеллектуальным пенициллином» этих статей, но, к сожалению, не имеют возможности.

Игумен Геннадий (Эйкалович).

Б. ЭЙХЕНБАУМ. О ПРОЗЕ. Сборник статей. Ленинград, 1969. Стр. 502.

Трудно сказать, что выходящие в Сов. России монографии и общие курсы по истории литературы стоят на должной высоте, — в большинстве своем эти книги фальшивы и бездарны, — но в то же время следует признать, что в СССР в последние десятилетия производится интенсивная работа по подготовке материала для научного исследования истории русской словесности. В первую очередь следует указать на многотомные издания полных собраний сочинений русских классиков, начиная с 90-томного издания сочинений Толстого, снабженных всем необходимым текстологическим, биографическим и библиографическим аппаратом.

Одним из лучших, если не самым выдающимся, ученым литератороведом советской эпохи, сумевшим уже использовать этот материал в ряде научных работ, является Б. М. Эйхенбаум (1886-1959). Он автор превосходных книг и статей, в частности, о Льве Толстом, о Лермонтове, и был главным редактором собраний сочинений ряда русских классиков. Недавно вышли два сборника его статей — «О

поэзии» и «О прозе». Оба помечены 1969 годом и снабжены обстоятельными статьями об Эйхенбауме. В сборнике «О поэзии» перепечатаны статьи о Пушкине, Лермонтове, Некрасове, Ахматовой и Маяковском, а также большая теоретическая работа о «Мелодике русского лирического стиха». В сборнике «О прозе» помещены очерки о Карамзине, Пушкине, Лермонтове, Гоголе, Щедрине, Лескове, Чехове и Тынянове.

Статьи о русских писателях в сборнике «О прозе» очень различны по размеру — от небольших заметок до исследований, занимающих десятки страниц, — но все они (за исключением статьи «О взглядах Ленина на историческое значение Толстого») и по форме и по содержанию стоят на высоком уровне. Поражает доскональное знакомство Эйхенбаума с обширнейшим матерьялом источников, — не только со всеми многотомными «собраниями сочинений», но и с журнальной литературой всех десятилетий, статьями обозревателей и критиков, мемуарами и письмами литераторов и государственных деятелей, не говоря уже о трудах историков и историков литературы. Притом он с удивительной легкостью маневрирует всем этим необозримым матерьялом, так что его статьи отнюдь не подавляют своей ученостью и читаются с неслабеющим интересом.

Наибольшее место в сборнике уделено статьям Эйхенбаума о Толстом, которые служат дополнением к написанной им еще в 1920-х годах, но к сожалению незаконченной биографии Толстого. Особенно интересны статьи «Творческие стимулы Толстого», «Наследие Белинского и Толстой» и «Пушкин и Толстой».

Пушкину посвящена всего одна, но зато чрезвычайно интересная статья «Путь Пушкина к прозе». Этот путь, по мнению Эйхенбаума, начинается с «Евгения Онегина». «Роман в стихах», как называет своего «Онегина» сам поэт, «знаменует собой тенденцию внести в стих прозаическое течение фразы». В «Онегине» поэту удается «преодолеть коллизию между стихом, как таковым, и простым повествованием..., уничтожить ощущение стиха, как особой формы речи». Пушкин восхищается «произведениями английских поэтов», которые «исполнены глубоких чувств и поэтических мыслей, выраженных языком честного простолюдина». Он сожалеет о том, что «прелесть нагой простоты так еще для нас непонятна, что даже и в прозе мы гоняемся за обветшальными украшениями». К такой «прелести» Пушкин стремился в своей прозе, неуклонно следя своему лозунгу: «точность, краткость — вот первые достоинства прозы».

Большое место в литературном наследии Эйхенбаума принадлежит его работам о Лермонтове. Он особенно высоко ценил этого поэта и изучил его творческий путь более глубоко и подробно, чем

кто-либо из его предшественников. В сборнике «О прозе» Лермоитову посвящена одна статья («Герой нашего времени»), занимающая 75 страниц. Роман Лермонтова Эйхенбаум называет «гениальным произведением,... тем зерном, их которого в дальнейшем вырос русский психологический роман». Думаю, что такого тонкого и проницательного анализа «Героя нашего времени», какой представляет собой эта статья, еще не было сделано в русской критической литературе. В ней сначала очерчен путь Лермонтова к своему роману — юношеские опыты, замысел «Вадима», возникший на основе «неистребленных декабристских идей», и наконец начатый в 1836 году первоначальный вариант под названием «Княгиня Лиговская». Чрезвычайно интересен предлагаемый Эйхенбаумом анализ характера Печорина, в котором он видит не представителя «света» и даже не его «жертву», а воплощение «начала протеста». Если Онегин только «охлажден», то Печорин «озлоблен» — он страдает «не от своей душевной пустоты,... а от невозможности найти действительное применение своим могучим силам».

«Как видно по вариантам к «Княжне Мери», — пишет Эйхенбаум, — Лермонтов искал способа как-нибудь намекнуть читателям на то, что появление Печорина на Кавказе было политической ссылкой». В одном из разговоров с Печориным его приятель доктор Вернер упоминает о том, что «Ваша история в Петербурге наделала много шума». Слово «история», замечает по этому поводу Эйхенбаум, «служило тогда нередко своего рода шифром: под ним подразумевалось именно политическое обвинение». Рядом тонких, но достаточно убедительных догадок, он пытается доказать, что в лице Печорина Лермонтов изобразил прямого потомка декабристов и потенциального революционера, который по условиям времени не мог осуществить свое «высокое назначение» и дать волю своим «бурным страстиам».

Наряду с таким оригинальным толкованием характера героя, Эйхенбаум дает в своей статье подробный анализ композиции лермонтовского романа на фоне современных иностранных образцов и русской художественной прозы в годы его написания. Анализ такого же рода дается и в статье о другом классическом произведении русской литературы — «Как сделана 'Шинель' Гоголя». В этой статье Эйхенбаум полнее всего выявляет свое формалистическое *profession de foi*. В противоположность «нашим наивным и чувствительным историкам литературы, загипнотизированным Белинским», он видит в знаменитой повести Гоголя пример «композиции, в которой сюжет... перестает играть свою организующую роль» и «центр тяжести от сюжета... переносится на приемы сказа». «Настоящая динамика, а тем самым и композиция... вещей Гоголя, читаем мы дальше, — в построении сказа, в игре языка». Он подробно останавливается на звучании имен и фамилий, которые Гоголь дает своим

героям, на манере говорить отдельных действующих лиц (например, на противопоставлении речи Акакия Акакиевича и речи портного Петровича) и т.д. И в конце этой — наиболее спорной — статьи мы находим следующую программную декларацию: «душа художника, как человека, переживающего те или иные настроения, всегда остается и должна оставаться за пределами его создания. Художественное произведение есть всегда нечто сделанное, оформленное... искусство в хорошем смысле этого слова, и потому в нем нет и не может быть места душевной эмпирике».

Позволительно спросить: а как же быть с гоголевским «смехом сквозь слезы»? Ведь это — «душевная эмпирика» самой чистой воды и ее «наивные и сентиментальные историки литературы» не выдумали, а прочли у самого Гоголя в седьмой главе «Мертвых душ»...

Не буду подробно останавливаться на остальных статьях сборника и только скажу, что все они, — за указанным в начале исключением, — содержательны и интересны. Но, к сожалению, приходится в заключение прибавить неизбежную «ложку дегтя».

Читая серьезные, подлинно научные статьи Эйхенбаума, особенно неприятно услышать в них достаточно громкую ноту «созвучности» с общеобязательной в Советском Союзе казенной идеологией. Как я уже упомянул, Эйхенбаум нашел нужным посвятить пространную статью высказываниям Ленина о Толстом. Цитаты из Ленина (и, хотя в меньшей мере, из Горького и Чернышевского) разбросаны почти по всем статьям. Имя Сталина, к счастью, не упоминается в книге ни разу, хотя почти все статьи были опубликованы в эпоху пресловутого культа личности. Но зато Ленина Эйхенбаум цитирует, как абсолютно непрекаемый авторитет, на подобие того, как магометане цитируют Коран, а правоверные католики св. Фому Аквинского.

Притом, к сожалению, автор не ограничивается цитатами, которые можно было бы просто игнорировать, как орнаменты коробящие, но не нарушающие хода научной мысли. Марксистский дух веет во всей его интерпретации духовного наследия Толстого.

Вопреки общеизвестным фактам, Эйхенбаум силится изобразить Толстого, как «дитя своего времени» и «выразителя общественных настроений своей эпохи». «Противоречия Толстого, заявляет он, это противоречия русской действительности ...Кризис, пережитый Толстым в 60-ых годах,... был прямым отражением социального кризиса, надвигавшегося на Россию... В нем скопились в последний раз все силы кондового русского дворянства». После чего следует признание, что «изложенная мной гипотеза выросла на основе статей Ленина о Толстом и является попыткой историко-литературной конкретизации его главных тезисов».

Все эти шаблонные фразы находятся в явном противоречии и с сущностью учений Толстого, и с общеизвестными фактами его биографии, — притом с фактами, которые частью приводятся в тех же статьях Эйхенбаума. Не было, кажется, во всем мире писателя, который бы в такой мере, как Толстой, неуклонно проводил свою личную линию, не поддаваясь ничьему влиянию и не стесняясь резко расходиться со всеми господствующими в его эпоху и в его среде течениями. «Трактат «Так что же нам делать?», — правильно отмечает Эйхенбаум, — противостоит всем принципам и теориям, созданным демократической интеллигенцией 60-ых и 70-ых годов». Приехав в конце 1850-ых годов, в эпоху небывалого общественного подъема, из Севастополя в Петербург и поселившись в квартире Тургенева, т.е. в самом центре литературной среды, Толстой «ни с кем не соглашается». Друзья восхищаются его талантом, но считают его барчуком и сумасбродом. Ни тогда, ни впоследствии Толстой не включался ни в какую интеллигентскую группу, не соглашался ни с каким общественным течением. Он до своего последнего дня, как библейский пророк, громил царское правительство, но и совершенно отрицательно относился и к либералам, и к революционерам. А такой знаток и ценитель Толстого, как Эйхенбаум, все же считает возможным втискивать идеологию Толстого в окостенелые формулы «диамата» и наклеить на этого одинокого гиганта классовую этикетку — «идеолога патриархального крестьянства...»

Трудно сказать, являются ли эти фальшивые ноты обязательной данью, которую Эйхенбаум платил недремлющему оку советской цензуры, или же он стал жертвой царящего в СССР массового психоза. Они в обоих случаях портят впечатление от его книги, — но соблюдая правильную пропорцию, нельзя не признать, что они играют в ней незначительную роль и что книга в целом — ценный труд большого ученого.

А. Гольденвейзер

ИГОРЬ ЧИННОВ. «ПАРТИТУРА». Стихи. Изд. «Нового Журнала» 1970.

ЮРИЙ ИВАСК. «ЗОЛУШКА». Стихи. Изд. журнала «Мосты». 1970.

«Он у нас оригинален, ибо мыслит», писал Пушкин о Баратынском. Мне вспомнились эти слова при чтении сборника стихов Игоря Чиннова «Партитура», хотя отвлеченной рассудочности в чинновских стихах нет. Наоборот, в замысле, в основе своей стихи лиричны, непосредственны. Но особенность их словесного состава, как говорится, «будит мысль», заставляет задуматься над вопросом о будущем нашей поэзии, о том, куда она идет, и если куда-нибудь идет, то что впереди: тупик или развитие? Повидимому о том же думает

в последнее время и Чиннов. Не уверен только, что возможность тупика он допускает.

Это на редкость искусный поэт. С первого же появления в печати стихи его пленяли едва уловимыми, тончайшими, будто перламутровыми переливами оттенков, причудливо-печальной мелодией, в них приглушенно звучавшей. Казалось, поэт сразу нашел свое место в новой русской лирике, нашел свой стиль и склад. Однако в недавние годы с ним что то произошло, чем-то сознание его оказалось встревожено, и стиль свой он резко изменил, сам себя вкрадчиво высмеивая и порой даже над собой издеваясь. Вторжение демонстративной грубости в поэзию Чиннова, — например, таких строк, как «Василиса, нет, Васька Прекрасная», — вторжение еще более демонстративных нелепостей, вроде «Лошади впадают в Каспийское море», отнюдь не случайно. Это плод долгих, смутных, может быть тягостных раздумий, которые вероятно сводятся к вопросу и к недоумению: можно ли продолжать писать так же, как прежде, не следует ли разрушить все прежнее с тем, чтобы возвести на развалинах былого величия нечто по новому чистое и животворящее? Васька и лошади с Каспийским морем — вовсе не «достижения», нет, это скорей порох, динамит, подложенный под прежние дворцы или соборы, вызывающие слишком много бездушных, ловких подражаний и подделок.

Вопрос сам по себе не новый, едва ли не каждому писателю и художнику знакомый. У меня еще в далекие петербургские времена был приятель, считавший себя поэтом и не без самодовольства говоривший: «Я пишу не так, как все вы теперь стали писать, я просто пишу, как Пушкин». На столь обезоруживающую наивность не было охоты и отвечать: случай был безнадежен, иллюзия безграннична, пусть же и продолжает писать «как Пушкин»! Но оставив подобный вздор, спросим себя: можно ли действительно писать, как сто или полтораста лет тому назад? Ответ бесспорен: нет, конечно, нельзя. Кроме мертвечины ничего не получится. Все дело однако в беспощадной проверке нововведений, в отказе от новизны показной, столь же эффектной, сколь и скоропортящейся, во внутренней обоснованности разрыва с прошлым, наконец, — и это пожалуй самое существенное, — в чувстве духовной солидарности со своей эпохой и ответственности за нее, в стремлении сохранить в ее облике черты не менее человечные, нежели те, которые мы до сих пор улавливаем в лучших созданиях былого. Обрываю эти замечания лишь потому, что иначе они заняли бы десятки страниц.

Игорь Чиннов остался даже и при Васьках с лошадьми, впадающими в Каспийское море, поэтом не менее изощренным, чем был когда-то. Не менее одухотворенным поэтом. Васьки и лошади в его стихах почти трагичны. Он им не радуется, как находкам, он

решается на них будто с сознанием необходимости жертвоприношения некоему Молоху, который жертвой будет умилостивлен и позволит напеву звенеть с той же свирельно-легкой меланхоличностью, как и прежде. Вместе с тем все теперешние чинновские стилистические приемы явно внушенны мыслью о будущем нашей поэзии: подготовкой нового стиля, уж, конечно, без Васек и лошадей, но со словами, которые будучи отмыты и очищены от приставшей к ним, надоевшей, всем доступной псевдо-поэтической пыли, а то и грязи, полноправно займут в творчестве свое законное место. Дворцы и соборы тогда возникнут снова.

Тут напришивается вопрос уже не общий, а лично к автору «Партитуры» обращенный: какое будущее? может ли о будущем идти речь? верит ли он в будущее, ждет ли его? Не могу вспомнить в последние десятилетия других стихов, в которых счеты с жизнью и бытием были бы очевиднее покончены, где меньше уцелело бы каких-либо надежд, где мотивы утраты, растерянности, жалости и прощения звучали бы неотразимее. Какое же будущее, что же, ведь не обычный же «прогресс», самое упоминание о котором в данном сочетании мыслей и чувств звучало бы смехотворно? «А музыка — один обман, как постаревшая принцесса Греза», вскользь говорит Чиннов, с мимолетной уступкой щемящей, прежней словесной сладости. Но тут же «опостылая, осточертелая, опустелая душа» и настойчивое, на все лады развитие этого образа или этой темы. Стихи писать надо, утверждает поэт. Но, безотчетно или сознательно перфразируя заключительные строки незабываемой бодлеровской «Падали», он иронически советует писать их

..... пободрей,
Чтоб сердце училось при жизни
Быть лакомым блюдом червей.

И так далее, и так далее. Какое же будущее, для чего? — хочется спросить еще раз. Для каких «осточертелых душ»? Ответить можно пожалуй то, что поэзия не обязана быть в согласии с логическиммышлением. В разладе их, если разлад не надуман, а непроизведен, есть даже очарование а очарование новых чинновских стихов по прежнему «пронзительно», как любили говорить в Петербурге, полвека с лишним тому назад. Но все же от них возникает впечатление, что человек стоит над обрывом, и как знать — может-быть сорвется в пропасть, а может-быть, на неведомых нам крыльях, унесется в голубую высь. Что же поживем, увидим. Будем надеяться, сколько бы не примешивалось и опасений. Одно только несомненно: «Партитура» — книга значительная, в высшей степени своеобразная и по настоящему мастерская.

Насколько мне известно, Игорь Чиннов и Юрий Иваск связаны

долголетней дружбой. Но до чего различны они, как поэты! Стихи Иваска свежи и радостны, они легки, беспечны, беззаботны, будто уверенность, что в мире «все добро зело» и не может иначе быть, в сознании его неистребимо. Лучше пожалуй было бы сказать не «в сознании», а «в душе», как бы ни было сомнительно и проблематично различие этих двух понятий. «В душе» потому, что чувство у Иваска не позволяет мысли смутить, поколебать привычные для него настроения и что радость существования, ненасытное влюбленное любопытство ко всему существующему составляет самую основу его поэзии. Умышленно не привожу цитат, в которых это было бы выражено: цитаты почти всегда голословны и в чисто смыслом отношении неубедительны. У каждого поэта можно подобрать цитаты по смыслу в корне противоречивые. Стихи надо слушать по крайней мере с тем же вниманием, как и вникать в непосредственное значение слов, и именно вслушиваясь в поэзию Иваска, молча, мысленно восстанавливая ее стремительные, как будто ликующие ритмы, улавливаешь истинное ее содержание. «Все добро зело». Говоря о стихах Чиннова, я употребил слово «трагично»: нет ничего, что было бы более чуждо Иваску, и даже может быть непостижимо ему, — непостижимо, конечно, в плане эмоциональном, а не расудочном.

Со словами он делает, что хочет, играет ими с вызывающей вольностью, ни с чем, кроме своей прихоти не считаясь. Вероятно он знает, что подобного рода игры обеспечивают ему поддержку со стороны господствующих в наше время литературных течений, и с тем большей ревностью им предается. Кстати, довольно показательно, что эпиграфом к его сборнику «Золушка» взяты строки из последней книги М. Кузмина «Форель разбивает лед».

Здесь я позволю себе короткое отступление. Книга эта, вышедшая в тридцатых годах, мало в свое время замеченная, теперь по новому и очень высоко оценена. Увлекаются ею поэты и критики, «литературovedы» и в России, и в эмиграции. Не преувеличивают ли они однако ее достоинства, ее значение? В поэзии Кузмина всегда было изящество и даже изысканность, были неожиданные находки, был вкус. В русской литературе начала нашего века Кузмин был кем-то вроде «столичной штучки», но все-таки слабой, усталой, как будто прирожденно-надтреснутой или астматической. Он был очень умен, наделен острым чутьем заодно с постоянным беспокойством об авангардности, о новаторстве, особенно к концу жизни. В «Форели» все это дает себя знать. Но много ли исходит тепла и света от этого колеблющегося огонька?

С Кузминым у Иваска по существу довольно мало общего, хотя близость его к «зауми», заигрывание с нею напоминает некоторые поздние кузминские приемы. Напоминает помимо того и приемы не-

которых русских футуристов, — не столько Хлебникова, сколько хлебниковских последователей:

Пели-пели-пели,
Пили-пили-пили...

— например, пишет Иваск. Однако если прочесть это коротенькое стихотворение полностью, видишь, что за дразнящей игрой звуков в нем рассказана целая повесть. Случай для автора «Золушки» редкий: повесть печальная.

А долго предаваться печали Иваск не в силах, любезной Жуковскому «печати меланхолии» на нем нет. Есть любовь к миру, крепкое доверие ко всему доброму, что в мире мы еще улавливаем, ко всему прекрасному, что в течение веков человеческими руками было создано. Есть и что-то почти детское:

Антоний Падуанский, милый,
Подай на развлечения силы!

Правда, это сказано Иваском не от своего лица, но судя по всему тону его книги, чуточку, хотя бы только чуточку и от себя. Если он и выбирает маски, то такие, которые ему подходит. В соединении с большой литературной и общей культурой это придает собранным в «Золушке» стихам подкупающую, неподдельную прелесть.

Георгий Адамович

VERA PIROSCHKOW. *Freiheit und Notwendigkeit in der Geschichte. Zur Kritik des historischen Materialismus.* Verlag Anton Pustet, München und Salzburg, 1970, 316 S.

Свобода и необходимость в историческом процессе — эта одна из основных тем исторического материализма — важный и нужный объект исследования. Автор рецензируемой книги применяет генетический метод, излагая возникновение и развитие этого вопроса в историческом материализме, от Богданова, через Плеханова и Ленина до современной советской философии (I-я и II-я главы). В третьей главе автор говорит о критиках марксизма, вышедших из «его собственных рядов», о Булгакове и Струве, Колаковском и Косике. В заключительной главе автор высказывает несколько своих тезисов о необходимости и свободе в истории. Книгу заключает большая библиография и указание имен.

В введении В. Пирожкова дает вкратце исторический, политический и психологический обзор советского марксизма. Она указывает на то, что в его природе лежит слепая вера и что он является политическим орудием партии.

В первых главах В. Пирожкова интересно излагает взгляды Богданова, положительно оценивает его попытки построить всесто-

роннее и в то же время открытое мировоззрение, ио не пропускает незамеченным ни одного, несогласованного с его общей системой, утверждения.

Богданов верит в прогресс, ведущий к коммунизму, но при этом честно признает, что это **вера**, а не научное предсказание. Он так же вводит в свой монизм роковое разделение между волей и сознанием, должным и существующим, и, таким образом, вытолкнутая им в дверь телеология, снова возвращается через окно.

Богданов допускал ошибочность некоторых положений Маркса и, особенно Энгельса, тогда как для Плеханова и еще больше для Ленина и современной советской философии марксизм был и есть непоколебимая истина. Вся суть их полемики с противниками сводилась и сводится всегда к тому, чтобы доказать «отклонения» от «чистого учения» Маркса, и тем самым все возражения противников считались и считаются уже опровергнутыми. У Ленина было чрезвычайно развитое политическое чутье и инстинкт власти, а потому его интересовала не столь философская «правда» марксистской идеологии, сколь ее монолитность. Уже Богданов подчеркивал в свое время склонность Ленина к абсолютизму и догматической косности. Этот догматизм давал твердую основу и самоуверенность пропаганде, несмотря на самые невероятные повороты в практической политике Ленина. Ленин, пишет В. Пирожкова, был не философом, а политиком, он твердо держался за Маркса, но не останавливался перед тем, чтобы его «дополнить» или даже изменить, если ему это было нужно для достижения непосредственных политических целей.

Советская философия исходит из основного положения, что материальное бытие определяет сознание и, следовательно, история зависит от развития производительных сил и производственных отношений. Прогресс является для нее неизбежным и предeterminированным, причем это понятие прогресса очень наивно. По Плеханову (что соответствует самому Марксу) духовная надстройка вполне определяется материальным базисом. Базис непосредственно определяет государство, право, мораль и посредственно науку и искусство. Современные советские идеологи изъяли из надстройки язык, математику, формальную логику и, частично, физику, химию и астрономию. В последние годы советские идеологи решились даже и за моралью признать известную независимость от материального базиса. Но они все же утверждают объективную относительность морали. В основе всего этого лежит понятие о становлении человека, что дает право управлять им по желанию партии. Если посмотреть глубже, то вся проблема коренится в понятии самодовлеющей материи, которая в диамате стала новым богом, наделенным своей закономерностью, где нет места как для человеческой свободы, так

и для истинной морали. Советские идеологи полагают, что это мировоззрение дает им, якобы, возможность «научно» предсказывать будущее развитие общества, независимо от воли людей.

В. Пирожкова описывает неудачные попытки Плеханова найти и определить роль личности в истории и указывает на опасения Бухарина предоставить человеку свободу воли, чтобы он не «попал в плен религии». Она подчеркивает, что советская философия сейчас больше настаивает на существовании железной, но познаваемой человеком закономерности истории, чем на чисто материалистическом объяснении исторических явлений. Вопрос о влиянии свободной воли человека на ход истории остается попрежнему неразрешенным, несмотря на волюнтаризм Ленина. С одной стороны процветает неограниченный культ Ленина, с другой — человек попрежнему провозглашается продуктом общества и его законов необходимости. Это основное противоречие марксизма обостряется в личности Ленина и в ленинизме.

Затем автор анализирует понятия причинности, телеологии и случая в советском толковании. В. Пирожкова указывает на неточность и расплывчатость советских определений. Так, например, говоря о причинности они сужают это понятие, сводя его к понятию лишь «естественных» причин и часто отождествляют причинность с необходимостью. Это отождествление было модным у естествоиспытателей прошлого века, но сейчас естествоиспытатели не рассматривают причинность как предeterminацию будущего. Тем более причинность не может быть отождествлена с необходимостью и предeterminацией, когда дело идет о человеческом обществе.

Советская идеология отвергает всякую объективную телеологию, но считает, что человек сам может ставить себе цели и стремиться к ним. Но какие бы цели отдельный человек себе ниставил, необходимые законы исторического развития ведут все человечество неизбежно к коммунизму, причем коммунизм является «справедливой общественной формацией». Откуда марксисты вдруг берут понятие справедливости, неизвестно.

Далее автор касается определения категорий возможности и действительности в советском марксизме. Советские идеологи признают возможность предотвращения третьей мировой войны, но в то же время (в противоположность китайцам) и возможность уничтожения всего человечества в мировой атомной войне. Но будет эта война или не будет — это предоставлено случайности или, по меньшей мере, неопределенной возможности. Как же могут советские идеологи утверждать, что конечная цель — коммунизм — человечеством неизбежно будет достигнута, если «случайность» атомной войны может уничтожить все человечество?

В заключении второй (и самой главной) главы книги автор

ставит непосредственно вопрос о свободе и необходимости. По мнению советских марксистов в космосе царствует необходимость (в том смысле, как ее понимало естествознание 19 века), общество же есть лишь часть космоса и управляет теми же самыми законами, истмат — это только применение к обществу универсальных принципов диамата, поэтому они и настаивают на необходимости в истории. Но одновременно они возвеличивают коммунизм как будущее царство свободы, как новый космос и нового человека. Итак, мы, в конце концов, приходим к дурной, материализированной, обезличенной эсхатологии, которая является карикатурой на христианскую эсхатологию.

В конце своей работы В. Пирожкова выдвигает несколько тезисов для определения свободы и необходимости. Эти тезисы являются как бы итогом всей дискуссии с марксистами на эту тему.

В этой книге хочется прежде всего подчеркнуть добросовестность изложения, проницательность и ясность мыслей автора. Книга дает не только хорошее изложение марксистского учения, но и детальную критику, оценку и диалог с его представителями, где научное беспристрастие сочетается с сознанием огромной человеческой драмы, скрывающейся за наукообразными формулировками марксистов.

П. Модесто

Anton Antonovič Del'vig, A Classicist in the Time of Romanticism by Ludmila Koeler, Mouton The Hague—Paris. Slavistic Printings and Reprintings, edited by C. H. van Schooneveld, Indiana University, 1970.

Людмила Келер ставит своей задачей во-первых, охарактеризовать творчество А. А. Дельвига с точки зрения поэтики (сюда входит метр, рифма, синтаксис, лексика, фразеология, образность, и т.д.); во-вторых, указать стилевые особенности Дельвига в рамках его эпохи, иначе говоря, на пересечении классицизма и романтизма. Автор считает Дельвига классицистом по преимуществу и в подтверждение своего тезиса дает подробнейший анализ формальных особенностей творчества поэта. Этот анализ занимает большую часть книги и представляет собой значительный интерес.

Книга Л. Келер дает по всей вероятности, наиболее полный формальный анализ творчества Дельвига со времени смерти поэта. Как видно из приведенной библиографии, наследию Дельвига в литературovedении не повезло. Вскоре после смерти Пушкина Дельвиг был почти забыт, известный интерес к нему возник в начале двадцатого века в связи с общим оживлением интереса к русской классической поэзии со стороны таких теоретиков стиха, как Б. Томашевский,

Ю. Тынянов, В. Жирмунский и др. Затем интерес к Дельвигу снова падает.

Классическая сущность поэтики Дельвига иллюстрируется автором через характерные жанровые, лексические и фразеологические особенности дельвиговского стиля, а так же, что представляет особый интерес, через конкретный анализ словарного состава дельвиговской поэзии. Автор указывает почти на полное отсутствие у Дельвига слов и словосочетаний, характерных для поэзии русского романтизма. При анализе словарного состава поэзии Дельвига, Л. Келер пользуется, между прочим, методом Д. Чижевского. Чижевский выделил ряд слов и словосочетаний, характерных для романтизма («сон», «сердце», «обман» и т.д.). Л. Келер справедливо считает факт отсутствия этих слов в словаре Дельвига характерным признаком классицизма.

Автор подробно останавливается также на месте Дельвига в современной ему русской поэзии. Основной тезис автора: «Дельвиг — классицист среди романтиков» хорошо документирован иубедителен. Однако, следует отметить, что в вопросе о классицизме и романтизме автор почти ограничивается русскими текстами. В связи с тем, что русский романтизм совершенно неотделим от романтизма общесевероевропейского, поле зрения автора поневоле оказывается несколькоуженым. Вопрос о западноевропейских классических и романтических связях Дельвига освещен недостаточно. Между тем, этот вопрос чрезвычайно важен. В связи с творчеством Дельвига можно было бы поставить вопрос о сходстве и различии между русским и западноевропейским (скажем, французским) классицизмом. Чрезвычайно плодотворная тема — сопоставление Дельвига с Ронсаром, к сожалению, только намечена. Между тем она могла бы оттенить очень многое в творчестве Дельвига и перенести вопрос о классицизме и романтизме в общесевероевропейский план. В русском литературоведении вопрос о классицизме и романтизме вообще мало разработан. Тем более затруднительно определять эти явления в рамках русской критики времен Дельвига.

Для полноты характеристики Дельвига было бы хорошо сделать попытку оценить его творчество, как таковое, иначе говоря, ответить на вопрос об абсолютной ценности художественного наследия Дельвига, а не ограничиваться только историческим значением. Как никак, значение поэта определяется его талантом, а не местом в истории литературы.

Но все это — лишь пожелания на будущее. В целом, книга Л. Келер несомненно представляет научную ценность. Книга дает возможность ясно увидеть Дельвига поэта и критика.

Олег Ильинский

MICHAŁ K. PAWLIKOWSKI. "Dzieciństwo i młodość Tadeusza Irteńskiego". B. Świderski. Londyn 1959. "Wojna i Sezon" Instytut Literacki. Paręż 1965.

Эти две книги, вышедшие с промежутком в шесть лет, представляют единое повествование. Единство определяется главным героем проходящим через оба произведения. Он — помещик прежней Минской губернии, ведущий свою генеалогию от польских шляхетских родов 16-го века. Время повествования охватывает период от начала нашего столетия до второй мировой войны. Перед нами, таким образом, целая эпопея.

Но трудно определить жанр этого двухтомника, так смешаны в нем все виды повествования. Это не сюжетный роман, не роман исторический и не бытовой, он похож на роман-биографию, но похож и на губернскую или уездную хронику. Не так уж, в конце концов, важно и обязательно устанавливать это. Гораздо важнее отметить, что несмотря на «единство места действия» и на одного общего героя, обе книги значительно отличаются друг от друга.

В «Детстве и юности Тадеуша Иртенского» герой является стержнем вокруг которого наматывается вся ткань повести: в «Войне и сезоне» автор увлекся широким полотном исторических событий, поставив задачей дать обзор политических судеб родного края на протяжении четверти века, включив сюда первую мировую войну, эпоху возрожденной Польши и новый ее крах. И видно, что в этой широкой панораме, его занимали больше политические события и страсти, чем личность и судьба героя. Героя он просто потерял, смешав с бесчисленным роем фигур и образов 1914-1941 гг. И написана эта книга суще первой, автор впадает, порой, в тональность простой хроники. Лишь местами встречаются сочные эпизоды, вроде охоты на лося, гимназических шалостей Витольда Дусятского-Рудомина, вроде финальной сцены сдачи отступающей польской колонны советским энкаведистам в Дубно. В этих сценах и эпизодах М. Павликowski выступает прекрасным рассказчиком и приходится только пожалеть, что в «Войне и сезоне» он так часто забывает об этом своем призвании.

Зато в «Детстве и юности» оно проявилось в полной мере. Об этой книге, в «Новом Журнале» (№ 67) был уже блестяще написанный отзыв Иосифа Мацкевича, отмечавший ее высокие литературные достоинства. Но, хотя одно из ее достоинств Мацкевич усматривает в том, что автор «порвал со схемой политico-патриотической подкладки», он тем не менее приписывает ему эту подкладку. Взглянув на книгу политическим оком, он хочет видеть в ней хронику «последних лет Великого Княжества Литовского», что представляется мне неверным. Будь это сказано про «Войну и сезон» это было бы более уместно, но в «Детстве» царит беллетри-

стическая стихия. Тут автор поднялся, действительно, над политическими и национальными страстиами и, сам может быть того не замечая, вышел далеко за географические пределы «княжества». Имею в виду не распространение описаний на Петербург, Варшаву, Вену, куда ездит пан Тадеуш, а характер этих описаний, не отличающихся по тону от описаний своего края.

Нам русским, видящим, как с переменой имени, с утратой стольчного значения, с разгромом всего пышного, что в нем было, с беспримерной трагедией блокады, с варварством нового строительства, этот город уходит от нас, описание его лучших дней у М. Павликовского, так же дорого, как вся двухвековая литература о Петербурге. Автор «Детства Тадеуша» взглянул на свое время не с Ковенских и Минских пределов, а с несравненно более высокого полета. И время получилось «европейское». Оно на Неве то же, что на Висле, что на Припяти, что на Дунае.

Казалось бы, в литературе, особенно русской, так много «детств», что от всякого нового требуется что то особенное — либо язык, либо невиданные приключения, либо невиданный герой. Ничего этого у Павликовского нет. Герой самый обыкновенный, приключений никаких, а язык простой «литературный язык» нашей эпохи. И не знаешь чем объяснить увлекательность книги. **Писательским даром, конечно.** Тем даром, что не исчерпывается ни «приемами», ни «техникой», но чем то неуловимым, что стоит над всем этим. Автор счастливо избежал соблазна наших дней пленять публику словесными выкрутасами, модернистическими выдумками, либо нарочитыми композиционными сложностями. Когда один из его критиков, заметил, что пишет он «просто», то хочется прибавить, что это та, редко дающаяся простота, перед которой меркнет всякая эквилибристика «приемов» и стилистических эффектов. Какое то излучение души должно передаваться читателю со странц каждого подлинно художественного произведения. А от «Детства» оно исходит ярко и покоряет с первой главы.

Хотя имя героя, Тадеуша Иртенского, очень похоже на имя Николиньки Иртеньева из «Детства», «Отрочества» и «Юности» Л. Толстого, мы вряд ли соблазнимся параллелями между этими героями и произведениями. Не только внешнего сходства никакого, но писательские методы разные. Толстой, как бы залезает в душу своего героя, тогда как автор Тадеуша являет иам ее посредством событий, мест, вещей внешнего мира. Это ближе к методу Пруста. Преподнеси автор Тадеуша Иртенского в старом повествовательном каноне, мы бы сказали, что задачи своей он не выполнил. Но он и неставил такой задачи. Сознательно или случайно, он устранился от портретной и историко-бытовой манеры. Пренебрегши тщательным выписы-

ванием образа, он сделал его конденсатором цвета, запаха, чувствования своего времени.

Видим ли мы его едущим из Петербурга в вагоне-ресторане, мы и вагон, и вино на столике, и проносящиеся за окнами ландшафты относим ко второму десятилетию ХХ-го века, не раньше, не позже; смотрит ли он в цирке дуровский поезд животных, либо французскую борьбу, мы чувствуем все тот же «блоковский» вкус времени. Танцевальные вечера, увлечение эротической литературой, первые полеты авиаторов, все это будит память не о том где ты жил, а когда ты жил. Не «последние дни Великого Княжества Литовского», а канун заката Европы глядит на нас со страниц книги М. Павликова.

Н. Ульянов

АПОЛЛОН ГРИГОРЬЕВ. СОЧИНЕНИЯ. КРИТИКА. Вступ. статья, редакция и примечания В. С. Крупича. Вилланова Юниверсити Пресс. Вилланова. 1970 (414 стр. с приложением портрета А. Григорьева).

Сын дворовой и чиновника, с детства очень впечатлительный, с неуравновешенной истеричкой-матерью, сам человек неуравновешенный, Аполлон Григорьев оставил после себя яркий след в истории русской критики и русской ищущей мысли. Читая его, порою наспех написанные, статьи, то удивляешься его начитанности, тонкости мысли о нации, об искусстве, то негодуешь на явные стилистические промахи, и даже на неимоверную небрежность с текстом любимого автора. Он, да еще кн. Вяземский взяли сразу под защиту «Переписку с друзьями» (т.е. «Выбранные места из переписки с друзьями»), но в специальной статье о них Григорьев сразу же путает персонажи из «Майской ночи, или утопленницы» и рассказывает «Ночь перед Рождеством»! Такие ляпсусы, я думаю, следовало бы отметить в примечании редактора. Но нельзя достаточно приветствовать труд В. Крупича. Из разных редких изданий сочинений Григорьева (Страхов, Саводник, Спиридонов, советское 1967 г. — очень слабенькое), работ наших критиков и ученых, редактор использовал все существенное. В книгу входит девять статей Аполлона Александровича и их выбор редактором очень обоснован.

В английском вступлении В. Крупич дает на тридцати пяти страницах хороший, довольно скжатый очерк жизни и творчества нашего мыслителя, творца термина, так полюбившегося Достоевскому — **почвенничество**.

Важны статьи о Гоголе, Пушкине, об органической критике произведений искусства, о русских народных песнях, повлиявших, кстати и на поэзию Григорьева. В. Крупич прав, подчеркивая, что в центре мыслей об искусстве и о великих произведениях литературы у Григорьева стоит проблема личности в истории и в общественной

среде. По вопросу о свободе воли и так наз. случае Григорьев повлиял несомненно на «Записки из подполья» Достоевского.

Хорошо объяснено и трагическое одиночество этого образованного, знатного четыре иностранных языка, критика в среде русской революционно утилитаристической интеллигенции. Но я думаю, что В. Крупич преувеличивает влияние А. Григорьева на Достоевского. Тут очень и очень сложный сплав: Н. Страхов и А. Хомяков, Э. Кант и И. Аксаков, Пушкин и Гоголь, сказавший почти все кратко, что развил Достоевский в речи о Пушкине. Не надо забывать и других писателей близких к концепции религиозного мировоззрения Достоевского, я думаю тут о Памфиле Даниловиче Юркевиче. Жаль только мне, что много опечаток в книге и что хуже — пропусков, напр., на стр. XXIV второй абзац, после слова «филозофикал», повисает в воздухе. Но в основном книга издана хорошо, примечания полезны, а теплое отношение автора-редактора к Григорьеву просто греет сердце читателя. Любовь видит дальше сухого рассудка.

Р. Плетнев

ИОСИФ БРОДСКИЙ. ОСТАНОВКА В ПУСТЫНЕ. Стихотворения и поэмы. Изд. имени Чехова. Нью Йорк, 1970. 231 стр.

Иосиф Бродский, как и некоторые другие ленинградские поэты, иногда труден для понимания, что, однако, не помешало его популярности в России, где его стихи расходятся в многочисленных списках. Большинство эмигрантских читателей и критиков приняли Бродского холодно. У нас охотнее читают Евтушенко, Вознесенского, Матвееву, Винокурова — более понятных поэтов. Между тем, Бродский столь же «малопонятен», как, напр., ранний Пастернак, как Кузмин 20-х г.г. или Мандельштам 30-х г.г. Его очень ценила Ахматова. К нему благожелательно отнесся В. Х. Одэн, которого иногда называют первым современным поэтом англо-саксонского мира. В предисловии к его стихам, переведенным на английский язык, В. Х. Одэн пишет: «Бродский — поэт трудный, но все же скорее традиционный. Он находит в предметах материального мира сакрментальные знаки незримого» (эта книга переводов будет опубликована в изд-ве Пингвин, в серии «Современные европейские поэты»).

Что прежде всего поражает в поэзии Бродского? Не то ли, что многие его стихи не имеют никакого отношения к советской действительности. Он почти всегда по ту сторону современного и живет в своем особом, им созданном мире. Мы узнаем в его стихах Ленинград, Неву, русский пейзаж, но весь этот фон чаще всего описывается вне исторического времени. Кое-кто, и не только в СССР, иронически скажет: это бегство из современного мира, от которого убегать не следует! Но надо знать — куда, в какой свой мир «убегает» поэт.

Для него реальнее «последние вещи человека»: любовь, добро, смерть, Бог.

Бродского давно уже привлекают вечные образы мировой литературы: Дон-Кихот, Фауст или библейские Авраам, Исаак. Очень увлекли его английские метафизические поэты 17 века. Он написал «Большую элегию» о Джоне Донне. А один цикл посвятил памяти Т. С. Элиота, который лет 40-50 тому назад способствовал прославлению английских метафизиков.

Бродский, как и многие современные западные поэты, и не только английские (а хотя бы и мексиканские!) недоверяет навязанной нам шаблоннологической связи в мышлении и речи. В этом выразилась творческая реакция Запада против рационализма и рационализации жизни, против компьютеров в технике и в бюрократии. Поэты хотят найти какую-то другую логику — более адекватную сущности вещей и их истинному смыслу, искажаемому исевдо-объективными данными статистики и счетных машин. Они стремятся раскрыть неуловимые живые связи между явлениями, казалось бы между собою ничем не связанными. Это уже понимал один из «отцов» современной поэзии Бодлер (в стихотворении «Соответствия»), а из русских поэтов — еще Фет, позднее — Анненский, Пастернак, Кузмин, Мандельштам, некоторые футуристы. Алогичность иногда приводит к безответственности и, поэтому, неубедительна. Не всегда убедителен и Бродский: некоторые зигзаги его мысли вероятно понятны ему одному или небольшому кружку его ближайших друзей. Всё же есть ключ к его поэзии. Ключ — Бог. «В каждом из нас Бог», утверждает Бродский, и даже неправедным своим судьям, советским шемякам, он осмелился сказать: «поэзия и призвание поэта — от Бога». Бог для него — самое главное, которое всегда притягивает, но часто ускользает, теряется в неясных догадках и потом опять откуда-то появляется, «выскакивает из-за угла». Бродский пишет: «я, как сказал перед смертью Рабле, / отправляюсь в Великое Может быть». У верующего Т. С. Элиота тоже было немало таких «может быть» в религии. Всё же Бродский утверждает: «Неверье — слепота. А чаще — свинство».

Бродский — часто философствует и — не всегда удачно. Он пишет:

Бог органичен. Да, а человек?
А человек, должно быть, ограничен.

Ограниченностю человека несомненна. Но если Бог ограничен, то это Бог примитивных анимистов или же пантеистический Бог, тождественный миру.

Самое значительное произведение Иосифа Бродского — поэма «Горбунов и Горчаков». Здесь, скорее в виде исключения, описана советская действительность. Оба героя сидят в желтом доме, хотя

они совсем не сумасшедшие, а мыслящие чудаки, одаренные богатым воображением. Но это не политическая сатира. Если вынужденных наследников этой лечебницы для душевно-больных выпустить на свободу, они нигде правды не найдут: в любом царстве-государстве Горбунов останется душевно «горбатым», а Горчаков огорченным человеком и — огорчающим, потому что он доносит на своего друга Горбунова. Выправить их мог бы только Бог.

Поражает классическая четкость этой поэмы. В каждой строфе 10 строк (декима) и почти везде — две рифмы, чаще — точные (и в наше время уже «старинные»). Декимами у нас писали Державин (оды «Фелица», «Бог»), а в Англии Джон Донн, которого Бродский так хорошо знает. Размер — пятистопный ямб (прославленный Пушкиным в поэме «Домик в Коломне»). Но нет никакой подражательности: «Горбунов и Горчаков» — одно из самых оригинальных и «чреватых» смыслами произведений мужающего Бродского. Кое-что в этой поэме тоже покажется непонятным или же очень растянутым. Бродский часто повинен в многоглаголании. Но эта «разговорчивость» оправдывается канонами его жанров — эпической или же философической («трактатной») поэзии, включающей и чистую лирику. В ранней, тоже значительной, поэме «Исаак и Авраам» Бродский драматизировал события и верования. В «Большой элегии», посвященной Джону Донну, драматичны мысли, видения английского поэта-метафизика, а в «Горбунове и Горчакове» — страдания и идеи этих униженных и оскорбленных чудаков-мыслителей и одареннейших фантазеров.

Во многих монологах этой поэмы мы слышим уже не лепет подающего надежды талантливого отрока-поэта, а речь умудренного мужа, спокойного и власть имущего поэта-мастера, свободно, без видимого усилия, врачающего послушные ему медленные пятистопные ямбы, вмещенные в тесные формы монументальной декимы. Существеннее же, что в этой поэме Бродского выражено то, что всегда всем было понятно, что на самом деле важно: одиночество, боль, отчаяние, сомнения, догадки, вымыслы, молитвы. Давно уже — ни у кого из поэтов, живущих в СССР, не было такого размаха, такой жажды вечности. Горбунова может напоить и насытить только Бог, живая жизнь в Боге — настоящая вера, которую он смутно предчувствует, но еще не находит, как и другие лирические герои Бродского.

Может быть, замученный в желтом доме Горбунов выражает настроения и других алчущих и жаждущих правды в Сов. Союзе. Пусть у многих этих правоискателей «каша в голове», наскоро сваренная из Достоевского, Ницше, Бердяева, Тейара и других случайно добытых продуктов духовного питания, но искания их напряженные, живые.

Очень значительны и многие другие стихи Бродского, хотя бы его «Почти элегия» с реминисценцией из Державина («Чего в мой дремлющий тогда не входит ум»). Из поэм выделяю «Остановку в пустыне» с размышлениями о нашей эпохе: «Не ждет ли нас теперь другая эра? / И если так, то в чем наш общий долг? / И что должны мы принести ей в жертву?» (1966).

Бродский относится с недоверием ко всякой чрезмерной эмоциональности, а все же лирические эмоции в его поэзии прорываются:

Где-то льется вода, только плакать и петь вдоль осенних оград,
всё рыдать и рыдать, и смотреть всё вверх, быть ребенком ночью,
и смотреть всё вверх, только плакать и петь, и не знать утрат.

Может быть, ленинградскому метафизику многое неясно, и он еще не знает куда плыть и зачем. Но, несомненно, его поэзия уже не утлая лодка, а хорошо оснащенное судно, которому предстоит большое плаванье.

Юрий Иваск

«ДЕЛО СОЛЖЕНИЦЫНА». Изд. СБОНР Лондон, Онтарио. Канада.
1970.

Это сборник статей, документов и материалов о Солженицыне, подготовленный издательским отделом СБОНР-а. Документы эти предварительно печатались в русских зарубежных изданиях, преимущественно в «Новом журнале» и «Новом Русском Слове». Ценность выпущенной СБОНРом книги в том, что разрозненное стало объединенным воедино.

Сборник этот появился еще до того, как Шведская академия наук присудила Александру Солженицыну Нобелевскую премию по литературе за 1970 год.

Сборник открывается обсуждением рукописи «Ракового корпуса» на заседании бюро секции прозы Московского отделения Союза Писателей СССР (совместно с активом) семнадцатого ноября 1966 года. «Пришла новая литература, — сказал на этом заседании Вениамин Каверин, — и со старой, рептильной... покончено». Однако, апологеты рептильной литературы выступали тоже на этом заседании (Кедрина, Асанов и др.).

Участник заседания, критик Сарнов так отозвался об этих выступлениях: «Шкловский в одной из давних статей заметил, что Булгарин не травил Пушкина — он просто давал ему руководящие указания. С тех пор утекло много воды, отменили крепостное право, произошла великая революция, — а Кедрина и Асанов продолжают давать руководящие указания Солженицыну».

Известно, что против Солженицына была поднята отвратитель-

ная травля. В сборник о «деле Солженицына» вошло и его смелое письмо четвертому Всесоюзному съезду Советских писателей. В нем Солженицын говорит, что история русской пореволюционной литературы — это история «общественных и художественных потерь», которые «несет наш народ от этих уродливых задержек, от угнетения художественного сознания».

«Сколько лет считался ‘контрреволюционным’ Есенин, — писал Солженицын, — и за книги его даже давались тюремные сроки. Не был ли и Маяковский ‘анархистующим политическим хулиганом’? Десятилетиями считались ‘антисоветскими’ невыдаемые стихи Ахматовой. Первое робкое напечатание ослепительной Цветаевой десять лет назад было объявлено ‘грубой политической ошибкой’. Лишь с опозданием в 20 и 30 лет нам возвратили Бунина, Булгакова, Платонова, неотвратимо стоят в череду Мандельштам, Волошин, Гумилев, Клюев, не избежать когда-то ‘признать’ и Замятину и Ремизова. Тут есть разрешающий момент — смерть неугодного писателя, после которой, вскоре или невскоре, его возвращают нам, сопровождая ‘объяснением ошибок’. Давно ли имя Пастернака нельзя было и вслух произнести, но вот он умер — и книги его издаются, и стихи его цитируются даже на церемониях. Воистину сбываются Пушкинские слова: — ‘Они любить умеют только мертвых!’ ...Были писатели 20-х годов — Пильняк, Платонов, Мандельштам, которые очень рано указывали и на зарождение культа и на особые свойства Сталина, — однако, их уничтожили и заглушили вместо того, чтобы к ним прислушаться».

Многие материалы и документы этого сборника показывают, что к Солженицыну прислушиваются не только его единомышленники но и врачи. Только последние делают всё от них зависящее, чтоб, если не уничтожить, то заглушить Солженицына. Первые же считают Солженицына совестью русской литературы в наши жестокие бесчеловечные времена. Из сборника «Дело Солженицына» можно установить, что к голосу Солженицына прислушивается и западный мир. Это видно хотя бы из отлично составленной Людмилой Торн библиографической справки об издании произведений Солженицына не только по-русски (в Совюз и за рубежом) но и в переводах на иностранные языки.

Изданный СБОНРом сборник «Дело Солженицына» нужен и ценен.

В. Завалишин

ОТЕЦ АЛЕКСЕЙ МЕЧЕВ. Воспоминания С. Дурылина, о. Владимира, епископа Арсения, А. Ярмолович и др. Письма. Проповеди. Надгробное слово о самом себе (с комментариями о. Павла Флоренского). Редакция, примечания и предисловие Н. А. Струве. ИМКА-Пресс. Париж, 1970, 381 стр.

Отец Алексей Мечев (1860-1923), сын регента хора при митр. Филарете Московском, приходский священник церкви св. Николая на Маросейке. После революции этот храм посещали тысячи москвичей: и народ, и интеллигенция. Многие видели в о. Алексее духовного руководителя, прозорливого старца, хотя он и не был монахом, как и благословивший его на служение о. Иоанн Кронштадтский. Ничего примечательного в его облике не было, но, например, Н. А. Бердяев так вспоминает о последней встрече с ним: «отец Мечев встал мне навстречу, весь в белом, и мне показалось, что все его существо пронизано лучами света». Вера о. Алексея — простая, иоанновская: он жил любовью к Богу, к ближнему и всегда помнил эти слова св. апостола Иоанна: «Кто говорит ‘я люблю Бога’, а брата своего ненавидит, тот лжец».

Отец Алексей любил повторять: «ум — только рабочая сила сердца». Книжником он не был, но, кроме Н. А. Бердяева, С. Н. Дурылина, к нему, «разгрузчику скорбей», тянулись и другие интеллектуалы — ученый священник о. Владимир и загадочный о. Павел Флоренский, богослов-софиянец, филолог, математик, технолог, автор известной книги «Столп и утверждение истины», друг В. В. Розанова. Он подробно комментировал надгробное слово о. Мечева о себе самом. Н. А. Струве установил, что многое в этой речи о. Алексей заимствовал из проповеди оптинского старца иеромонаха о. Г. Борисоглебского. Смиренный старец подписывал письма «грешный богомолец Алексей», а в надгробном слове говорил о своей само-отверженной любви и называл себя великим пастырем... Это значит: старец написал то, что от него никак нельзя было ожидать и многих это смущило, — пишет о. Павел Флоренский, и далее разъясняет: незадолго до кончины о. Мечев так уже отошел от всего житейского, что мог говорить о себе объективно и не смиленно... В этом скрытое «юродство», заставившее его нарушить все духовные и даже светские «приличия», утверждает о. Флоренский. Он же дает в этом очерке свою философию церковного закона, устава и чудесной благодати любви: отец Мечев каноны Церкви не критиковал, но и нарушал их, исповедуя не по требнику, был духовно свободен, иногда даже беззаконен в своей религии сердца, в любви к Богу и к человеку. Был он смирен, но смел духом, и учил, что для верующего нет невозможного и нет запретного. «Молись и делай, что хочешь. Люби и делай что хочешь...», писал он одной прихожанке. Это зна-

чит: тот, кто на самом деле молится и любит, ничего дурного сделать не может.

Сборник посвященный о. А. Мечеву свидетельствует, что свет во тьме светил на московской Маросейке. Мы верим — не погас этот свет и в современной России, где все эти драгоценные материалы сборника бережно сохранялись под спудом и, наконец, дошли до нас.

Юрий Иваск

А. ПОЗОВ. ОСНОВЫ ХРИСТИАНСКОЙ ФИЛОСОФИИ, 2т., Мадрид, 1970.

Автор книги, если судить по заглавиям глав, вместил свое видение христианской философии в рамки гносеологии и диалектики, чем и отошел от обыкновенно встречающихся архитектонических схем. Содержание его книги, однако, много шире и этих двух делений, и даже всего названия: она представляет собой как-бы энциклопедический обзор разных философских тем, причем автор не только излагает их по существу, но и дает картину их исторического развития, делает сравнительный анализ их на фоне христианской, западно-европейской и индусско-буддистской философии.

В предисловии сам автор признается, что допустил много параллелизмов, но оправдывается, что это нужно было для вящего уяснения предмета. С этим трудно согласиться. Бесконечные параллелизмы и повторения утомляют читателя и, скорее, затуманивают то основное, что хотел сказать автор. Он — эрудит, сомнения нет, но зачем же постоянно обрушивать эту эрудицию на читателя? В качестве примера приведу, что в отрывке об «интеллекте», на двух страницах текста, процитировано **сорок** имен!

Сумбурен и архитектонический замысел автора. Возьмем, для примера, тему «созерцания». В книге имеются следующие подзаголовки: Определение созерцания, Идея (?), Созерцание вообще, Созерцание и диалектика, Интуиция и созерцание, Созерцание, Интеллектуальное созерцание, Спекулятивное созерцание, Чувственное созерцание, Переживание и созерцание, Органы созерцания, Созерцательные силы, Религиозное созерцание, Христианское созерцание, Созерцание будущего века, Что такое созерцание?, Мистическое созерцание, Созерцательное познание, Классификация созерцания, Виды созерцаний, Истинное и должное созерцание, Демонское мечтание, Нечистое созерцание, Истинное созерцание, Созерцание и слово, Западное созерцание. Когда читатель преодолеет все эти виды созерцаний, то, вместо ясного понятия о созерцании — он впадает в некое интеллектуальное оцепенение.

Язык А. Позова обильно сдобрен иностранными терминами, поэтому книга читается не легко. К недостаткам книг надо отнести

также ее тон, по большей части саркастический, а то и попросту бранчливый. Больше всех, пожалуй, «досталось» Канту. Он назван и нигилистом, и сумасшедшим, и «домоседом (который) никуда не выезжал и пополнял свои метафизические знания в трактире, в беседе с моряками дальнего плавания, за кружкой пива, получая сведения из мудрствующего Востока» (т. I, стр. 25). «Подтасовка», «воровство», «подлость» — вот некоторые из эпитетов, на которые автор не скupится в применении к инакомыслящим. Гегель, по Позову, это «апостол Сатаны», «вершина западного онтологического сумасбродства», «матерой философист» и «шарлатан», которому пришлось «всю жизнь трудиться, напрягая лысую голову, чтобы притти к 2½ тысячелетней «мудрости» Упанишад». Среди иных философов досталось и нашему соотечественнику: А. Позов называет Н. Бердяева «курьезом нашего сумбурного времени», цитировать которого «это значит засорять книгу фило-теософским хламом». Таким же памфлетным стилем пишет А. Позов и о философских религиях Востока.

Отметим что уничижительная оценка, какую автор дает западно-европейской философии, представляет собой вогнутое зеркало, в котором он рассматривает своих мыслимых оппонентов. Подлинные черты их учений в позовской передаче искажаются, порой, до неузнаваемости.

Лучшее место книги — это глава о «Христианской диалектике», написанная серьезно, спокойно и почти без полемических выпадов. Содержание ее богато и хорошо проработано и следует пожалеть, что не вся книга написана на таком уровне.

Основной замысел А. Позова, как нам кажется, можно свести к следующему. Основанием правильной философии являются истины, данные людям в Откровении. Это — краеугольный камень, на котором воздвигается строение христианской философии. До этого развивалась греческая философия, которая, в лице Сократа и Платона, с одной стороны, и Аристотеля, с другой, дала все, что человеческая мысль могла только дать. Древне-церковное учение, ассимилировав лучшее из греческой культуры, наполнило философию содержанием духа учения воплотившегося Логоса-Христа. Учение это было разработано христианскими философами-подвижниками, вдохновлявшимися тем, что они воспринимали-постигали в своих мистических созерцаниях.

В заключительной главе о «Синтезе», А. Позов пишет: «В тезисе есть творческие возможности, ждущие реализации в синтезе. Анти-теза сама по себе не творчественна, инертна и пассивна. Только в соединении с тезисом она творит. Творчество диалектическое есть синтез. В катастатических условиях антитеза противоестественно активируется, превращается в энантность, враждебность» (193).

Припомним здесь гераклитовский символ лука и лиры: и первый и вторая основаны на принципе противоборствующих сил. Этот принцип может нести смерть, но может быть и основанием достижения высшей и прекраснейшей гармонии. Это — противопоставление профанации и сублимации. Это — альтернатива «двух путей».

Выход из апории западно-европейского интеллекта, упершегося в стену антиномий, возможен лишь в христианстве. Ибо то, что невозможно для человека в естественном порядке, становится возможным «Св. Духу споспешествующему». Дискурсивная антиномия преодолевается в высшем плане силой любви. Христианская диалектика разоблачает зло и указывает путь к Доброму, Красоте и Истине. В христианстве возможно соединение и примирение всего «земного и небесного».

Книгу А. Позова можно рекомендовать, как обширный справочник свято-отеческой мудрости.

Игумен Геннадий (Эйкалович)

ART TREASURES IN RUSSIA. Introduction by Prince Dimitri Obolensky. McGraw-Hill Book Company. New York-Toronto, 1970.

Всегда можно радоваться, замечая, что русское искусство начинает привлекать внимание иностранцев. Новое роскошное издание книги о русском искусстве, с изображением иконы Владимирской Божьей Матери на обложке, обращает на себя внимание. Но, к сожалению, только с внешней стороны. Небрежность всего издания заключается в том, что 14 иллюстраций в книге напечатаны в обратную сторону (в зеркальном отображении). В числе сотрудников этого издания числятся Дэвид Тальбот Рейс, Тамара Тальбот Рейс, Сергей Хакель, Джон Стюарт, Малькольм Берджесс. Неужели никто из них, вместе с князем Дм. Оболенским, не заметили ошибки при печатании книги? Уже раньше Тамара Тальбот Рейс при выпуске своей книжки о русском искусстве грешила невероятными ошибками и в ее труде также многие репродукции были напечатаны в обратную сторону. Казалось бы, урок прошлого должен был послужить предостережением, но этого, увы, в новом труде не произошло.

Во всяком труде об искусстве важен не столько текст, сколько хорошее воспроизведение памятников искусства. Чтобы читатели сами увидели и почувствовали изображенное. Русскому искусству оказана «медвежья услуга». Текст книги не выходит за пределы популярных, шаблонных описаний и высказываний.

Е. Климов

КНИГИ ДЛЯ ОТЗЫВА

- В. В. Розанов. Избранное, Уединенное, Опавшие листья, Мимолетное, Апокалипсис нашего времени, Письма к Э. Голлербаху. Ред. Е. Жиглевич. Вступ. статьи Генриха Штаммлера и Е. Жиглевич. Изд-во. А Нейманис. Мюнхен. 1970 (565 стр.).
- Луис Фишер. Жизнь Ленина. Перевод с англ. Омри Ронена. Лондон. 1970 (979 стр.).
- Е. Замятин. Сочинения. Том I. Ред. Е. Жиглевич. Вступ. статья А. Кашина. Изд-во А. Нейманис. Мюнхен. 1970 (495 стр.).
- В. Злобин. Тяжелая душа. Изд. кн. маг. В. Камкина. Вашингтон. 1970 (140 стр.).
- Литературные манифести. Том. I. От символизма к Октябрю. Подготовлено Д. Чижевским в сотрудничестве с Д. Герхард, Л. Мюлер, А. Раммельмайер и Линда Садник-Эйцетмюллер. Вступ. ст. К. Эймермакер. Вильгельм Финк Ферляг. Мюнхен. 1969 (300 стр.).
- Надежда Мандельштам. Воспоминания. Изд-во имени Чехова. Нью Иорк. 1970. (429 стр.).
- Аriadna Шиляева. Борис Зайцев и его беллетристизированные биографии. Изд. кн. маг. «Волга». Нью Иорк. 1971 (175 стр.).
- Вас. Гроссман. Все течет. Изд. «Посев». Франкфурт на Майне. 1971. (207 стр.).
- А. Авторханов. Технология власти. Процесс образования КПСС. Изд. «Цопэ». Мюнхен. 1959 (418 стр.).
- Владимир Ант. Мал-Кок-Тит. Сказка в стихах. Рисунки худ. А. Бобра. Сан-Франциско. 1966 (22 стр.).
- Владимир Ант. Мои танки. Лирические миниатюры. Рисунки худ. С. Голлербаха. Нью Иорк. 1964 (58 стр.).
- Дело Солженицына. Изд. СБОНР. Лондон. Онт. Канада. 1970 (193 стр.).
- Юрий Псковитянин. Скиф. Роман. Буэнос Айрес 1964 (128 стр.).
- Юрий Псковитянин. Смута. Повесть. ч. I. «Мир». Буэнос Айрес. 1970 (192 стр.).

- Vera Piroschkow.* Freiheit und Notwendigkeit in der Geschichte. A. Pustet Verlag. Muenchen. 1970 (S. 316).
- S. Zenkovsky and D. Armbruster.* A Guide to the Bibliographies of Russian Literature. Vanderbilt University Press. 1970 (p. 62).
- A Harvest of Russian Children's Literature.* Edited by Miriam Morton University of California Press. Berkeley. 1970 (p. 467).
- A. Anatoli (Kuznetsov).* Babi Yar. The complete, uncensored. Translated by D. Floyd. Jonathan Cape Lmt. London. 1970 (p. 478).
- Elizabeth K. Beaujour.* The invisible Land. A Study of the Imagination of Iurii Olesha. Columbia University Press. N.Y. 1970 (p. 222).
- Temira Pachmuss.* Zinaida Hippius. An Intellectual Profile. Southern Illinois University Press. 1971 (p. 491).
- Anthologie de la Poesie Russe.* Антология русской поэзии. Текст на 2-х языках. Introduction, choix, traduction et notes par N. Struve. Aubier-Flammarion. Paris. 1970 (p. 251).
- Richard Pipes. Struve. Liberal on the Left (1870-1905).* Harvard University Press. Cambridge. 1971 (p. 415).
- Karl D. Kramer.* The Chameleon and the Dream. Mouton. The Hague. 1970 (p. 182).
- Poetica. Zeitschrift für Sprach- und Literaturwissenschaft.* 3. Band Heft 3-4 Juli-October 1970. Wilhelm Fink Verlag München. 1970 (S. 648).
- Элла Боброва. Я чуда жду. Стихи. Торонто. 1970 (77 стр.).
- На переломе. Три поколения одной московской семьи. Семейная хроника Зерновых (1812-1921). Под ред. Н. М. Зернова. ИМКА-пресс. 1970 (478 стр.).
- Eberhard Breidert.* Studien zu Versifikation, Klangmitteln und Strophierung bei N. A. Kljuev. Friedrich-Wilhelms-Universität. Bonn. 1970 (S. 258).
- Oxford Slavonic Papers.* Vol. 3. Oxford. At the Clarendon Press. 1970 (p. 136).

НОВЫЙ ЖУРНАЛ

под редакцией
РОМАНА ГУЛЯ

■
ТРИДЦАТЫЙ ГОД ИЗДАНИЯ

■
В 1971 году выйдут ЧЕТЫРЕ КНИГИ

■
Подписная цена на 1971 год 15 долларов
(за 4 книги)

Цена одной книги — 4 доллара
Во Франции — 15 франков

■
ЗАКАЗЫ АДРЕСОВАТЬ В КОНТОРУ
«НОВОГО ЖУРНАЛА»

THE NEW REVIEW, 2700 BROADWAY
NEW YORK, N.Y. 10025

Телефон редакции и конторы: МО 6-1692

Прием по делам редакции и конторы — ежедневно,
кроме праздников и суббот, от 5-ти до 6-ти час. дня